

ИВАН ФЕДОРОВ



ИВАН ФЕДОРОВ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

В. Прибытков

ИВАН ФЕДОРОВ
ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

Иван Фёдоров — великий русский просветитель, человек, основавший первые типографии в России и на Украине. В 1564 году в Москве Фёдоров совместно с Петром Мстиславцем выпустил первую русскую датированную печатную книгу — «Апостол». Переехавшись во Львов, Фёдоров основал первую на территории Украины типографию и в 1574 году выпустил «Апостол», в котором впервые появилась издательская марка Ивана Фёдорова. В том же году он издал «Азбуку» — первый печатный русский учебник, сыгравший колоссальную роль в становлении отечественной педагогики.

- [В. Прибытков](#)
 -
 - [ЧАСТЬ I](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ГЛАВА IX](#)
 - [ЧАСТЬ II](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)
 - [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ЧАСТЬ III](#)
 - [ГЛАВА I](#)
 - [ГЛАВА II](#)
 - [ГЛАВА III](#)

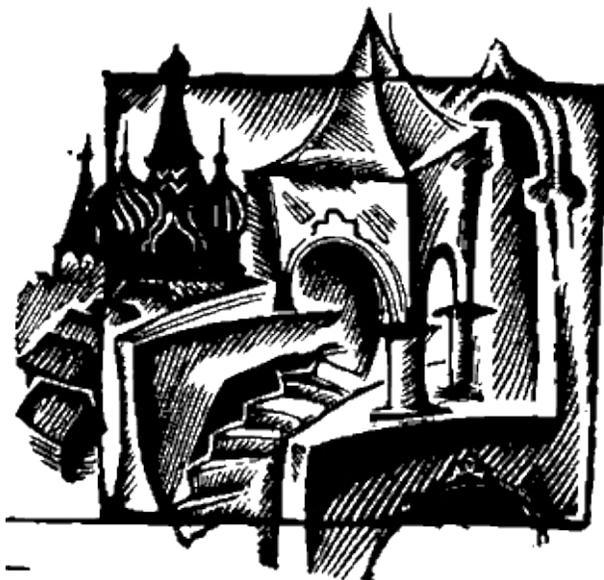
- [ГЛАВА IV](#)
 - [ГЛАВА V](#)
 - [ГЛАВА VI](#)
 - [ГЛАВА VII](#)
 - [ГЛАВА VIII](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
 - [ХРОНОЛОГИЯ](#)
 - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
 - [Иллюстрации](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
-

**В. Прибытков
ИВАН ФЕДОРОВ**



ЧАСТЬ I

ГЛАВА I



В лето от сотворения мира семь тысяч пятьдесят первое^[1], в третью седмицу июня, московский митрополит Макарий, год назад поставленный князьями Шуйскими вместо свергнутого Иоасафа, пожелал посетить монастырь Святой Троицы.

Дорога пылила, проваливалась в ухабы, подсовывала под колеса возка толстые корни сосен и елей. Речные броды подкарауливали ямами, засасывали в ил. На ночлеге в Радонеже тела терзали оголтелые блохи, откуда-то несло козлятиной, митрополит не выспался, но бодрился: до монастыря оставалось полдня пути.

На Москве известно было, что едет митрополит поклониться мощам святого Сергия Радонежского, толковать с братией о богослужебных книгах и подновлении икон в московских церквях.

Макарий, прибыв к Святой Троице, и впрямь целовал раку чудотворца, впрямь рассуждал о переводах сочинений блаженного Августина, о нехватке книг и завершении переписки начатых им в Новгороде Четьи-Миней, впрямь заказал монастырским мастерам новые иконы, но приехал он в обитель не только ради бесед и поклонений.

Жаждал митрополит покоя и уединения, хотел в тишине обдумать мирские и церковные дела.

Знал Макарий, что Шуйские, призывая его с новгородского архиепископства, надеялись: новый митрополит, приверженный иконному

письму и книжному чтению, известный любовью к старине, не станет вмешиваться в житейскую суету, в московские распри, будет смотреть на все из княжеских рук.

Но не для того оставил Макарий тихие радости упорных трудов по собиранию старых книг, не для того покинул налаженные со многими тяготами новгородские церковные училища, где мечтал вырастить для Руси просвещенных иереев, чтобы стать покорным слугой Шуйских.

Прежде чем согласиться на принятие митрополичьего параманда, дал Макарий обет господе не пощадить себя ради возвеличения христианской веры и православной церкви, ради устройства русской земли.

После смерти великого князя московского Василия пришла в упадок светская власть, начались боярские свары, нависла угроза над самой церковью.

Душа скорбела от созерцания непотребств: священники не знали служб, игумены не возбраняли бегать к чернецам девкам да бабам, курили вино, упивались во пианство, честным же старцам не давали даже на одеяние, и многая братия волочилась теперь по миру, испрашивая милостыню и подвергаясь житейским соблазнам.

Куда же было таким пастырям ополчаться на ереси, точившие народишко?

Прибыв в Москву, Макарий сразу стал прибирать священство к рукам.

Однако у московских иереев всегда находилась заступа, и митрополит видел, что начинать надо не с них, а с обуздания всесильных боярских родов, в первую голову с тех же Шуйских.

Сделать же сие можно было только одним путем — завоевав доверие диковатого, озлобленного двенадцатилетнего великого князя Ивана, воспитав в Иване мысль о его призвании быть единодержавным властелином всего христианского мира.

В беседах с великим князем вел он речь о кесаревом величии, о божественном происхождении власти Ивана, на коею посягать никто не смеет.

Иван слушал такие речи жадно, но недавно князь Андрей Шуйский с грубой прямоотой сказал митрополиту:

— Ты, владыка, говори, да не заговаривайся! А то ведь из Москвы и на Соловки дорога есть!

Макарий знал, что Шуйские угрозами зря не бросаются, стал в речах осторожен, но поступаться правдою не думал.

У раки чудотворца Сергия надеялся митрополит размыслить в покое о мирских делах, почерпнуть сил для будущих деяний.

Но вместо покоя ждали его в монастыре новые заботы.

Игумен в первый же день по приезде митрополита передал ему мольбу узника тверского Отроч-монастыря Максима, прозываемого Греком. Был Максим муж мудрый, наделенный от бога великим даром языков и сказаний. Тринадцатый год томился он в оковах, осужденный собором святых отцов за ереси и волхование против покойного великого князя Василия. Просил Максим у митрополита разрешения ходить в церковь и причащаться святых тайн.

Макарий нахмурился. Передав мольбу Максима, монахи содеяли дерзость: собор запрещал переписку с осужденным. А просьба помочь Максиму Греку ставила митрополита в трудное положение. В Максимово волховство Макарий не верил. Не стал бы Максим писать на ладонях водкой и простирать оные, называя беду на великого князя, как поганая ворожея. Умен и учен был Максим! А что говорил, будто русские митрополиты неправильно ставятся, без патриаршего благословения, и что описки в книгах делал, так Максим сам же на соборе ниц падал, каялся: не знал-де о патриаршей грамоте, позволяющей русскому собору митрополитов ставить, и плохо за писцами следил...

Но Максим, не зная Руси, на порядки ее восстал, поучать всех вздумал. Против развода великого князя Василия с бездетной Соломонией ополчился. Сие, дескать, писанию противно... Конечно, противно. А как не оставил бы Василий наследника — что бы тогда началось? В какую бездну распрей и смут сверглась бы земля? Что бы со святой церковью и православной верой случилось?

Эх, Максим, Максим! Нельзя было пощадить тебя, да и сейчас заступиться за тебя опасно. Заступишься из жалости, а поддержку как осуждение давнишнего брака Василия с Еленой Глинской понять могут. Решат еще, что сын их Иван и прав на отцовский стол не имеет! А ведь и того довольно, что злые языки повсюду разносят, будто великий князь вовсе не Василия сын, стар-де был Василий, чтобы детей иметь! а отродье боярина Ивана Овчины-Телепнева-Оболенского...

Ответить на мольбу Грека резким отказом митрополит все же не решился. Велел сказать узнику, что скорбит о судьбе его, целует тяжкие узы его, но помочь ничем не может.

По лицу игумена увидел: тот ждал иного, и рассердился. Все жаловались, все чего-то хотели, все чего-нибудь требовали!

Так, рассерженный, и отправился отдыхать в отведенные покои.

Лишь усердная молитва смирила Макария, утишила гневное состояние духа.

Лежа в постели, митрополит отдался мечтаниям. Скоро великий князь взойдет в возраст, сможет обходиться без опекунов. До той поры следует искоренить в нем пороки, воспитать его ум, научить покорности святой церкви. Тогда с божьей помощью можно великое свершить! Покорить язычников, распространить христианство, твердо противостоять латине!

От обширных замыслов мысль митрополита скакнула вдруг вспять. Подумал, что пока ничего толком не сделал для будущего торжества. Даже от шептунов и соглядатаев, от неверных людишек не оградил себя. А надо, надо гнать оных! Взамен же призвать людей верных, кои бы всем тебе обязаны были. Без опоры, без поддержки ничему не вершиться. Дуб не ветвями, а корнями силен. Вот и надобно пустить в московскую землю свои корни.

А людишки верные сыщутся!

Митрополит вспомнил, как в последний год новгородской жизни принимал у себя тамошних писцов. Выговаривал им, что в книгах, переписываемых на продажу, имеется много ошибок.

— Может, и не вы те книги продавали, — сказал он тогда, — да нелишне и вам помнить, сколь от каждой ошибки вреда и смущения происходить может. Вот и размыслите и прочим писцам передайте, чтоб впредь с работой не торопились, за деньгой не гнались, а помышляли о доброй славе и спасении души!

Мастера кланялись. Макарий обратил внимание на самого молодого из них: коренастого, с тонким, живым лицом, умными голубыми глазами.

— Чей такой?

— Мой, мой сын, владыка! — торопливо ответил, кланясь, старый, давно известный Макарию писец Федор.

— Учишь или сам пишет уже?

— Сам, владыка, сам! Вот дозвожь тебе Евангелие, сыном переписанное, поднести...

Макарий раскрыл поданную книгу. Полубовался крупным, четким полууставом, сделанными «покоем» заставками, искусно украшенными цветами и травами.

— Рисовал тоже он?

— Он, он, владыка.

— Горазд... Как звать тебя, раб божий?

Зардевшийся молодой писец баском отозвался:

— Иваном...

— Экий глас!.. А что, петь столь же горазд, как писать да рисовать?

— То не мне судить, владыка.

— Скромность — украшение христианина. А ну, возгласи-ка, Иване, святую славу!

Молодой писец петъ умел. Макарий посоветовал Федору женить сына: такого молодца в дьяконы рукоположить можно!

Макарий уже собирался отпустить писцов, когда заметил, что Иван порывается молвить что-то, и выжидательно поднял брови.

— Не робей, раб божий, слушаю.

— Прости меня, грешного, владыка, если что не так молвлю, — выступив вперед, сдерживая басок, начал молодой писец. — Вот давеча ты про ошибки книжные помянул. Куда как прав ты! Возьмешься за иным списывать — одно начертано. К другому заглянешь — иное. Вот и помыслил я...

Писец волновался. Он перевел дыхание.

— Помыслил я, владыка, что неладное мы творим. Не так бы надо!

— Как же?

— Опять же прости меня за дерзость. Но вот сколь годов слышу уже, что у латинян, и в немецких землях, и во фряжских давно ручное письмо оставлено. Книги там печатно творят, вроде бы обронно режут, как для тиснения на булате...

— То наущение дьявольское! — тонко воскликнул один из писцов. — Писание книг — душе во спасение! А печатание — ересь!

Молодой писец скосил глаза на длиннобородого крикуна, потянулся к Макарию.

— Дозволь досказать, владыка!.. Латинян, еретиков не хуже других ненавижу. Да ведь мало книг у нас и плохи! А с одних бы досок, иереями правленных, сколь напечатать могли! И скоро и без ошибок!

— Где про латинские книги слыхал? — осторожно, ровным голосом спросил Макарий.

— Многие купцы заезжие сказывали. Те же немцы. Шведы.

— Знакомство с ними водишь?

— На кой они мне, владыка? Да и им какая во мне корысть? А у наших гостей встречал иных, похвалялись...

— И книги латинские видал?

— Видал, владыка.

— И чел?

— Наша вера единственно правильная. Зачем мне латынь? Не учился их письму поганому и знать не хочу. Ничего не читал, владыка.

— Так, так... Зачем же тогда книгами прельщаешься ихними?

— Обидно мне, владыка, что еретикам такое открыто, чего мы,

поборники веры истинной, не знаем и не умеем!

— Сам, сам еретик! — взвизгнул крикливый писец.

— Помолчи! — свел брови Макарий. — Не по чину разумен!

Писец осекся и вытаращил глаза.

— Продолжай! — обратился к Ивану Макарий. — К чему речь вел?

— И еще я слышал, владыка. В Вильне, у литовцев, нашей православной веры человек, Георгий, печатал будто бы книги с греческих списков истинных, и по-нашему.

— Тот Георгий, по прозванию Скарина, латынью с толку был сбит. И православное имя на поганое сменил. Франциском назывался.

— Того я не ведал, владыка. Коли он таков, пес с ним... Нет, я того не ведал...

Макарий опустил веки, помолчал.

— Пробовал ли печатать книги? — наконец спросил он молодого писца. — Говори прямо.

— Нет, владыка. Не пробовал. Вот хотел тебя попытать, гоже ли сие нам. Твоего совета жду.

Макарий уже не помнил точно, как ответил тогда молодому писцу. Сказал только, что о печатных книгах мысль надо покамест оставить, что не ему, грешному, судить, хорошо ли будет их вводить, что дело с печатными книгами собору святых отцов ведать надлежит...

Вот таких, как Иван Федоров, и надобно назвать в Москву. Умны, пытливы, безропотны в послушании будут, а книжным трудам прилежат, от скверны житейской уберегутся.

Но не быть ни книгам, ни покою, пока нетверда великокняжеская власть, пока шатки алтари...

Макарий слез с постели, подошел к киоту, опустился на холодный пол голыми коленями и вознес молитву ко вседержителю, чтобы хранил великого князя, чтобы посрамил его врагов и врагов церкви.

ГЛАВА II



Свадьбу младшего сына Ивана в доме новгородского писца Федора играли поздней осенью.

Октябрь с первых дней стоял ясный, холодный. Земля по утрам позванивала. Свадебные телеги из посада, от женихова дома, в кожевенную слободу, к дому невесты, скакали со стуком и грохотом. Перевязанные через плечо поверх шуб полотенцами дружки, стоя в передках, чудом удерживались на ногах — так подкидывало на каждом комке затвердевшей грязи.

Иван с отцом ждали невесту в своей церкви Иоанна Богослова. Федор небожно радовался. Когда приступил год назад к Ивану после беседы с архиепископом, нынешним митрополитом, сын уперся, чтоб засылали сватов к Ирине, дочери многодетного попа Кондрата из захудалого прихода. Федор и грозил и уговаривал, убеждая, что бедная невеста — добро из дому вон, но Иван про других девок и слышать не хотел. Сказал, как отрубил:

— Хочешь женить — Ирину бери. Не то совсем не женюсь. И со двора сойду.

И Федор побрел приглашать сватов. Он любил сына. Иван пытлив, понятлив, прилежен, упорен в деле и великим даром от бога наделен: и рисовать и по металлу резать первый, булат у него под руками податливей воска. Что хочешь вырежет, и так ли тонко да живо, что только диву даешься!

Уйдет — кто поддержит в старости, кто утешит? Пускай уж на Иринецке своей женится. Где только углядеть ее успел? Когда?

Иван знал: вот сейчас Ирину введут, а все было боязно чего-то. Вдруг заболела или по дороге беда... В прошлом году, весной заметил он русокосую Ирину, вместе с другими девушками заплетавшую березки. С той поры часто наведывался в приход ее отца, высматривал ее...

На паперти послышался шум. Церковные двери распахнулись, и показалась невеста...

Все как во сне шло. Вопросы попа, пение, мигание свечей, сыплющиеся на молодых при выходе монетки, скачка коней, душные горницы попова дома, первый ковшик меда, выпитый мужем и женой на пороге, славословия, пьяный гомон гостей, и опять скачка к своему дому, и опять пир.

Пировали полную седмицу.

А с новой седмицы с утра Иван и Федор засели за книги, а Ирина, повязав платок, хозяйкой хлопотала у печи.

Но письмо у Ивана подвигалось плохо. То срывался дров принести жене, то по воду за ней увязывался.

Федор вспоминал, какого страха натерпелся как-то у архиепископа. До сих пор дурная истома в плечи вступает, обмякнешь, аж в животе бурчит, как Ванькина дерзость невыносимая на ум взойдет! О латинских книгах заговорил! Да с кем! Пресвятая мать божия, господи всеблагий, угодники святые! Чудом, чудом беда обошла! Видно, в добрый часец Макарий Ваньку слушал. После трапезы, поди. В мягкости души и блаженстве плоти. Да то еще спасло, что милостив владыка к писцам. Не то сидеть бы Ваньке на цепи в монастыре или давно бы его палач кнутом нежил... Ну, теперь-то другим, слава богу, Ванька занят. Ину книгу с молодой женкой чтет. Вот только бы нынешний митрополит про дурака забыл, и совсем ладно стали бы жить. Тихо, смиренно, по дедовскому обычаю...

Федор долго и истово молился, чтоб сбылись его надежды и чаяния. Но молитва старого писца была, видно, богу негодна.

На Антония Великого пошел гулять по всему посаду, по всем новгородским слободам слушок о казни в Москве князя Андрея Шуйского.

Кто его пустил? Откуда шептуны все доподлинно вызнали? Поди сыщи!

Говорили о падении Шуйских разно. Кто с тревогой, кто со злорадством.

Князя Шуйские, долго сидевшие в Новгороде наместниками, имели много доброхотов среди бояр, почтенных уличан и духовенства. Не утесняли их, не грабили, радели о храмах.

Голь, рванье, особливо крестьянишки — те, по своему заведению, на Шуйских роптали.

Но голь и есть голь. Не ей на пиру песни запевать.

Великий Новгород-батюшка всполошился.

Что-то теперь будет после казни? Как сие отзовется городу?

Сполох начался не зря.

Великие князя московские Новгород не жаловали, посматривали в его сторону с подозрением. Дед нынешнего великого князя отнял у города волю, отец ходил сюда с мечом собирать дань, и еще живы были очевидцы Васильева похода, могли порассказать, как жаловал он новгородцев, как их ласкал...

Что, если и сын Василия той же тропкой пойдет?

Упаси бог! Про Ивана и сейчас такое рассказывают, что озноб пробирает. Сызмала боярами к жестокости приучен. Да ведь и ожесточишься, поди, как на твоих глазах мать отравят, станут ближних в оковы ковать, голодом морить, удавливать.

Грех, конечно, про покойных худое сказывать, но боярин князь Иван Шуйский, благодетель новгородский, немало в том повинен, что его роду ныне горькую чашу испить довелось.

Боярина Овчину-Телепнева в темнице голодом сгубил, сестру его Аграфену, мамку великого князя, как тот ни плакал, оковал и сослал, боярина Вельского Ивана в покоях малолетнего Ивана поймал и удавил, боярина Воронцова Семена, великому князю любившегося, со своими людьми в великокняжеской трапезной до крови бил и сослал...

Да что бояре! А с Иваном-то как поступал князь Шуйский? Как послов принимать, как дела решать, на отцов стол сажал, бородой перед ним мел, а как с глазу на глаз оставался, так всяко уничижал, насмехался над его неокрепшим разумом, ко всякому распутству приучал: к питью, к женкам, к тавлеям да шахматам, к конскому скоку да соколиной травле. Да все это куда ни шло! Пей, напускай соколов, стучи тавлеями, коли на другое ума не хватает. А вот что ободрили великого князя ватагу таких же шальных да отчаянных, как он, питухов набрать да с той ватагой по Москве и московским бутыркам шастать, ровно орде татарской, добрых людей понося и девок портя, то уже не дело...

На что надеялся боярин князь Шуйский?

Что великий князь и возмужав ума не наберется, что, распутству

прилежа, из воли его не выйдет?

Ох, худо размышлено! Хуже некуда! Великий-то князь оказался памятливым. Памятлив да своенравен. Ватагу свою заимев, ободрился, зная! Шутка сказать, за одно слово, поперек сказанное, князя Андрея псарям отдал, сам с красного крыльца кричал, когда волокли боярина, чтоб не чинились!.. У него на глазах Андрей с великим воплем и дух испустил, передают. Бе-е-еда! И неведомо еще, как великий князь после сего деяния с митрополитом поладит. А постигнет опала Макария — и Новгороду хорошего не видать. Последний заступник новгородский перед Москвой митрополит...

Жили новгородцы в тревоге и сомнениях. А потом воспрянули духом. Стало известно: митрополит после расправы с Шуйским проповедовал в соборной церкви Благовещенья о гордыне, наказуемой судом мирским и божеским, о власти царей земных, как власти, господом дарованной.

Поняли: митрополит тверд, великому князю близок, стало быть, в случае чего и заступится.

А на трех святителей пришла новая весть: требует митрополит к себе на московский двор новгородских людей: боярина Шилов, протопопу Алексея Мятого, других священников и книжного писца Ивана, сына Федорова.

Хорошая весть. Хорошая весть. Дай бог долгих лет и беспечальной жизни пастырю, не забывающему овец своих!

Федора полученное известие громом поразило. Кинулся на двор к архиепископу Феодосию, упал в ноги, завопил, прося о милости.

— Ты что, дурак? — спросил Феодосий. — Сыну твоему великую милость митрополит оказал, а ты орешь, ровно родить собрался. Опомнись, иди!

— По молодости он! По молодости! — потерянно твердил Федор, не слыша архиепископа. — И забыл уж все! Оженился!

— А, дубина! скривился архиепископ. — Отвори уши-то! Не на суд, на службу митрополит твоего Ваньку зовет! На слу-у-ужбу!.. Эй, вытолкайте писца! От радости ума лишился, старый.

Но и сообразив, что к чему, Федор не воспрянул духом. Не хотел он отпускать Ивана в далекую, чужую Москву. Горько было оставаться одному. Страшно думать, как Иван жить станет без отцова надзора. Молод, горяч, непокорлив, а чужбина камушки обкатывает не чинясь... Вон, вон, как крылья распустил Ванька! Радует! Кречетом глядит! А чему радуется? Москва не коврижка медовая. Не ты ее, скорей она тебя заглоти!

И все же противиться указу митрополита Федор не решился. С

великой тоской, а начал собирать сына в путь...

На ранней зорьке заскрипели у ворот двое саней, набитые сеном, зазвякали на морозе бубенцы.

Вынесли сундуки и коробки, установили, увязали, еще подбавили сенца, кинули в переда меховые полсти.

Вернулись в избу. Сели за стол, разлили по ковшам горячее вино.

— Ну, Иване... — начал Федор и осекся. Перехватило горло, задрожала держащая ендову рука. Мигнул, с отчаянием выкрикнул: — Храни вас бог! — и припал к посудине.

Потом благословляли на путь иконой святого Николы, крепко целовались, жадно ощупывая руками плечи друг друга, суетились вокруг заиндеветших коней, чтобы скрыть тревогу, заполнить чем-то пустоту последних минут...

Кони обрадованно налегли, вынесли сани со двора — и засмеялись, зарыдали, щемя душу, бубенцы-бубенчики, медь и железо, вечная присказка бесконечных зимних дорог...

У моста уже ждал обоз боярина Шило.

Иван Федоров в последний раз оглянулся на Новгород, перекрестился.

Натянул рукавицы, прикрикнул на лошадей, и потянулись, потянулись по обочине кусты да кустики, ели да елочки: русский ни конца, ни краю! — лес.

Ехали днем. Чуть смеркалось, останавливались в первой попавшейся деревушке: опасались лихих людей и волков.

А переночевав, вставали до свету. И хотя не бог весть какие разносолы взяли в путь, но в иной избе ребятишки просыпались от запаха варева, высовывали из-под ветоши русые головенки. Ирина, оглядываясь, боясь обидеть хозяев, совала детям то кусок пирога, то лепешку. Русые головенки прятались. Ветошь чуть приметно шевелилась. Потом голодные глаза показывались вновь...

...В ясные дни сверкающий снег слепит. А затянет небо облаками, наползут они, серые, синеватые, на самые верхушки леса, начнут ронять мягкие, как лебяжий пух, хлопья, станут глуше звучать голоса, постукивать конские копыта — подгоняй лошадей, не верь тишине! Налетит ветер со Студеного моря — завоюет метелица, занавесит дорогу, заметет колеи, столкнет очумевших коней в сугробы, сомнет, отбросит человеческий зов

— и погиб ты, пропал ни за что ни про что. По весне только и сыщут, как снег стает да половодье минует...

Леса стоят, покорно опустив ветви, отягченные холодным убором. На пеньках — белые, выше боярских, шапки. Другой пень так обмело, что не видать — торчит снежный горбик, да и только. Звонко-звонко поет под клювом дятла замерзшая сосна. А в волнистых полях, где синие тени оврагов и заносов, шуршат, качаются, жалуются на мороз и одиночество черные да бурые сухие будяки. Кто услышит их жалобы? Разве что заяц, чей малик брызнул в стороне, или кума-огневка, припавшая узкой мордочкой к насту и ловящая чуткими ушками мышиный писк.

Пустынно. Холодно. И уже не верится, что есть где-то города, и теплые избы с печами, и другие люди. Не один ли ты остался на этой недоброй, скованной льдом, похороненной под снегом земле?

Шелушатся обветренные щеки. Замерзают думы. Клонит в сон...

С полдня высылал боярин Дмитрий Романович Шило вперед стремянного Ларьку с двумя конными слугами, чтобы сыскали и приготовили добрый ночлег, истопили, если найдется, баньку.

Ларька знал, что надо Дмитрию Романовичу. Медвежьи глазки стремянного были зорки, а косолапые ноги легки. Все ссыкивал: и избу почище, и дровишек для баньки, и молодуху поговорчивей.

Себя тоже не забывал. Облюбовав какую-нибудь вдовицу, не сидел в ожидании боярина сложа руки, а принимался у бабы хозяйничать. Гонял подручных привезти ей сена, натаскать воды, сам крутился сатаной, то топориком потюкивая, то пилой визжа, то рваный хомут сшивая, то к валенкам подметки подкидывая.

Баба, оторопев, только помаргивала, глядя, как кипит в ловких Ларькиных руках любая работа, как растет поленица наколотых дров, как законопачиваются век не конопаченные щели, накрепко пристаёт к стене расшатавшаяся лавка, туго набивается сеном сараюшка.

А Ларька уже осматривал копыта вдовьего коня, бранился, найдя мокрец, гонял хозяйку к соседям за дегтем, требовал то того, то другого, и ошалевшая от одинокой жизни, всеми позабытая вдовица, зарумянившись, летала по двору перепелочкой, спеша выполнить Ларькины наказания.

А утром ревмя ревела, провожая его, и молилась богу перед иконами, чтоб уберег он раба божия Лария, дал ему жизни долгой да хорошей, а

будет милость господня, так хоть еще разок увидеть его.

Ларька же, сидя в седле, щурился, с благодарностью вспоминал о прошлом ночлеге, но уже высматривал следующую деревеньку...

Замолить свои грехи сам он уже не чаял. Может быть, поэтому с особой заботой пекся о молодом писце, который ехал в Москву вместе с боярином.

Молодой писец умилял Ларьку. Стремянный слышал, что тот дюже искусен в чтении книг и в письме, видел, что писец неопытен и мирится с любыми неудобствами.

Одно слово — прост, хотя ученей протопопа, говорят.

А это-то и любо! Такой-то человек и дорог!

Но Ларькино умиление молодым писцом вскоре сменилось почтением.

В двух днях пути за Тверью повстречались поезду скоморохи с двумя медведями. Скоморохи слезли в снег, пропуская сани и конных.

— Эй, бояре! Пошто холопов на цепях водите? — крикнул Ларька.

— А и не угадал, парень! Знать, не видал, чтоб хлопы боярей на цепях водили, а мы вот ведем! — дерзко отшутились скоморохи.

Ларька захохотал и проехал. Проезжали, не останавливаясь, и другие.

Только молодой писец Иван задержал лошадь... Заслышав крики и вопли, Ларька повернул коня. Писец бился с тремя мужиками, отнимая у них второго медведя. Первый же, волоча продекую в нос цепь, прытко неся к лесу Писец сшиб высокого скомороха, пнул его товарища, уложил и третьего мужика. Освобожденный медведь, ревя, стриганул от дороги. Но скоморохи, придя в себя и освирепев, кинулись на обидчика. Взмахнув руками, писец рухнул наземь. Сверху навалилась груда тел.

Подскакав к дерущимся. Ларька принялся стегать плетью по плечам и головам скоморохов.

— Ать, собачьи дети! Ать!..

Скоморохи на четвереньках расползались в стороны, поднимаясь, кидались бежать.

Но писец, вскочив, с расквашенным лицом и заплывшим глазом, метнулся, ровно борзая, наперед, загородил им дорогу, распялил руки...

Окруженные конными, скоморохи послушно вытаскивали из-за пазух и из мешков гудки и рожки, бубны и гусли.

Писец переломал все инструменты и только тогда догадался приложить к глазу комок снега.

— Хошь всех побью? — спросил Ларька.

— Пусть идут, несогласно качнул головой Иван. — А вы, слуги бесовы, помните! Не скоком и плясом, а трудом хлеб зарабатывать

надлежит... И господню тварь писание на потеху мучить не велит. Или не знали?

— Оставил ты без хлеба нас! недобро, исподлобья глядя, сказал высокий скоморох.

Писец отбросил покрасневший комок снега, сплюнул кровью, молча подошел к своим саням, распутал веревки на коробе, стал швырять на сено пироги, куски мяса, туда же швырнул две рыбины.

— На, бери!

Скоморохи переглянулись, но с места не двинулись.

Тогда писец сгреб снедь, запихал в один из скоморошских мешков.

— Пропитаетесь пока. Да ищите дело.

Повернулся, влез в сани и вожжами дернул...

— Как это ты один на восьмерых-то, да еще с медведями, кинулся? — держась сзади Писаревых саней, удивился Ларька.

— Так я с помощью божьей... Куда им выстоять-то было!

Обезоруженный, Ларька с уважением, осторожно объехал сани Ивана.

При первом случае он рассказал о битве со скоморохами боярину. Дмитрий Романович наставительно молвил:

— Вот учись, как по-божески-то поступать надо! Сам небось зубы скалил с гулящими и в ум не взял, что поймать их следовало... Н-да. А писец Иван по Христу ревновал. То ему и зачтется. А сейчас — на, снеси писцу с моего стола романей и гуся. Да скажи, пришел бы как-нибудь вечером. Боярин-де любит чтение слушать.

Ларька романею, попробовав, снес, слова боярина передал. И опешил услышав:

— Ничего я читать боярину твоему не буду. Так и скажи. И гуся его не хочу. Он у вдовы девку ссильничал и везде, как кобель, блудит. Ему не библию читать...

Раскинув умом, Ларька яства отдал новой вдовице, а Дмитрию Романовичу поведал, что писец читать не может, потому что щека распухла и изрядно помят.

— Ну, пусть выздоравливает! — сказал Дмитрий Романович.

Ларька же, почтительно склонив голову, подумал: «Не так бы ты запел, господине, узнав, какую должность тебе писец Иван определил».

Чем дальше от Новгорода, тем реже попадались земли черносошных крестьян, деревеньки пошли чаще, а избы стали ниже: будто и их пригибала нужда, содравшая с крыш тес и дранку, прикрывшая стропила соломой да мхом.

Морозы с остервенелыми вьюгами заставляли подолгу отсиживаться

на одном месте.

Под вой метели и тараканий шорох тоскливо тянулись длинные вечера. Ныли бабьи прялки, ныли хозяйские детишки, требуя у бабки рассказать сказку. Слушал Иван вместе с ними про князя Владимира Красно Солнышко, про богатырей-мужиков и силу поганую, про океан-море и остров Буян, про чудища крылатые и добра молодца.

Иная дура баба, завравшись, плела несусветное про монахов и попов, тогда Иван сердито покашливал, а когда и вставал, и втолковывал нелепой, что бескостным языком антихриста тешит.

Баба таращила испуганные глаза, кланялась, винилась и не понимала, в чем ее вина.

Присев к детишкам, Иван сам начинал рассказ о пришествии Христа, о чудесах его, о страданиях великомучеников, о житии святых.

Затаив дыхание жадно слушали Ивана не одни детишки, но и взрослые.

Плакали над страстотерпцами, не жалевшими живота своего за правду, обличавшими судей и владык неправедных.

Сокрушенно и угрюмо вздыхали.

— Вот кабы все так-то... Тогда и горя не ведали б! А теперь нешто бога помнят?

В речах мужиков звучала давнишняя ненависть. Иван Федоров увещевал:

— Распаляться сердцами негоже. От злобы еще злоба родится. Бог сам все видит. Он знает, кто праведно живет, а кто мамоне служит. Он и покарает грешных, а чистых сердцем возвысит и к престолу своему возьмет...

Мужики кряхтели, нехотя соглашались:

— Тебе видней. Ты учен. А мы что? Мы грамоты не разумеем.

Иван Федоров беспокойно оглядывал людей. Чувствовал: не приняли его слов как нужно.

Перед сном, творя молитву, просил у господя: «Дай мне просвещать сердца, всеблагим! Не гордыни ради прошу, ради торжества истин твоих! Ты же видишь, господи, как блуждают в потемках души смятенные! Пошто же гибнуть им, света не увидев?..»

И все нетерпеливей думал о Москве.

Скорей бы уж попасть туда!

Скорей бы служить, скорей бы взять перо и писать книги для народа христианского!

Скорей!

Денек выдался серый, мокрый, каких немало бывает в марте. Тверская улица, перемешанная сотнями копыт, сползала меж дворов Новгородской сотни к Золотой решетке грязной холстиной. Из кузниц пахло углем и железом, неся перестук молотов; от лавки к лавке, держась поближе к заборам, чтоб не обдало грязью, пробирался народ; на папертях церковей толклись нищие; над тесовыми и жестяными ярко раскрашенными куполами вились, галдели вороны и галки.

Впереди, за мостом через Неглинную, высоко поднимал башни Московский Кремль. Можно было уже сосчитать зубцы на стенах, различить перекладину креста на храме Иоанна Лествичника...

— Ну, вот и Москва! — подождав сани Ивана Федорова, весело крикнул Ларька. — Доехали, слава тебе господи!

Свист и окрики заставили его обернуться. Оглянулся и Иван Федоров.

Сверху, заставляя сторониться встречные сани, конных и прохожих, скакали чьи-то молодцы в алых шапках, тегилеях, все оружные.

Ларька съехал к заборам.

Алые шапки пронесло, как тучу пыли. За молодцами скакали на гнедых, в богатой наборной сбруе жеребцах два всадника в отороченных собольим мехом шубах, в собольих же шапках, с саблями в украшенных самоцветах ножнах.

За всадниками, кренясь от быстрого бега восьми запряженных цугом лошадей, — расписной возок, а за возком — снова молодцы в алых шапках.

— Кречеты! — восхищаясь, сказал Ларька.

— Это кто такие? — спросил Федоров.

— Молодые князя Курбские. Видать, отец в Москву, на службу великому князю везет.

...Сани проползли мимо житных амбаров, и полозья их заскребли по бревенчатому настилу моста.

ГЛАВА III



Много лет спустя, скитаясь на чужбине, Иван Федоров вспоминал, как легко начиналась его жизнь в Москве. Ничто в ней, казалось, не грозило бедами.

Митрополит принял ласково. Сказал, что имеет-де великую нужду в грамотных писцах, чтоб завершить начатые еще в Новгороде Четьи-Минеи. Восемь томов стояли у митрополита переписанные, оставалось переписать четыре, и хотел Макарий, чтоб не сильно разнились почерки в новых книгах от почерков в старых. Почерк Ивана Федорова как раз подходил. Не забыл митрополит и интереса молодого дьякона к печатным книгам. Велел ему визнавать, коли случится, все, что печати касается...

Чтобы Федоров мог изрядно кормиться, поставил его митрополит дьяконом в церкви Николы Гостунского.

Приход завидный! Каменная церковь и дворы причта — вблизи митрополичьих палат в Кремле, на людном перекрестке дорог с Ивановской площади к Константино-Еленинским и Фроловским воротам. Вокруг теснота боярских дворов, прихожане — бояре, дети боярские да богатые гости, и даяния их щедры и обильны.

Поп Григорий Лыков поначалу недоволен был: обещал взять в дьяконы племянника знакомого протопопа, а ему новгородца навязали какого-то. Ворчал Григорий, жалуясь, что москвичам, гляди, скоро с сумой волочиться выпадет: бояре Глинские из Северской земли своих везут, митрополит из Новгорода — своих... Пробовал Григорий на первых порах нового дьякона в священном писании испытать, но сам же два раза впросак попал.

Споткнулся на «Книге числ». Первое — забыл, какую муку должен в жертву иерею приносить муж, подозревающий жену в неверности. Сказал, пшеничную, а вышло по-дьяконову — ячменную.

Второе — с заговором Корея, Дафана и Авирона напутал. Помнилось Григорию, что левитов-заговорщиков было много, а сколько всего, сказать не смог. Дьякон же, ничтоже сумняшеся, число восставших на Моисея и Аарона заговорщиков назвал — двести пятьдесят.

Поп отстал.

Понемногу привыкла к новому месту и Ирина. Завела знакомство с московскими бабами, да и родня дальняя у Ирины сыскалась — гости Твердохлебовы, гонявшие обозы в Ливонию, Польшу и немецкие земли. Большак Афанасий Твердохлебов принял Ивана с Ириной, как близких.

Доводилось Ивану служить в домах родовитых и видных людей: у князей Репниных, Ряполовских, Старицких, Оболенских, Пронских, Одоевских и многих прочих.

Прознав, что дьякон искусен в письме, бояре заказывали ему псалтыри и евангелия, сулили большие подарки, но Иван Федоров на мзду не льстился, смиренно всем объяснял, что пишет для митрополита и без его ведома ничего делать не волен.

Макарий про это прознал и много Ивана хвалил.

Списывая Четьи-Минеи, сошелся Федоров с московскими доброписцами, а среди них с умным, быстроглазым Марушей Нефедьевым, любимцем протопопа церкви Благовещенья Федора Бармина.

Митрополит частенько давал Маруше вычитывать книги за другими писцами, и оттого иные Марушу побаивались, кланялись ему низко, старались задобрить.

Чернявый Маруша, посмеиваясь, подарки принимал, но ошибок не пропускал. Правда, писцов щадил, позволяя переделывать листы и для того задерживая книги у себя.

Маруша знал Афанасия Твердохлебова, как, впрочем, знал почти всю купеческую Москву, и относился к старику с уважением. Это удивило Ивана Федорова, так как сыновья Афанасия, Михаил и Платон, были бритобородцами, любили рядиться в иноземное платье, чем и смущали молодого дьякона.

Однако Маруша смотрел на вещи проще.

— Им этак-то сподручней, — говорил он. — Ведь их в Москве и не бывает, все ездят, да далеко, ну, а нехристи наших обмишурить норовят, обиды чинят, стоит бороду увидеть или однорядку... Не велик грех и обмануть еретиков, обличье сменив.

В доме Маруши можно было насмотреться на русские книги, а в доме Твердохлебовых — на заморские диковинки и послушаться каких хочешь истории. Тут знали и про любовные забавы франкских королей, и про ссоры ливонского гермейстера с дерптским епископом, и про какие-то отысканные в римских владениях мудреные рукописи и каменные болваны такой, мол, дивной красоты, что подобных еще нигде не видывали.

От Михаила же Твердохлебова услышал Иван про испанских воевод и мореходов Колумбуса и Магеллануса, искавших новый путь в Индию и открывших неведомые страны. Они-де сыскали, будто земля кругла, вроде как масло, катанное шаром, или бы куриное яйцо.

Тогда, глядя на голую рожу смеющегося Михаила, Иван обиделся. Думал, шутят над ним. С коих это пор земля круглой стала? Ведь у Козьмы Индикоплова ясно говорится: плоская она, на манер столешницы. Да и как люди и всякая тварь на круглом удержаться могут, не падая?

Но Маруша Нефедьев подтвердил: Мишка насчет Колумбуса и Магеллануса не врет, земля кругла, люди же и тварь держатся божественным промыслом. Сие еще одно чудо господне. Вот и все.

Выходило, что католики да лютеране, хоть и еретики, а не дураки и опять православных обошли. Иван с любопытством стал приглядываться к живущим в Москве иноземцам.

Один из них, немец, пороховщик и розмысл Гаспар Эверфельд, бывал частым гостем у Твердохлебовых.

В Москву Эверфельд приехал еще при покойном великом князе Василии, налаживал при нем литейный двор, брался и церкви строить, нынче тоже без дела не сидел.

Случалось, вздыхал розмысл о своем Майнце, о брудерах и швестерах, расписывал, закатывая бледные глаза, прелести немецкой земли, по обратно что-то не рвался.

Афанасий Твердохлебов, помигивая красноватыми, без ресниц старческими веками, с усмешечкой говаривал:

— Поди, так, как у нас, ему, Гаспару, в Майнце жить и не снилось! Гляди на него — чем не боярин? Дом — полная чаша, веру мы его менять не заставляем! А кто же от добра добра ищет? Я таких не видывал.

Узнав, что Иван Федоров доброписец, Гаспар Эверфельд однажды принес и показал ему немецкую книгу.

С довольной улыбкой смотрел немец, как Иван разглядывает толстый кожаный переплет, листает страницы, плотно усеянные готическими буквами.

— Понравилась? — ожидая одобрения, спросил Эверфельд.

— Рисовано знатно, а написано не больно хорошо, — пожал плечами Иван Федоров. — Вот смотри, строки-то на правом берегу, как зубья у пилы... Неровно! У нас лучше пишут.

Но Эверфельд не обиделся, а лишь снисходительно усмехнулся.

— Это не есть рукописная работа, — принимая книгу, наставительно произнес он. — Это есть работа печатная. Великое искусство! Его открыл наш майнцкий бюргер Иоганн Гутенберг.

— Чего ж он открыл? — поддразнил Федоров. — У нас испокон веков булат и дерево режут. Только не в пример красивее!

Но Эверфельд не смутился.

— Эта книга не резана на досках. Иоганн Гутенберг придумал, как печатать книги, обходясь без резьбы!

— Ну-ка! — словно не поверил Федоров. — А как же иначе-то?

— То секрет мастера! И наши печатники могут сделать сотни одинаковых книг с одной формы, не портя ее!

Тогда Иван Федоров, досадуя, не нашел ничего лучшего, как обрезать самодовольного немца.

— Может, оно и так, — согласился он, — да только как ваши мастера ни ухищрайся, а все одно книги их еретические. И уж лучше своей рукой истинное слово Христово распространять, чем вашей хитрой печатью словоблудие.

Эверфельд рассердился, спрятал книгу, что-то забормотал по-своему и долго дулся на Федорова и на Твердохлебовых, поддержавших молодого дьякона.

Немец и не догадывался, поди, как растревожил душу митрополитова переписчика.

А Иван Федоров не мог по-прежнему взять в толк, отчего еретикам открыто богом то, что скрыто от православных, от поборников истинной веры.

Он признался в сомнениях митрополиту.

— А зачем Иосиф у египтян в плену томился? — вопросом ответил Макарий. — Не проще ли было господу в милосердии своем не дать свершиться злу в долине Дофан, поразить братьев Иосифа, продавших его мадианитянам?

— Нет, владыка. Это я разумею. Ради благословения Иакова претерпел сын его.

— Гораздо отвечаешь. Тож и мы ныне претерпеваем, сыне, чтоб возвыситься и все другие языки в служении вере христовой превзойти. И превзойдем. Всему нас господь вразумит в свой срок.

А Маруша Нефедьев о печатном писании немецком сказал прямо:

— Греха в нем нет, если только печатью истинную веру прославлять. Ты о Макарии-черногорце слыхал? Нет? Тогда годи-ка!

Он вынес тяжелую, в кожаном переплете с медными застежками книгу, бережно расстегнул, раскрыл.

В глаза Федорову сразу бросились славянские буквы. И пока он жадно разглядывал пестрящие киноварью красных строк, выносных знаков и значков плотные листы, Маруша поведал:

— Это митрополитов тезка, черногорский священник Макарий еще полста лет назад печатал... Красиво?.. Стало быть, не одни немцы сие искусство ведают!.. Ты к митрополиту вхож — попроси, он тебе еще и книги Феоля покажет. Ну, Феоль — немец. Но печатал в Кракове по-нашему. Правда, буквы у него приземисты...

И, видя, что Федоров никак не оторвется от книги, вздохнул:

— Хорошо бы и нам этак книги множить. И скоро, и ошибок за каждым дуроломом править не надо... Только вот как вызнать про печать? Уж я и фряжских и немецких гостей выпрашивал и Гаспара пытал, да толку нету. Молчат, бусурмане!

...Да, жизнь в Москве начиналась для Ивана Федорова спокойно. Она привечала, открывала путь к желанному подвигу и вдруг обрушилась на голову нежданной бедой.

...Год семь тысяч пятьдесят пятый — третий год пребывания Ивана Федорова в Москве — начинался событиями, обещавшими русской земле великие перемены.

Семнадцатилетний великий князь Иван Васильевич объявил московским боярам, что намерен жениться и прародительских чинов поискать.

Думали, за пирами да играми и не помышляет Иван о делах государственных, а он...

У иных бояр по спине пробежал озноб.

Вспомнили судьбу князя Иоанна Кубенского, казненного за лихоимство по доносу ближнего великокняжеского дьяка Захарова.

Не боле других был виноват князь Кубенский, а его и не выслушал никто. И заступиться за него не успели...

Вспомнили и Афанасия Бутурлина. Вздумал пенять Ивану

Васильевичу на самоуправство, на то, что древним родам не верит, — тут же, где говорил, язык отрезали.

Вспомнили убиение старого Федора Воронцова. Уж кто верней был! Еще отцом Ивана был обласкан. От Шуйских претерпел в младенчестве Ивана Васильевича. На радостях, что опять приближен, научил новгородских пищальников, помимо дьяков-мздоимцев, у самого великого князя управы искать. Новгородская простота Ивана на охоте сыскала, стала приступать с просьбами. А великий князь на коня, пищальников велел бить, сам ускакал и тут же Воронцову голову ссек. Умышлял-де на великокняжью жизнь!

А князь Михаил Трубецкой? А князь Иоанн Дорогобужский? А князь Федор Оболенский?

И те без суда казнены.

Федор-то Оболенский, отрок еще, за то только и пострадал, поди, что с великим князем обличьем оказался схож. А как не быть схожим, когда у обоих отец-то один, Шуйскими уморенный боярин Телепнев-Оболенский?

Ох, тревожно!

Никого, кроме дьяков да захудалых людишек, Иван Васильевич к себе не допускает. Сын-то Телепнева, а повадки все, как у покойного великого князя Василия. Одни Глинские, материна родня, у него в чести да митрополит Макарий — лиса хитрейшая.

И вот — на! Собрался чины прародительские искать! Это, стало быть, на царство венчаться?

..Москва приняла новость радостно. Толкаясь в толпе, Федоров слушал толки:

Теперь боярскому засилью конец!

— В возраст великий князь взошел, он и Глинских уймет!

— Он прижмет боярам хвост-то! А то посля князя Василия хозяевами были! Ни суда на них, ни управы!

— Хорошо бы...

— Ты чего сумлеваешься?

— Я не сумлеваюсь. Глинских уймет, а как женится, новая родня его опутает.

— Князя Ивана не опутаешь! Строг. Ишь, башки-то сечет княжеские! Словно репы!

— Молод... Да питию прилежит...

— А ты не прилежишь? Ты вон намедни от кумы за полночь выбирался.

— Буде вам языки чесать! Князь Иван римских кровей. Разумей

кесаревых. Он не токмо Руси, а всей земли вотчич! И теперь жди! Ополчаться станем.

— На татар не худо бы!

— А вот уйдем бояр, и за агарян возьмемся!

— Ух, робята, неужто праздника дождались? А?!

В шестнадцатый день января, стоя с другими кремлевскими дьяконами на клиросе Успенского собора, Иван Федоров неотрывно смотрел на узкое, высоко поднятое лицо великого князя Ивана и ликовал душой, видя, как возлагает митрополит Макарий на голову наследника римских кесарей мономахову шапку, как отягшает его цепью и бармами, некогда присланными на Русь самим императором византийским Константином.

Свершилось!

И могуче звучал голос Ивана Федорова в оглушительном хоре голосов, возгласивших первому боговенчанному царю русскому славу:

— Слаа-ава!

А всего две седмицы минуло — и опять довелось ему славить царя, теперь уже вместе с русской царицею, с голубицей Анастасией, дочерью покойного сокольничьего Романа Юрьевича Захарьина.

Огорчил царь Иван своих бояр: не из знатного, не из древнего рода выбрал жену себе, но из рода, его отцу верного.

Шипели в боярских теремах, что раба царицей станет, но в открытую молвить побоялись! Смирились, хоть и обманулись в надеждах.

А в Москве опять ликование!

Опять царь своей волей живет!

Быть, быть переменам!

Перемены же должны быть к лучшему. К худому-то больше некуда...

В доме Федорова еще одна радость в ту пору обрелась: Ирина ходила тяжелая, на петров день ждали разрешения. По всем бабьим приметам, носила она сына.

— Боюсь я... — тихонько признавалась Ирина мужу. — А как со мной случится что?

Кабы знать, что суждено!

Но кто мог знать?..

21 июня гулял по Москве ветерок-шептунок. Перебирал молодую листву на дубках и липках, ерошил перья ворон и галок, рябил воду прудов.

Дуло с Козьего болота, с веселых, пестрых лугов Новоспасского монастыря. Запах цветов и трав смешивался с запахом цветущих лип, слышался даже в вонючем Зарядье.

Свежий ветерок москвичей радовал. Даже подъячие в приказах

шевелились бойчее обычного, а торг не опустел и к полудню. От лавки к лавке, от шалаша к шалашу двигался всякий люд: посадские, в ярких платках женки, отторговавшиеся подмосковные крестьяне, торопливые мастеровые, разные немцы в срамных своих одеяниях, безместные прожорливые попы, сытые монахи, гнусавившие милостыню нищоброды и всюду поспевающая, разбитная, ловкая, лихая пропойная сволочь.

Знакомые при встрече кланялись, улыбались и, где ни послушай, везде заводили разговор об одном: вот-де смиловался господь, послал ветерка, глядишь, и дождичка нанесет. Пора бы уж! А то совсем иссушило...

Ветерок разыгрывался, налетал буйными порывами, а облаков не приносил. Взамен облаков показалась в арбатской стороне черная зыбкая туча. Поднялась в ясном небе, загустела и, ширясь, поползла к Неглинной.

Видавший виды московский народ охнул:

— Пожар!..

...Занялось в плотничьей слободе, у церкви Воздвиженья. Деревянная церковь вспыхнула разом, как сухая можжевельная ветка. Пока хватились, огонь уже облизывал купол, щедрые искры запаливали кровли соседних изб. Порывистый ветер далеко разносил клочья горящей соломы.

Плотничья слобода истошно закричала. Крик подхватили Серебряная и Денежная.

Слобожане принялись было обливаться водой, растаскивать полыхавшие дворы, но гудело и трещало всюду, и люди, закрывая лица рукавами, кинулись выводить коней.

В поднявшейся суматохе одни спешили к Знаменке, другие — навстречу им, к Смоленской дороге. Кони налетали на коней, ось цеплялась за ось, в заторе учинялась свалка. В ход шли кулаки. А огонь подступал. На дерущихся дымились прожженные рубахи. Боль от ожогов распалила людей еще больше. Кони же, осатанев от побоев, крика, огня, подымались на дыбы, опрокидывали возы, рвали построжки и, скинув хомуты, мчались, топчась детей и женщин, напарываясь на колья огорож. Звонкий конский визг врезался в глухой потерянный мык вырвавшейся из хлевов скотины...

Через два часа все Занеглименье и Чертолье превратились в один огромный чадающий костер.

В Кремле бил набат. Народ высыпал на стены. Еще надеялись, что пожар не одолеет площади перед Неглинной, не перемахнет через реку с прудами. Но, раскаленные в чудовищной печи предместья, высоко взметенные над землей небывалым жаром, золотисто-алые крупинки искр падали все ближе и ближе, пока не начали перелетать в город. Тогда народ побежал со стен врассыпную. Дым преследовал бегущих, щекотал горла, ел

глаза.

По случаю жары царя и бояр в городе не было: еще в конце мая перебрались в загородные дворы. В Кремле оставался только митрополит Макарий, наблюдавший за владимирцами, подновлявшими церковь Благовещенья.

Митрополит распорядился хватать беглецов, гнать на царев двор, чтобы заливали стены и кровли палат водой, протопопу Федору Бармину велел служить молебн.

Малочисленная сторожа удержать бегущих не могла, а протопоп молебна не завершил: загорелся верх церкви.

Выбежавшие на Ивановскую площадь молещики оцепенели. Дым уже плотно заволок ясное небо. Июньское солнце померкло. И в этих зловещих сумерках на кровлях царских служб плескались алые волны...

Над оружейной пламя вихрилось высоким столбом. Постельная чадила. Горела царская конюшня, горели разрядные избы, горели боярские хоромы.

Митрополит закричал своим людям, чтоб бросали все и поспешали за ним. Пробрался в Успенский собор, вытащил написанную митрополитом Петром икону божьей матери и заторопился к Москве-реке.

Меж тем пожар перекинулся в посад, пошел гулять по тесноте Варварки, по Ильинке, по Никольской, по лавчонкам возле Мытного двора. Собранная на Мытном скотина разбежалась, живой лавиной перекатывалась среди горящих изб, сминала человеческие толпы, увязала в них и, взревев, бросалась вспять — сминать новые.

В тот часец один за другим грянули пять взрывов. В царских погребках взорвался порох.

Китай-город на миг замер. Потом улицы застонали. Толпа ломилась. Кто падал, больше не вставал: его сразу втоптывали в землю. На углу Ильинки опрокинувшаяся боярская колымага преградила путь женщинам с детьми. Женщин и детей раздавили. На Никольской, пробиваясь к воротам, дрались дубьем. На мостах за воротами снесли перила. Пол напором задних люди летели в ров, разбивались, увечились.

Отрезанные огнем от ворот прятались в погреба, сбивались в каменные церкви, молились и плакали...

Ивана Федорова набат поднял с лавки, куда прилег было дьякон

вздремнуть после трапезы.

Спустив на пол босые ноги, Иван встревоженно прислушался. Звонили у Благовещенья, в Успенском соборе, у Иоанна Лествичника, в монастырях. С опозданием зачастил и гостунский звонарь Никита.

На улице кричали.

На дворе Федоров столкнулся с попом Григорием.

— Ступай облачись! — заорал поп. — Молебен надобно!

— Варвара, — кинулся к попадье Федоров, — Иринеицу не оставь!

Попадьа охнула, схватившись, заколыхала телесами к дьяконовой избе.

...В церкви уже тускло мерцали зажженные пономарем свечи. Иван Федоров встал на клиросе. Прямо перед ним, в широком проеме церковных врат, виднелась зловеще пустынная улица. Явственно пахло гарью. Сжав кулаки, Иван Федоров вытянулся, собрал все силы и, глядя на пустынную, заполняемую дымом улицу, звенящим голосом воззвал:

— Благослови, владыко!

Он видел, как пробежали вразброд покинувшие кремлевские стены людишки, как густел дым, затягивая строения, как все ярче делались огоньки свечей в меркнувшем дневном свете.

— Соборная гори-и-ит! — возникнув на паперти, истошно провыл встрепанный, без шапки, служилый.

— ...Твое бо есть, иже миловати и спасати нас, и тебе славу воссылаем со безначальным отцом твоим и со пресвятым и животворящим твоим духом, ныне и присно и во веки веков! — торопливо, тонким голосом возглашал в алтаре поп Григорий. — Аминь!

И, еще отчаянней стиснув кулаки, Иван Федоров гулко, во всю грудь повторил:

— Аминь!

А уже с трудом дышалось, саднило в горле, затуманивало голову. Заглушая слова молитвы, в голос плакали детишки, всхлипывали женщины. Все явственней доносились гул и треск пожара. Отблески его играли в притворе.

— Не до конца прогневаешься, ниже во век враждует: не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам! — ошалело бормотал в алтаре поп Григорий... — Якоже щедрит отец сыны, ущедри, господь, боящихся его!

«Что ж это? — испуганно подумал Иван Федоров. — Ведь это он псалом за благодеяния господни затянул!»

Тогда-то и начались взрывы в пороховых погребах. Порывом вихря всю церковь заволокло дымом. Стены сотрясались. Сыпалась штукатурка,

падали иконы, погасли свечи. Народ бросился вон из храма.

Иван Федоров сбежал с клироса.

Поп Григорий, щуплый, растрепанный, ослепнув от дыма, ошалел, не мог найти выхода. В молчаливом исступлении бросался на стену, бил тяжелым медным крестом в неподатливый камень.

Федоров обхватил попа за плечи, поволок отбивавшегося на волю...

В стороне царского дворца колыхалась огненная завеса. Горело и за Грановитой палатой. Церковь Благовещенья вздымалась слева, накрытая смоляной шапкой, из-под которой выбивались буйные рыжие вихры. Вдруг что-то треснуло там, шапка распалась, взвился столб искр, и Иван Федоров увидел, как падают благовещенские колокола. Многопудовые, они грянулись оземь, тупо колыхнув почву, и тяжкий стон меди толкнул Федора, прижал к церковной стене...

Федоров побежал к дымившимся избам причта.

Дверь в избу стояла нараспашку. Ирины в доме не было.

— Слава тебе господи, ушла! — вздохнул Федоров.

Остаток дня он бродил по берегу Москвы-реки, среди погорельцев, разыскивал Ирину. Наступила ночь. Усталый, он присел у чужого костра. Сидел, повесив голову, глядел на подернутые сизым пеплом поленья в костре. Чужие усталые лица. Опущенные на колени головы. И по всему берегу — стон. Чья-то рука в обгорелом рукаве тянется из темноты.

— На-ко хлебца. Поешь...

Потом и золой пропитан кислый ржаной кус. Может, последний у сострадательного брата твоего. Кто-то подошел.

— У вас, что ли, дьякон гостунский?

— У нас... эва он...

— Отец дьякон! А отец дьякон!.. Слышь?.. Сын у тебя родился... Ты встал бы...

— Сын?! А Ириньца?.. Что с Ириньцей?

Подошедший стащил шапку.

— Ты помолись, отец дьякон... Померла у тебя жена... Ты помолись...

ГЛАВА IV



«Припадаю к стопам вашей милости, молю бога продлить ваши годы. Спешу сообщить, что у меня все благополучно. Московиты принимают иноземцев с охотой, и теперь ваш слуга числится мастером здешнего Литейного двора.

Опережая прочие сообщения, должен сказать, что московский Литейный двор вовсе не так плох, как говорили. Я был удивлен и его размерами и искусством русских плавить руду и отливать пушки...

Начну с рассказа о том, что последовало за чудовищным пожаром, истребившим почти весь город Москву.

Известный вам митрополит Макарий во время бедствий хотел отсидеться в одном из тайников, устроенных в каменной стене Кремля. Дымом его выкурило оттуда, как таракана. Спасая жизнь, митрополит велел спустить его из тайника на веревке к Москве-реке. Вербка оборвалась, и этот «святой отец» грохнулся с высоты примерно в полторы русских сажени. Но лишь повредил ногу и сильно ушиб бок. Подоспевшие слуги тотчас приняли меры, чтобы доставить митрополита в его летнюю резиденцию — в Новинский монастырь, расположенный на запад от Кремля.

В этом монастыре и состоялось на следующий день свидание великого князя Ивана со своим пастырем.

Великий князь прискакал к митрополиту из дворца в Воробьеве и, как мне передавали, был очень испуган.

Пользуясь случаем, хотел бы дать вам представление о молодом московском государе.

Внешне, если не взирать на лицо, он довольно приятен: высок ростом, широкоплеч, быстр в движениях. Но черты лица великого князя весьма неправильны, нелепы, и особенно поражают его огромные черные глаза, в которых никогда, по-моему, не перестает светиться подозрение.

Мне несколько раз довелось видеть великого князя вблизи, и, признаюсь, взгляд его меня смущал.

Как вы знаете, для подозрительности князя Ивана оснований больше чем достаточно. Я не стану повторять известные вам обстоятельства его роста и воспитания. Но я должен сказать, что при всех отрицательных качествах князя Ивана, при его типично восточной жестокости, вспыльчивости и склонности к разврату, слухи о котором наводняют Москву по-прежнему и после княжеской женитьбы, при всем этом московский государь весьма образован, веротерпим и, наверное, не глуп...

Итак, я остановился на приезде великого князя Ивана к митрополиту в Новинский монастырь.

У них состоялся разговор с глазу на глаз. Подробности разговора, естественно, для меня остаются тайной, но о чем они беседовали, догадаться можно без особого труда.

Должен вам сказать, что московскому пожару предшествовали весьма важные знамения. Еще 3 июня с одной из московских церквей сорвался и разбился медный колокол, что, как вы понимаете, предвещало беду. А накануне пожара известный всей Москве прорицатель (их тут называют юродивыми) ровно в полдень плакал, взирая на церковь Воздвиженья на Арбате, с которой и началось бедствие.

Казалось бы, все говорило о том, что пожар не случайность, а возмездие господа бога великому князю, посягающему на римскую корону, погрязшему в распутстве и незаконно мучающему своих подданных.

Однако, и это явное наущение митрополита — делу решили придать совершенно иной вид. Пожар объявили результатом поджога неких лиц, якобы умышлявших на великого князя и церковь.

Раз так, следовало искать виноватых. Посему князь Иван, опять же по совету митрополита, в этом я не сомневаюсь, повелел учинить розыск и назначил для ведения одного ряд бояр и близких себе людей, из которых я назову вам брата великой княгини Григория Захарьина, протопопа Благовещенской церкви новгородца Федора Бармина, князя Федора Скопина-Шуйского, князя Юрия Темкина, боярина Федора Нагого и еще некоторых известных в Москве лиц.

Все они противники бояр Глинских влиятельных родственников великого князя, фактических правителей Московии, ненавидимых старыми

московскими родами и весьма непопулярных среди черни, положение которой поистине ужасно.

Однако, ваша милость, благоволите еще раз перечесть имена назначенных в розыск. Случайно ли собрали этих людей? А если не случайно, то на что рассчитывали князь Иван и митрополит? И если решение князя еще можно оправдать растерянностью, то митрополит, во всяком случае, понимал, что делает. Сколь же коварен и кровожаден сей человек, именующий себя священнослужителем!

Но, видимо, и сам князь Иван ничего не имел против избавления от докучливой опеки.

Ему же так давно и настойчиво твердят о его миссии, как наследника римских цезарей!

А теперь о последовавших событиях.

На пятый день после пожара назначенные в розыск князя и бояре собрались в Кремле на Соборной площади. Среди них находился и один из Глинских, боярин Юрий. Михаил же со своей матерью, бабкой великого князя, был в отъезде во Ржеве. Там его вотчина.

В Кремль сбежался и разоренный дотла пожаром московский люд. Бояр окружили, приступили к ним с вопросами, злобно выпытывали, почему не приехал сам великий князь, где митрополит и зачем не наказывают виноватых.

Чернь угрожала дубинами и была очень возбуждена.

Тогда бояре ответили, что вот они начинают розыск.

Им закричали, что искать виновных нечего, так как они известны: это, мол, бояре Глинские.

Я забыл написать, что кто-то пустил среди погорельцев слух, будто княгиня Анна, бабка великого князя, вместе с сыновьями приказывала добывать ей сердца из трупов, вымачивала эти сердца в воде и затем кропила полученной водой московские улицы.

Конечно, я знаю об этом давнишнем способе навлечения бед на враждебных людей, но я все же не допускаю мысли, что княгине Анне нужно было пускаться на такую пакость именно по отношению к Москве.

Она не могла иметь от своих действий никакой выгоды.

Слух про нее, конечно, пустили все те же враги Глинских.

Но как бы там ни было, а слух распалил толпу суеверных москвитян, набежавших в Кремль.

Ужасно вопя: «Выдавайте Глинских!» — толпа стала метать камни. Боярин Юрий Глинский, видя ожесточение черни и не рассчитывая на защиту прочих бояр, соскочил с коня, намереваясь укрыться в Успенском

соборе. Ему удалось вбежать в церковь и припасть к спасительному алтарю, но дикая чернь, нигде не уважающая святынь, ворвалась в собор, вытащила боярина Юрия на паперть и дубинами размозжила ему голову, невзирая на мольбы о пощаде. Труп несчастного Глинского проволокли по Москве и, растерзав, бросили на торгу, что в здешнем обычае. Потом толпа устремилась грабить хоромы бояр. Правда, грабежом занимались немногие горожане. Остальные, распаленные видом крови, понося именитых людей, кинулись в летний царский дворец в сельце Воробьеве, что на горах возле Москвы-реки.

Кто-то сказал, будто великий князь прячет там Анну и Михаила Глинских.

Однако кровожадная толпа шла, угрожая и самому Ивану.

Чернь кричала, что пожар бог послал Москве и за грехи Ивана, за его зверства и любострастие, паче же всего за небрежение народом, которому он не отец, а худой отчим.

Толпу, конечно, разогнали, стреляя в нее из пищалей и малых пушек.

Передают, что великий князь, узнав о приближении полчищ черни, потерял всякое самообладание, бился в истерике, плакал и сам ничего для обуздания бунтовщиков не предпринял. Спасли его ближние люди, среди которых отличился бесстрашием и находчивостью княжеский постельничий (по-нашему, камердинер) некий Алексей Адашев. Говорят, он первый поднял ватагу великокняжеских молодцев, сам приказал палить из пушек, а когда один пушкарь замешкался и оробел, вырвал у него фитиль и поджег запал. На помощь Адашеву подоспели с вооруженными слугами те бояре, чьи дворы тоже стоят в Воробьеве, и чернь бежала, оставив на Калужской дороге убитых и раненых.

Алексей Адашев из незнатного служилого рода. Его отец не взыскан никакими чинами. Он просто один из той толпы незаметных людей, которыми окружал себя еще отец нынешнего великого князя. Людей, готовых на все, лишь бы выслужиться и угодить своему сюзерену. По слухам, Федор Григорьевич Адашев выполнял весьма неприятные обязанности, чуть ли не обязанности великокняжеского палача.

Теперь оба Адашевых — отец и сын — в большой чести. Алексея Адашева князь Иван не отпускает от себя ни на шаг.

Едва ли не ближе Алексея Адашева стал теперь князю и безвестный доселе поп из причта церкви Благовещенья, некий новгородец Сильвестр.

Очевидно, Сильвестр весьма умен и хитр. Он весьма почитаем среди влиятельных москвичей, в частности тесно связан с князьями Старицкими, являющимися по здешним законам самыми первыми претендентами на

престол в том случае, если Иван будет бездетен.

Во время бунта поп Сильвестр находился около великого князя Ивана. Передают, что он призвал Ивана покаяться, прекратить гонения на своих верных слуг — бояр, оказать им милость, во всем слушаться церкви. В противном случае он угрожал князю великой карой господней, говорил, что отступится от него, как Самуил от Саула, чем поверг Ивана в трепет.

Великий князь плакал перед попом, признал все свои грехи и умолял молиться за него.

Сильвестр стал молиться, и толпы черни в самом деле были рассеяны.

Вы понимаете, ваша милость, что князь Иван теперь весьма дорожит Сильвестром. Он просто благоговеет перед ним.

Пережитое потрясение сильно подействовало на великого князя. Он не только перестал сторониться государственных дел, но, напротив, теперь уже ничто не решается без Ивана. Передают, что князь действительно перестал пить вино, не знает других женщин, кроме княгини Анастасии, и непрерывно совещается с избранными им людьми о положении страны и народа.

Больше того, недавно он созвал в Москву людей всех состояний (у москвитов такое сборище называется Земским собором) и, выйдя к ним на Троицкую площадь, держал весьма длинную и прочувственную речь.

Он каялся в нечестивой жизни, навлекшей на Московию столько всяческих бед, но оправдывался своим малолетством, неопытностью и злой волей бояр, правивших за него.

Я был на Троицкой площади и, хотя еще недостаточно хорошо понимаю их дикарский язык, мог многое разобрать и видеть поведение народа. Великий князь произвел большое впечатление. Он был или, во всяком случае, казался очень искренним. Когда князь поклялся, что искупит свои грехи, разберет правых и виноватых, простые люди плакали.

Если великому князю удастся хотя бы в какой-то степени выполнить свои обещания об устройстве государственных дел и упрочить положение своих подданных, он, бесспорно, същет их любовь.

Не знаю, какие шаги он предпримет в первую очередь. Знаю лишь, что предполагается перестроить сверху донизу всю администрацию, упорядочить суды и осуществить реформы в войске.

Одновременно предприняты шаги к привлечению на службу великому князю сведущих во всяком мастерстве и искусствах иноземных людей.

Спешу уведомить в связи с этим вашу милость о том, что великий князь направил в империю уроженца Магдебурга Ганса Шлитта, недавно прибывшего ко двору Ивана и предложившего свои услуги в качестве

переводчика.

Названному Шлитту поручено искать и звать в Московию докторов и магистров всех свободных искусств, литейщиков, мастеров горного дела, мастеров золотых дел, матросов, плотников, каменщиков, копачей колодцев, бумажных мастеров и лекарей.

Я встречался со Шлиттом дважды: в гостях у нашего соотечественника Гаспара Эверфельда и в доме известного московского торговца Афанасия Твердохлебова.

Шлитт хвастал, что был принят самим великим князем, и пытался убедить нас, будто князь Иван весьма склонен покориться латинской церкви.

Шлитт выводит такое заключение из слов князя Ивана, будто бы сказавшего ему, что латиняне во всем превзошли Русь и что в этом — перст господень.

Гаспар Эверфельд подтверждает мнение Шлитта о большом интересе князя Ивана и его приближенных, в частности Адашева, ко всему иноземному. Между прочим, Адашев посылает своего родственника со Шлиттом обучаться в имперских городах.

О, если бы Шлитт и Эверфельд были правы! Но я бы не торопился обольщаться, ваша милость. Отец Ивана, покойный князь Василий, тоже проявлял интерес и к нашей вере и к нашим мастерам. Но мастеров он принял, искусство их здесь вызнали, а истинную веру исповедовать не хотят.

А вот еще одна новость. В Казани недавно умер, спяна расшибив голову о кадку, царь Сафа-Гирей. Ему наследовал малолетний сын Утемиш-Гирей, опекаемый матерью-царицей Суюн-бекой. Но что значит правление женщины?! В Москве же сидит извечный враг Сафа-Гирея, изгнанный им царь Шиг-Алей. Последний готов на все, чтобы только вернуть казанский престол. Поддержат ли его московиты, судить не берусь. Думаю, что нет, так как с них хватает и внутренних неурядиц.

Кстати, как курьез, могу рассказать вам одну забавную историю.

У Афанасия Твердохлебова есть дальний родственник, некий Иван Федоров, до недавнего времени служивший дьяконом в одной из кремлевских церквей. Во время пожара у него умерла жена, и, став вдовцом, он оказался вынужденным покинуть свою хлебную должность. Московские законы запрещают священнослужителям безбрачие, как, впрочем, запрещают и двоеженство. Сейчас этот Федоров живет тем, что переписывает книги, и только. Это не очень доходно, если не имеешь какого-либо места: много ли может переписать человек? Одну-две книги в

год! Впрочем, речь не о том. Твердохлебов и другие москвиты почитают Федорова, как грамотного и образованного человека. Гаспар же Эверфельд, смеясь, рассказывал, как поразила этот «грамотный и образованный» дьякон, увидев книгу, напечатанную способом великого Иоганна Гутенберга. Он никак не мог понять, как это можно печатать книги, а не переписывать! Вообразите, ваша милость, тупую физиономию пораженного москвитянина и судите, каковы же его соотечественники, не умеющие даже того, что умеет он, то есть не умеющие даже писать!

Мне кажется, что я слышу смех вашей милости и чувствую себя счастливым, так как для меня нет высшей награды, чем ваше благорасположение.

Чего стоит слуга, если он не радуется веселью своего господина?

Я же готов и впредь подвергать себя лишениям жизни в варварской стране, где каждое неосторожное слово может привести на плаху, лишь бы оправдать ваше доверие и знать, что не буду оставлен вашими милостями.

Я очень сильно издержался, ваша милость. Тут все очень дорого, и, кроме того, москвиты очень любят подарки. Если хочешь быть приглашаем в гости в нужные дома, не скупись. Поэтому я прошу вас с первой же оказией прислать мне двести талеров. Иначе я буду просто лишен возможности сообщать вам подробные сведения о здешних делах.

Припадаю к вашим стопам, молю бога даровать вам долгих и счастливых лет.

Еще раз прошу выслать двести, а лучше — триста талеров.

Ваш преданнейший слуга...»

ГЛАВА V



Первое время Иван Федоров ютился у Твердохлебовых. Им повезло: уцелели и дом и службы. Михаил Твердохлебов вызвался тогда же быть крестным отцом младенца. Нарекли сына Ирины так же, как самого Федорова, — Иваном. В крестные позвали Ольгу, жену Маруши Нефедьева. Дом у Маруши сгорел, но оставалась подмосковная земля, добрых полчети. Маруша сразу взялся ставить новую избу, просторнее прежней. Строились и другие москвичи.

— И тебе бы избу схлопотать! — наставлял Афанасий Твердохлебов. — В дьяконах тебе не служить, ну и стройся на посаде.

Из чего строиться-то? — спрашивал Иван Федоров. Да и к чему теперь все... Теперь мне постричься надо.

Голос у него дрожал.

— Митрополит-то гонит в монастырь? Нет? Ну и негоже так рассуждать! Горю поддаваться — господа гневить. И опять же сын у тебя. Для него трудись... К митрополиту ступай, проси на обзаведение, даст.

Иван Федоров пошел к митрополиту. Тот уже слышал о беде дьякона и, повздыхав, велел своим людям помочь просителю.

— Где живешь ныне? — спросил митрополит.

— У Твердохлебовых, владыка.

— Так... В монахи тебе надо постричься, знаешь?

— Знаю, владыка.

— Ну, ин пока мне нужен... Ступай. Позову.

Избу начали ставить в Зарядье, где подешевле откупили землю у погоревшего рыбника. К зиме Федоров въехал в новое жилье с сыном и кормившей Ивана молодухой Марфой, лишившейся на пожаре мужа и младенца.

Сердобольные бабы, закрывшие глаза Ирине, сыскали Марфу тут же среди погорельцев:

— Вот кормилица сыну твоему!

Афанасий Твердохлебов, суча бороду, осторожно посоветовал пристроить Марфу где-нито по соседству.

— Баба она молодая, гожая... Разговор пойдет. А захочешь сына повидать, убежишь.

Но Федоров не хотел, чтобы сын рос у чужих людей, и взял Марфу в свою избу.

— Греховных мыслен у меня нет, — ответил он старому купцу. — А Марфа, как выкормит Ивана, вольна к себе.

— Ну, гляди... — вздохнул Афанасий.

Митрополитовых денег не хватило и на плотников, а пришлось еще и одежду справлять, утварь покупать, да на харчи каждый день требовалось.

Чтобы перебиться, сводить концы с концами, вставал Иван Федоров затемно и, наскоро похлебав вчерашних щей, садился к оконцу, раскладывал бумагу и писал, писал, писал...

От прилежного писания ломило в висках, сводило руку, а спина немела, становилась как чужая.

Но то ли от усталости, то ли оттого, что вскакивал к плачущему сынишке, если Марфа уходила по воду или в ряды, но часто, проглядывая написанное, с горечью и досадой видел он пропущенные ошибки.

Испытывал Иван Федоров иной раз искушение снести листы как есть. Авось никто не заметит промахов. Но претил обман, не мог допустить, чтобы из-за его корысти искажалось божье слово. Даже подчищать строки, как Маруша советовал, тошно было, хоть и подчищал порою. Всегда любил он ряд и красоту, хотел, чтобы книга радовала чтеца каждой буквой.

Росло в Иване Федорове недовольство собою. Сделался мрачным, раздражительным. Раньше, бывало, пишешь и размышляешь, стараешься постичь кажущееся непонятным, а теперь только пером скрипишь...

Марфа с самого начала держалась в доме незаметно, была проворна, во всем старалась угодить Ивану, и ему могли бы прийти дурные, недобрые мысли о причинах ее хлопотливости, когда бы не видел он лица Марфы, склонявшегося над люлькой с младенцем, не замечал тревоги в карих глазах бабы, когда неумело пытался подкидывать сына над головой.

Масленица в тот год не махала плетеными, в лентах, конскими гривами, не стучала в ворота кулаками хмельных и веселых соседей, не бушевала боями на льду Москвы-реки у Водяных ворот Китай-города.

Не до катаний, не до боев было после недавней беды. Еще не всюду головешки убрали. Не всякий и блины испек на коровьем масле. Скажи спасибо, если постное нашлось!

Незаметно прожили масленицу, незаметно и к посту приступили.

Чтоб кормился пострадавший люд, царь Иван повелел возводить на Ильинке Гостиные ряды. Стук топоров доносился оттуда в Зарядье с утра до ночи. Там же, на Ильинке, велено было строиться всем московским купцам. У купцов тоже работа находилась люду. А взамен погоревших деревянных храмов складывали из камня новые. Деньги давал митрополит, царь и бояре.

Еще на рождество раздавали из царевых житниц муку. Раздали и к весне.

Так, мало-помалу дотянули до лета, а летом пошла всякая овощ, крапивка, щавель, грибки, ягоды — все не на пустое брюхо спать!

Недолго оставалось и до жнитва. Москвичи повеселели. Худшее позади, о татарах ни слуху ни духу, в поборах послабление и отсрочка, стало быть, нечего роптать, нечего бога гневить!

Молились за царя Ивана. Утешился молодой царь, утвердись на престоле, окружил себя людьми умными, верными, слушает и старые княжеские роды и возвышенных им служилых, и нет прежних боярских свар и самоуправств. За самоуправство царь не щадит.

В особой царской чести князя Курлятев Дмитрий, Курбский Андрей, Мстиславский Иван, князя Воротынский, Одоевский, Серебряный, Горбатый, Шереметев — все из не больно знатных семей, да древних, немало Москве послуживших, и все молодые, к бою гожие и книжные, христоробивые.

С ними да с Адашевым Алексеем царь неразлучен. В приказах же первый — Висковатый Иван. Самый близкий думный дьяк у царя, всех обошел. И не диво — трудолюбив, покорен и любого толмача за пояс заткнет. Мысли же царя словно угадывает.

С ними со всеми царь Иван, по притче соломоновой, яко град претвердыми столпами утвержден.

Дай-то бог, чтобы так и дальше шло!

В июле, на великомученика Прокопия, Иван Федоров пришел в Кремль отдать переписанные для митрополита листы Четьи-Миней. Встретивший Федорова дьякон Маврикий обрадовался:

— Вона! Легок на помине! А уж я посылать за тобой хотел.

— Какая нужда?

— Высокопреосвященный жития святых заново пишет, так вот, велел тебя да Карпа от Благовещенья скликать. Вам переписывать оные... Сядь, я схожу, доведу, что ты пришел.

Федоров, недоумеая, присел на лавку. Какие новые жития? Откуда? И почему не через Маврикия листы дают?

Маврикий воротился скоро.

— Велел обождать... Ну, как живешь-то?

— Твоими молитвами. О каких житиях ты молвил-то?

— А! О тех, что незнаемы еще. Высокопреосвященный, вишь, вызнал их и хочет всем поведать. Я, грешный, слышал, как он себе вслух читал. Хорошо!

— Да чьи жития-то?

— О господи! Всех, кто ныне преосвященным к лику святых причислен.

— Ну-ка? Кто ж про них чего знает-то?

— Высокопреосвященный знает. Затем, видать, и зовет тебя, чтобы сказать. Годи!.. Попа не видишь своего, Григория-то?

— Не вижу. На что он мне?

— Да я так... Сыну-то твоему год уже, поди?

— Год с месяцем.

— Да-а-а... А баба эта все при тебе?

— Не при мне, при младенце... Кому до нее печаль обрелась? Не Григорию ли?

Маврикий почесал за ухом.

— Не гневись. Я же предупреждаю... И чего он умышляет на тебя, Григорий твой?

— Виноват — вот и умышляет. Я его из огня выволок, а попадья жену мою одну бросила.

— Знаю... Ох, темны человечьи души!.. Темны!.. А ты все-таки поберегся бы, Иван. Сгони вдовицу, как сын встанет. Лучше бабку сыщи какую-нибудь или к родне мальчика отправь.

— В Новгород, что ль?

— Да, нескладно... А может, ты жениться задумал?.. Нет, я не в укор. Одному трудно, понимаю я. И вдовица у тебя складная. Опять же — в грехе хуже жить...

Федоров сердито свел брови.

— Полно врать, Маврикий! И греха за мной нет, и жениться не собираюсь. Давно ли двоеженцев высокопреосвященный привечать стал? А?.. Молчишь?.. Ну, а я церкви потрудиться еще хочу. Хоть и мал, да вот скудным умом своим рассудил, что всякая лепта — благо. Не говори ты больше со мной о Марфе, сделай милость... О другом помысли мои.

Маврикий развел руками.

— Не зла я тебе желаю, Иван! Чего сердишься?

Окна в покоях митрополита были растворены: Макарий любил тепло. В белых крестчатых ризах стоял он у заваленного книгами и бумагой обширного стола, благословил Федорова, пытливо всмотрелся в его лицо.

— Вот, притек по зову твоему, владыка.

— Вижу, не слеп... Знаешь, зачем зван?

— Маврикий о новых житиях сказывал.

— Успел уж! Экий язык длинный у раба лукавого! И хоть бы понимал, о чем суесловит!.. Так-то... Доволен я трудами твоими. Не ошибся, призывая тебя из Новгорода. И вот — избрал из многих, понеже необычное дело предстоит.

— Готов служить, владыка.

Макарий помолчал, взял со стола несколько листов, перебрал, осторожно положил на прежнее место.

— Вразумил нас господь воздать по заслугам истинным сынам христианским, ратоборствовавшим за православную церковь в земле русской, мужам, светлым душой и разумом, князьям и отшельникам, иереям и воинам, — наставил нас приобщить их к лику святых, дабы все явственно зрели их угодность богу. Ты это знаешь. А что злоязычники, хулители, еретики толкуют, знаешь ли? Митрополит-де в святые язычников пишет, не мучеников, а мучителей. Шипят, что ничего о тех святых не слышали... Заложил им уши господь, где же услышать?!

Макарий испытующе посмотрел в глаза Федорова.

— Зловонные рты еретиков заткнуть следует. Земля наша многострадальна. Со всех сторон агаряне грозят, а на руках царя и святой церкви оковы — внутренняя распря и ложь. Доколе не научим народ, что высшая мудрость и высшее благо христианина — смирение, доколе с ересями заволжскими не покончим, не быть церкви и царю могучими...

Разумеешь ли сие?

— Разумею, владыка.

— Рад... Вот, гляди. Переписал я тут жития святых. Надобно их перебелить. Как перебелишь, другим писцам дадим, пусть множат. Ты же мою руку никому не показывай. Не для чего. А спросят, откуда списывал, говори, у митрополита старые списки брал.

— Гоже ли врать, владыка?

Митрополит глядел исподлобья.

— А в чем твоя ложь будет? Списки сии есть. Или не веришь мне?

— Упаси бог, владыка! Верю!

— Вот и верь. Вам, писцам, я те списки не дам. Мало что случиться может. А дураки, прознав, что вы мою руку одну перебелили, завопят, что обманывают их. Понял?

— Понял...

— Сомнений не держи. Святое дело творим. А про разговор наш никому не сказывай. Я тебя взыскал, я же и спрошу строго, коли что... Строго спрошу!

Взволнованный Иван Федоров отер вспотевший лоб.

— Положись на меня, владыка. Все исполню, как ты велишь. Великая радость мне это доверие.

Митрополит наклонил крупную седеющую голову.

— Да поможет тебе бог. Ну-ка, гляди, что делать надо.

Получив от митрополита работу, Иван Федоров осмелился спросить:

— Прости, владыка, грешного, верно ли, что немцу Гансу Шлитту велел князь печатных мастеров на Русь привезти?

— Откуда знаешь?

— Видел я того Ганса. У Твердохлебовых он бывал.

— Похвалялся, значит, нехристь... Верно, дан Шлитту наказ печатников привезти.

— А самим не наладить ли печатню, владыка?

— Нет, Иване. То искусство большое, незнаемое. Не ломай голову. Даст бог, вернется Шлитт, увидим, что у иноземцев к чему... Помнишь, о чем говорили-то? Про списки?

— Помню, помню, владыка!..

...Маврикий так и нацелился на Федорова острым носом.

— Ну что? Ну как?

— Да вот, велел митрополит старые списки перебеливать... Ты зачем брехал, будто жития новые?

Маврикий только мигал рыжими ресницами.

— Слышь, Афанасий, помнится, говорил ты о Петре Фрязине, что хотел итальянец печатню ладить?

— А ты только затем и забег, чтоб о Фрязине спросить? Садись-ка, попотчую.

— Благодарствую. Хорош мед! Так верно про Фрязина-то?

— Вот прилип! Ну, верно... Не дал ему князь Василий денег.

— Почему?

— Просил много. Да и священство отсоветовало.

Афанасий Твердохлебов, заметив, что гость заскучал и понурился, довольно рассмеялся, потер руки.

— Уж я тебя разглядел давно, Иван! Если тебе в голову что запало, ты ровно шальной делаешься... Ну, давай подслащу трапезу. Чего про штанбу рассказывать?

— Про штанбу?

— Штанба — по-ихнему, по-фряжски, мастерская печатная. А мастеров, которые печатают, они тередорщиками кличут.

— Ну, ну?!

— Не понукай, я не мерин!.. Печатать он на каком-то станке мыслил. Грешен, не расспросил, на каком. Да он и не сказал бы, поди. А вот про буквы — по-ихнему литеры — я спрашивал. Он, верно, лить их собирался. Сначала-то, помнится, как-то в булате литеры делать, булатными форму выбивать, а по форме уж лить.

— Для чего же не булатными печатать?

— Больно тверды, поди, да ломки. Да потом, сколь их булатных поделать надо на одну книгу? А с одной формы сколь хочешь можно букв налить.

— А из чего лить?

— Того не знаю. Может, из меди, а может, из свинца. Ну, слаще еда-то стала?

— Спаси тебя бог, слаще!.. Эх, как бы про те формы и буквы все узнать!

— А узнаем! Вот немцы приедут — и узнаем.

Если подниматься по Петровке, правым берегом Неглинной, то, не доходя кузнечной и оружейной слобод, увидишь в долине обширный пруд. Перегороженная бревенчатой плотиной, узкая Неглинная разлилась тут широко, как в половодье. Раньше стояла на плотине мельница государева, теперь ее нет: больно дурная вода в пруду. Его так и прозвали Поганым. А нехороша вода из-за стекающих в пруд отходов литейного и пушечного дворов. Дворы эти нещадно дымят зиму и лето. Среди сложенных в высокие поленницы березовых и дубовых дров снуют закопченные люди, роются в каких-то ямах, ворошат земляные бугры, из которых рвутся искры и пышет пламя. Там долбят мотыгами железную руду, там ее моют, там пробивают земляные печи острыми пиками и бесстрашно стоят над желобами, по которым лениво течет, брызгаясь, ослепительный металл... Груды глины, шлака, извести. Кислый запах чугуна и бронзы. Визг пил, обгрызающих готовые дула мортир, василисков и гаковниц.

Гаспар Эверфельд окликнул курчавого стражника:

— Эй, молодец! Где есть Ганс Краббе?

— Эвон к пушкарям побег. Мортира у них лопнула.

— О, это худо! Очень худо! — встревожился Эверфельд. — Несчастный Ганс.

Он дотронулся до руки Федорова.

— Я вам просит обождать. Я сейчас.

Эверфельд ушел. Стражник, стоявший возле пушкарской избы, почесал за пазухой.

— Хуже, чем в аду, здесь... Сторожить и то прокиснешь насквозь, а поди-ка у ям да у печей постой!.. Вона, твой немец нашего пожалел. Его жалеть неча. С него за мортиру шкуру не спустят. А мастеровых плетями да батогами попотчуют. Жизнь, господи прости!

Видно было, стражник рад поговорить кем-нибудь.

— И часто орудия лопаются?

— Коли бы часто, тут, поди, и живых никого не осталось. А пошто тебе сюда зандобилось?

— Так... Спросить хочу вашего немца кой о чем.

Эверфельд и Краббе вскоре показались из-за куч извести. Иван Федоров поклонился, Краббе ответил поклоном же. Попросил пройти в избу.

В камерке Краббе на голом столе стояли склянки с разноцветном жидкостью, лежали куски руды.

Эверфельд перевел слова Федорова, что тот хочет посмотреть литье, просит рассказать, если Краббе знает, конечно, из чего делаются литеры в

немецких печатнях.

Краббе внимательно выслушал Эверфельда, бросил быстрый взгляд на русского, о чем-то спросил по-своему, вздернул жидкие пшеничные брови, и между немцами начался долгий разговор.

Иван Федоров видел, что Эверфельд сердится, а Краббе, похоже, нарочно злит его и ядовито усмехается.

Наконец Эверфельд раздраженно сообщил:

— Краббе говорит, что к литейным делам без разрешения государя посторонних допустить не может... Состав литер ему неизвестен.

Иван Федоров поднялся с лавки.

— Больно много он говорил, чтоб отказать... Переведи: вижу, что врет. Ну, пускай дорожится. Без него обойдемся.

И, не дожидаясь, пока смущенный Эверфельд скажет что-нибудь, вышел из пушкарской избы.

Он уходил с пушечного двора, не оглядываясь. Обида и гнев на проклятого немца гнали его прочь. Наконец устал от быстрого шага, задохнулся, встал в тени столетней ветлы.

— Не говорят? К своим мастерам пойду!

Утопила Зарядье в непролазной грязи осень. Ударили первые заморозки. Отпустило. Потом стало сыпать колкой крупкой. И только в конце ноября повалил глухой, мохнатый снег. Он валил два дня подряд, облепил Москву, подкатил заносами и сугробами к завалинкам хором и оконцам изб, и тогда начались морозы.

Иван Федоров завершил переписку житий новых святых.

На другой день прямо с утра он отправился к Твердохлебовым.

Спешил, надеялся услышать хорошие новости. Но новости оказались плохими. Михаил Твердохлебов поведал, что слышал от иарвских купцов, своих приятелей, о печальной участи царева посланца Ганса Шлитта. Шлитт собрал будто бы с разрешения императора Карла больше ста двадцати немецких мастеров и уже повез их на Русь, но сначала его задержали в Любеке, а потом в Риге. Великий гермейстер Ливонского ордена Фирстенберг, рыцари и дерптский епископ оковали Шлитта, запрятали в тюрьму мастеров, а императору послали грамоту, где просят взять разрешение на выезд Шлитта в Московию обратно.

В грамоте, по словам знакомого Михаилу купца Иоахима Крумгаузена,

гермейстер и епископ уверяют, что обучать русских разным искусствам опасно, что они могут эти искусства обратить против ордена и самого императора.

— Тут, видишь, какое дело, — сказал Михаил Твердохлебов. — У ливонцев срок мира с нами кончается, так они и трясутся... И Шлитта они не выпустят. Как бы там император ни решил, не выпустят. В случае чего, возьмут и уморят. Это у них просто. А потом отпишут Карлу, что Шлитт-де помре, и вся недолга... Так что немецких печатников ты не жди.

— А царю известно сие? — спросил Федоров.

— Всем известно. И царю и митрополиту... Ох, неладно гермейстер и епископ творят! Вспомнит им царь эту обиду

— И надо вспомнить! — с досадой сказал Федоров.

Михаил вздохнул.

— Коли вспомнят, быть войне... Тебе-то что? Ты, чай, с Ливонией торгова не ведешь.

ГЛАВА VI



Ему пришлось надолго забыть о печатных книгах. В самом начале пятьдесят восьмого года всех московских писцов позвали в Разрядный приказ, и государев дьяк Пафнутий Захаров объявил им царскую волю: все дела оставить, перебелять Судебник и писать прилежно, но быстро, дабы новые законы повсеместно и скоро распространить, к вящему благу всея Руси и на пагубу ворующим противу государя.

Марушу Нефедьева, Ивана Федорова, благовещенского дьяка Карпа и еще трех писцов поставили старшими.

Старик Захаров и молодой, в каштановой вьющейся бородке Иван Висковатый, пожалованный недавно в думные дьяки, ведающий Посольским приказом, но приставленный царем наблюдать и за Судебником, со старшими писцами беседовали отдельно.

— Вы, помолясь, поделите работу-то, — посоветовал, шепелявя, Захаров. — Возьмите каждый под надзор по пятку али и по десятку и взыскивайте. Да проверяйте, чтоб писцы не запьянствовали. А то на радостях зальют зенки на седмицу, какой с них тогда спрос? И опять же руки у них опосля трястись будут. Почнут царапать, как курица лапою.

— Великий государь наш повелел, чтобы списки были готовы в срок! — звонко, напористо сказал Иван Висковатый. — С писцов, виновных в порче листов и нерадении, спросим, а с вас вдвойне. Проверять за вами сам буду. На себя пеняйте, коли что.

Покинув Разрядный приказ, назначенные старшими писцы посоветовались и тут же решили, кому за кем из переписчиков наблюдать.

Договорились, чтобы всем в приказ не бегать порознь, доводить о работе Маруше Нефедьеву. А уж он пускай к дьякам ходит.

— Пафнунтий-то совсем стар стал! — заметил Маруша, когда они с Федоровым вышли из Кремля. — В гроб смотрит... А Висковатый соколом летает.

— Летает соколом, а в глаза не глядит. Горд.

— Эка! У него дело такое. Ему при власти запросто нельзя... Не с него повелось, не им кончится.

— Не знаю... Не глянулся он мне.

— Ты еще кому-нибудь не брякни такое. Забываешь, Иван, что сана больше нет на тебе.

— Правду я всегда и без сана скажу.

— И дураком выйдешь. Мирских-то правд — сколько трав, а прав тот, кто траву гнет.

— Не должно того быть. Правда одна — церкви и государя.

— Эх, милый!

— А для чего же законы новые? Для чего мы ереси воюем?

— Да все так... Только жизнь и помимо законов течет... Ну ладно. Чего зря об этом?.. Крестник Ольгин как? Зашел бы с ним.

— Спасибо, — улыбнулся, едва речь зашла о сыне, Федоров. — Ужо приведу... Парнишка крепкий растет, не сглазить бы!

— А Марфа что? Здорова ли?

Федоров быстро, искоса посмотрел на Марушу и не сразу ответил:

— Благодарствуй... Здорова.

Маруша, казалось, не заметил заминки товарища, на углу Ильинки они спокойно попрощались, но к избе Иван Федоров подходил взволнованный. Случайно или с умыслом спросил Маруша о Марфе? Догадался или просто так молвил?

...Почти три года минуло со смерти Ирины, а Иван жил и здравствовал. Летящие дни заслоняли прошлое. Иван Федоров упорствовал, растравляя себя воспоминаниями, но воспоминания становились расплывчатыми, зыбкими, и образ Ирины отступал от него все дальше и дальше, таял, как тает в окутывающей горизонт голубой дымке покинутый тобою родной край... Горько тебе, нет-нет да оглянешься, а новые попутчики окликают, дорога требует сил, обступают дела.

С недавнего времени стал тревожить Ивана Федорова мягкий, низкий голос Марфы, опаляли случайные прикосновения одежд, рук.

Он увидел то, что видели давно все другие: длинные загнутые ресницы вокруг огромных карих глаз, тонкий стан, высокую грудь,

плавную походку.

Федоров боролся с собой, налегая на работу, истово молясь.

Но все оказалось напрасным.

Так и стали жить. Марфа, похоже, не изменилась. Даже еще неслышной стала. Но Ивану Федорову все равно чудилось теперь: люди обо всем догадываются и за его спиной шепчутся, осуждают.

Среди отданных под начало Федорова писцов двое оказались изрядными, а трое хоть плачь!

Особенно один отличался, Акиндин Наумов, серолицый, до времени оплешивевший и всегда пьяный.

Грамоты Акиндин не знал, но смотрел на других людей свысока.

Впервые принеся Федорову свои листы, Акиндин расселся на лавке, как хозяин, и, подмигивая красноватым глазом, пожаловался, что в горле пересохло.

— Вон квас, испей, — предложил Федоров.

— Неужто квасом гостей встречают? — обиделся Акиндин.

— Я тебя не в гости звал, — остановил Федоров. — У нас дело. Пировать зачнем — и в год не кончим.

— А ты не гордись! Ты в Москве без году неделя, а наш род в доброписцах издревле.

— На том и хвала, — отозвался Иван, проглядывая листы. — Что это у тебя тут написано?

— То и написано, что надоть.

— Нет, не то... прочти сам.

— Ты надо мной не насмехайся, — поднявшись с лавки, набычился Акиндин. — Я самому боярину Шуйскому, самому боярину Старицкому потрафлял!

— Может, им ты потрафлял, а вот здесь не потрафил.

— Это тебе?!

— Не мне, а царю и государю. И ошибок много, и строка пляшет.

— Строка у меня ровна! Принимай листы!

— Не приму. Забирай их и проваливай.

— Гонишь? Меня гонишь? Да я у самого государя в чести! Меня митрополит знает! А ты кто?!

Пьяному воображению Акиндина, распаленного обидой, собственные

бредовые слова казались правдой.

Акиндин ушел не сразу. Стоя посреди улицы, он еще долго бранился и выламывался на радость зевакам. На другой день к Федорову присеменила жена Наумова, махонькая, иссохшая, со слезящимися глазками.

— Заболел мой Киндинушка! — запричитала она. — Здоровье у него слабое! Как расстроился вчера, так и слег. Задыхается, заходится! Уж не гневайся на него, батюшка. Прости! Где его листы-то? Он выправит!

— Пил бы он помене! — с брезгливой жалостью сказал Федоров.

— И-и-и, батюшка! Разве он пьет? Он малость... Это он болеет!

Федоров передал листы...

Дело с перепиской Судебника двигалось не так споро, как хотелось и как требовали царские дьяки. Переписчики, даже лучшие, допускали ошибки, писали не всегда с бережением, портили дорогую иноземную бумагу, а ее не хватало, и приходилось тащиться в приказы, выпрашивать денег.

Слух, что московские писцы перебеляют новые государевы законы, проник во все углы города.

Соседи Федорова, соседи его соседей, все Зарядье, наверное, перебывало в избе, заходя под любым предлогом и стараясь выпытать, что ждет народ.

Однако сказывать о законах государевы дьяки до поры запрещали. Федоров только улыбался и успокаивал любопытных, говоря, что законы добрые, милостивые.

Между тем людям не терпелось. Не зная ничего в точности, они строили догадки, выдумывали небылицы.

Масла в огонь подлил государев указ о стрельцах. По Москве и по всем прочим городам было объявлено, что царь зовет к себе на службу вольных людей всякого звания, чтобы ведали ратное дело, ходили бы в походы, а их за это жалует землей, обещает им всяческие послабления и великие милости.

Иной обезземелевший мужик и не рад был натягивать стрелецкий кафтан, закабаляться с детьми на веки вечные, но куда было ему подаваться со своей волей? Милостыню просить? А тут землю дают, деньги платят, одевают... В походы-то когда еще, а голодные рты сегодня хлеба просят!

Тысячи шли в стрельцы. И не только вольные. На первых порах велено

было принимать всякого, был бы здоров. Так стрелецкие кафтаны укрыли и плечи беглых холопов.

Народ смущался. Стража схватила на Троицкой площади пьяного крикуна, грозившего боярским родам.

— Кончилось боярское время! — бушевал крикун. — Всю землю у них царь-батюшка заберет и нам раздаст! Сами боярами будем!

Крикуна пытали, вырезали ему язык и, выведя на Болото, срубили буйную голову, объявив, что воровал. Но и это не успокаивало людей. Казнь сочли боярским делом и стали еще нетерпеливей ожидать перемен.

Федорова осаждал Ларька.

Нет, ты мне все прочти, — упрямо склоняя голову, требовал он. — Я никому не скажу, а знать должен.

— Да поди у своего боярина спроси! — пытался отделаться Иван. — Бояре все ведают!

— То бояре, — не соглашался Ларька, — а то государь... Не можешь ты мне отказать. Земляки мы. Вспомни, как я тебя выручал.

Заставив Ларьку поклясться перед иконами, что никому ничего не передаст, Федоров прочитал ему главные места из Судебника.

Ларька слушал, беспокойно норовя заглянуть в бумагу.

— Чего вертишься? Ведь не разумеешь грамоте-то!

— Все-таки... Ну-ка, ну-ка, чти еще раз, как землей верстать будут. Так и написано, что за верную службу государю?

Его интересовала земля, и только земля. Та, которую Судебник сулил каждому, пусть не родовитому человеку, отличившемуся в ратях, несущему тяготы войны, пролившему кровь за царя.

— Это справедливо! — решил Ларька. — Одно худо — опять дума верстать будет... Надо бы, чтоб сам государь, без бояр.

— Куда ж ты бояр-то определишь?

— А пусть вровень со всеми служилыми. Чем мы их хуже?

— Не гордись. Среди бояр зело мудрые мужи есть. Да и привычно им государевы дела править.

— Учили kota сметану лакать! — усмехнулся Ларька. — Дай мне срок — я любому делу выучусь, не то что подати собирать да рафленных курей трескать! Самое это пустое ремесло, Иван, если хочешь знать, править-то! Знай соблюдай свой интерес, а тех, кто перечит, казни... Я так понимаю, что кузнец или плотник куды больше ума на свое ремесло тратит, чем тот же Висковатый Иван.

Федоров смеялся, а Ларька оставался при своем мнении.

Выслушав главы Судебника о делении земли на волости и уезды, о

наместниках и волостелях, он опять покачал головой.

— Конечно, — трезво рассудил он, — так сподручней, и весь доход в цареву казну пойдет. Но — гляди! — опять одни бояре да окольнічы судить могут.

— Зачем? — возразил Федоров. — Вишь, в городах судят приказчики и дворские, в волостях да посадах — старосты с целовальниками. То народом выбранные люди будут.

— А главное-то слово за кем останется? — подмигнул Ларька. — Меня не проведешь!.. Ну, да господь с ними! Прочти-ка еще раз о землице!

Только когда Федоров растолковал Ларьке, что теперь города не будут отдаваться боярам в кормление, что и бояре теперь станут получать жалованье, хоть и в виде доходов от суда, тот сообразил, куда пойдет оставшая прибыль и какую он сам от того может получить выгоду.

— Слава богу! Умудрил царя, как свою казну приумножать! — воскликнул Ларька. — Ну, живем! Теперь бы только в бой! Охулки на руку не положим! Зубами рвать врага будем! Верно говорю! Дай только схлестнуться!

Он потряс вытянутой сжатой в кулак рукой.

— Не жутко тебе кровью-то за землю платить? — спросил Федоров, невольно понижая голос.

— За нее только кровью и платят, — убежденно ответил Ларион. — Да не бойся. Я свою берегу. А вот чужой не пожалею!

...С грехом пополам закончили московские писцы первые сорок списков Судебника. Иван Висковатый сказал Маруше Нефедьеву, что государь недоволен их медлительностью.

— Старались чище сделать, — ответил осторожный Маруша. — Потороплю теперь... Вишь, жаль, станка печатного нету, как у немцев. Давно бы все завершили.

— Ну, это не твоего ума забота! — оборвал Висковатый.

Всю зиму, начиная с богоявления, в Москву съезжались и сходились ратники. В Разрядном приказе с утра до вечера стояли шум и толчея. Царские дьяки строго проверяли число приведенных боярами и дворянами людей, нарочно назначенные московские дворяне вместе с оружейниками проверяли, кто и чем вооружен. На княжеских и боярских дворах места для всех ратников не хватало, их разводили на постой к москвичам. К Федорову и другим писцам никого не поставили.

— Вот и ты в честь взошел! — пошутил Афанасий Твердохлебов, которому посадили на шею десять человек.

Ива; Федоров отмолчался. Он понимал, откуда такая «честь».

Ратники заполонили город. То и дело слышалось, что кого-то побили, у кого-то испортили девку, где-то пограбили. Обидчиков, если только удавалось их найти, били при народе батогами, но бесчинства не утихали.

— Чему дивишься? — пожимал плечами Маруша. — Всегда так было. Ратные — народ отчаянный. Им на смерть идти.

Приехавший в Москву нарвский знакомый Твердохлебовых купец Иоахим Крумгаузен, бодрый толстяк с красными щечками, испуганно разглядывал московское воинство и настойчиво расспрашивал, куда задуман поход.

Афанасий успокаивал Крумгаузена, говорил, что войско на Казань, но ливонец не верил. Боялся: готовится нападение на Ливонию.

— Зачем нам воевать? — говорил Крумгаузен. — Нам не надо воевать. Пожалуйста, мы доставим вам что угодно. Пушки? Я готов возить и пушки! Порох? Пожалуйста, я привезу порох! Ваши дьяки требовали от послов епископа восстановить разрушенные протестантами церкви. Я первый дам денег на эти церкви! Только не надо войны!

— Что это он мечется, как клуша перед ястребом? — спросил у Твердохлебовых Иван Федоров.

— Замечешься, — ответил Михаил. — Ныне орден не тот, что был. Рыцари-то только бражничать да ссориться за чины горазды.

— А богата земля?

— Города богаты. Деревни нищие.

— А наших, православных, там много?

— Есть и наши. А больше ливы, да эсты, да чудь. Все в кабале у немцев.

— Бог с ними, с чудью. Только не пойму я тебя. Ведь ливонские-то земли прежде нашими были.

— Такие же они наши, как немецкие. Да и когда это было?

Толковать с Твердохлебовым о Ливонии не стоило. Крепко дружили они с тамошними купцами. Впрочем, в ту весну и зиму больше толковали о Казани. Летом замышлялся великий поход, чтобы навсегда покончить с этим татарским царством.

— Вот тебе и земля! — говорил Ларька. — Там, по Волге, ее на всех хватит!

Однако время для похода на Казань упустили. Войска, правда, к Волге двинули, Казань обложили, но татары сидели в осаде крепко, а там начались дожди, дороги раскисли, с подвозом провизии стало туго, и, боясь холодов, московское войско потянулось обратно.

Вернувшийся из похода Ларька ругал воевод, татар, погоду, весь белый

свет.

— Коли б знал ты, сколько за одну дорогу ратников добрых да коней потеряли! — жаловался он. — Кто заболел, кто померз. Ну, годи! Я к Курбскому перешел, слышь, и князь мой твердо говорит — не ныне, так завтра, а возьмем Казань. Он и сейчас с бой рвался, да другие воеводы не решились на стены идти.

— Смел, говорят, Курбский-то?

— Всех смелей. Он да брат его Роман — самые из князей отчаянные. В стороне от боя не стоят. Кабы и другие такими были!

ГЛАВА VII



«Припадаю к стопам вашей милости, молю бога продлить ваши годы.

Известие, которое вы от меня получите, может быть, не явится новостью, но я льщу себя надеждой, что первым сообщу такие подробности, о которых вы можете не знать.

Я имею в виду, ваша милость, взятие минувшей осенью русским князем Казани.

Я подробно сообщал вам о миссии Адашева, ездившего на Волгу возводить на ханский престол московского прихвостня и лизоблюда Шиг-Алея. Писал, что запутавшиеся во внутренних спорах казанцы выдали Москве несчастную царицу Суюн-беку с малолетним сыном в обмен на правый берег Волги. Суюн-бека и ее сын, конечно, были умерщвлены, а вскоре Адашев опять появился в Казани.

Придравшись к каким-то пустякам, Москва заявила казанцам, что для них же будет лучше, если вместо татарского царя в городе сядет наместник великого князя. В таковые наметили князя Семена Микулинского. Но обрадовались в Кремле рано. Казанцы опомнились и ворот Микулинскому не открыли. Со стен они кричали:

— Подите, дураки, в свою Русь! Мы вам!..

Представьте теперь положение великого князя. Он уже надеялся проглотить лакомый кусок, а тот взял и застрял в горле! Между тем расплачиваться с войсками Ивану стало нечем. Кроме того, Казань начала спешно вооружаться. Они (татары) привлекли на свою сторону местные племена язычников, к ним прибыл ногайский царевич Едигер с десятью тысячами отменных воинов. Провозглашенный казанским царем, Едигер,

наверное, договорился с перекопским ханом Девлет-Гиреем, потому что хан в начале лета двинулся на Москву.

Хотел великий князь или не хотел, приходилось воевать. Войско собрали огромное и удивительно быстро. Я полагаю, что Москва выставила против казанцев не менее ста тысяч кнехтов. Впрочем, зная боязнь, испытываемую русскими перед татарами, удивляться этому не приходится.

Меня поражает другое: отсутствие согласованности действий у татар. Откликнувшись на призыв казанцев, Девлет-Гирей в июне месяце подходил к Москве, а Едигер даже не подумал двинуться из Казани.

Это дало возможность князю Андрею Курбскому, посланному с войсками против крымчаков, разбить их близ города Тулы. Победа была полной. Курбский, сам принимавший участие в бою, возвратился как триумфатор.

Царю в один голос твердили, что надо немедленно идти на Казань. Однако он решился не сразу, во всяком случае, не хотел ехать сам. Очевидно, Иван боялся, что в случае поражения или неуспеха вся ответственность ляжет на него и власть опять попадет под опеку боярства.

Только уверения митрополита и Адашева, что победа предрешена, что нельзя допустить, чтобы честь ее приписали кому-нибудь, кроме самого царя, вынудили Ивана облачиться в доспехи.

Я довольно хорошо осведомлен о ходе казанской кампании, так как наш соотечественник Гаспар Эверфельд состоял при особе великого князя и сам принимал участие в событиях.

Раз и навсегда должен сказать, ваша милость, что на Гаспара Эверфельда нам рассчитывать нечего. Правда, он, как единоведец, делится тем, что знает, но с его дурацкими представлениями о чести и благородстве он никогда не станет вредить сюзерену, которому служит.

Итак, о походе. В августе московские войска осадили Казань. Они обложили несчастный город со всех сторон и поначалу намеревались взять его измором.

Казанцы вели себя мужественно. Летучие отряды нападали на тылы неприятеля и на обозы, в вылазках из крепости русским причинялся большой вред. Страдающее население бедного города не пало духом даже после того, как от крепости была отведена вода и москвиты взорвали единственный колодец, находившийся под одной из башен.

Голодающие, мучимые жаждой, эти люди, хоть и не знающие истинной католической веры, достойно сопротивлялись московским варварам.

Даже непрерывная стрельба из пушек с возведенных русскими туров,

вызывавшая в городе разрушения и пожары, не могла сломить духа казанцев. Кстати, ваша милость, спешу сообщить, что многие пушки русских разорвались...

Едигер рассчитывал, конечно, что приближавшаяся осень вынудит Ивана опять снять осаду, как уже было два года назад. Однако Ивану нужна была победа любой ценой. Поэтому он решился на штурм.

1 октября русские подвели мину под стены Казани и устроили взрыв. В образовавшуюся брешь устремились отборные полки. Другие полезли по лестницам на степы со всех сторон. Тут отличился Роман Курбский, брат царского любимца Андрея Курбского. Он карабкался вверх, как рядовой кнехт, и пал, жестоко израненный. Отважно сражался и Андрей Курбский. Как полководец он показал себя стремительным и скрытным. Его личная отвага столь же велика, как его прочие таланты. Под Казанью, заметив, что около трех тысяч татар уходят из города и сгрудились на берегу для переправы, князь Курбский во главе небольшого отряда, не раздумывая, врубился в самую гущу противника.

Дрался, как лев. Его сбили с коня, разбили на нем шлем, пробили в нескольких местах кольчугу, потоптали копытами. Вокруг Курбского пало немало храбрых. Однако и татары потеряли множество воинов и уже не отступили, а бежали в беспорядке. Курбского нашел после боя его стреманный. Иссеченный князь остался жив.

Мужественно сражались и другие воеводы, чего нельзя сказать о самом великом князе.

Он отличается умом, хитростью, чем угодно, но только не воинскими доблестями.

Судите сами, ваша милость. Ему необходима была победа, а Иван даже во время штурма продолжал удерживать возле себя, для личной охраны, добрую треть всего войска. Наступил момент, когда отчаявшиеся казанцы, пользуясь тем, что иные русские бросились грабить дома, стали теснить московитов. Великий князь и тут не решался оказать помощь штурмующим. В конце концов распаленные боем воеводы перестали церемониться, попросту нарушили повеление великого князя и послали в бой его полк. Самого же царя заставили сесть на коня и выехать на холм под хоругвь, чтобы он был виден сражающимся. Свежие подкрепления решили дело. Увидев одетых во все белое ратников главного полка, штурмующие ощутили прилив сил и смели последние остатки татарских отрядов.

Гаспар Эверфельд, находившийся возле великого князя, рассказывает, что Иван страшно нервничал, и пока бой длился, без конца вертел головой,

высматривая, не покажутся ли татары еще откуда-нибудь, хотя сторожа доносила, что никаких войск, кроме казанских, поблизости нет. Да и откуда им было взяться?

Когда же Казань пала, когда захватили в плен Едигера и его окружающих, когда бояре-воеводы подскакали к великому князю с криками: «Победа! Победа!» — и стали поздравлять его, знаете, ваша милость, что заявил сей сюзерен своим верным слугам?

Он раздраженно сказал:

— Да, вижу, что и на сей раз господь бог спас меня от вас!

Можно подумать, что он воевал не с Казанью, а с боярами!

Воеводы были обескуражены и огорчены.

Ведь столь недавно великий князь публично объявлял, что примирился с боярством!

Думаю, что невольно вырвавшиеся у великого князя слова будут дорого ему стоить. Во всяком случае, бояре недовольны, обижены.

Народ же ликует, вопит от радости и, как полагается, пьет мертвецки. Веселятся, полагая, что с татарскими набегами покончено навсегда. Весьма довольны и награжденные землей служилые люди великого князя.

Но победа над Казанью еще ничего не означает, ваша милость!

Больше того. Ваш покорный слуга склонен думать, что именно теперь москвитам придется хуже, чем прежде. Я уже говорил вам, что часть татарских отрядов прорвалась из города и ушла. Примите во внимание и недружелюбие местного языческого населения, которое усилится, как только начнут отнимать пастбища и распахивать землю. Все это сулит новые военные столкновения. Будем надеяться, что местные князья не станут сидеть сложа руки. Тем более что вопреки советам ближних великий князь не пожелал пройти с войском по покоренной земле и привести все население к покорности. Бросив войска, он спешно отбыл в Москву, довольный и тем, чего достиг. Кстати, войскам он приказал возвращаться неудобным путем, где они потеряли более тысячи коней.

Итак, приобретя Казань, москвиты приобрели и бесконечные хлопоты. Им еще воевать и воевать в тех краях, и, если бог будет милостив, они увязнут в заволжских просторах, потеряются в тамошних бескрайних лесах, как муравьи.

Стало быть, кажущееся сегодня победой может оказаться поражением.

Казанским епископом назначен, ваша милость, некий Гурий Селижарский. Ему вменено в обязанность бороться с язычеством и крестить местные племена. Очевидно, проповедуя христианство, хотят добиться того, чего не смогли добиться мечом. Но чтобы проповедовать,

нужны книги, а у диких москвитов книг мало. Сейчас для казанского епископа церковные книги собирают по всем городам. Вообразите эту картину, ваша милость! Бородатые стражники и неграмотные попы стоят на площадях и вопят, чтобы верующие, которые имеют книги, отдавали бы оные для дела государя! Но кто же станет даром отдавать книги, если они тут буквально на вес золота? Поэтому я полагаю, что епископ Гурий будет ждать книг весьма долго, а племена за Волгой избегнут московского «просвещения».

Правда, великий князь имел возможность, служа истинному богу, получить сколько угодно книг. Недавно сюда приезжал посол датского короля Христиана Ганс Миссингейм, человек чрезвычайно учтивый, любезный и сведущий в очень многих искусствах. Великий князь, зная, что Миссингейм у себя на родине увлекался и типографским делом, по наущению митрополита выпытывал, как печатают книги. Миссингейм сделал великодушный жест, предложил варварам устроить в их Москве типографию, но с условием, что он будет печатать в ней на русском языке лютеранскую библию.

Казалось бы, чего еще москвиту?

Так нет! От услуг Миссингейма отказались. Ему заявили, что знают истинную веру и способствовать лютеранству почитают за великий грех.

Иными словами, предпочли коснеть в дикости, жалеть о чем не приходится, конечно.

Ваша милость! Должен сообщить еще, что великая княгиня Анастасия, то сих пор рожавшая только дочерей, разрешилась от бремени сыном. У великого князя теперь есть наследник. По этому поводу здесь опять торжествуют. Вернувшийся из похода царь дал по случаю рождения престолонаследника пир. Царю положительно везет, ваша милость!

Жизнь здесь для вашего покорного слуги по-прежнему трудна и небезопасна. Великий князь и его воеводы, в частности Адашев и живучий Курбский, выражали большое неудовольствие по поводу разорвавшихся под Казанью пушек. Помимо меня, появились два шведских мастера, не считая имеющихся уже русских.

Я вынужден убедительно просить вашу милость прислать мне денег. Уверяю вас, я употребляю их с пользой!

Припадаю к вашим стопам. Прошу бога даровать вам долгие и счастливые годы.

Ваш преданнейший слуга...»

ГЛАВА VIII



Ни припарки, ни бросание крови, ни лекарственное питье не помогали. Царю Ивану делалось все хуже и хуже. Анастасия, располневшая после родов, не отходила от изголовья мужа. Иван, огромный, осунувшийся, горел, задыхался. Его рука до боли сжимала руку Анастасии. От жалости к беспомощному Анастасия плакала. Слезы размазывали румяна и Сели. по царевой подушке расплзались розовые пятна.

Лекарь немец с озабоченным лицом нагнулся, щупал пульс царя.

Адашев переглядывался с братом царицы Григорием Захарьиным. Во взгляде Григория читались страх и отчаяние.

За дверью опочивальни — шарканье, покашливание, приглушенные голоса. Там собрались московские бояре.

Все ждали...

Еле слышно, одними губами, лекарь произнес:

— Я боюсь...

Больной услышал. Он перестал метаться. Большие горячечные глаза открылись. Иван обвел взглядом опочивальню. Оконца были украшены морозом. Это смягчало яркий свет зимнего солнца. Но все равно смотреть, на краски ковров и цветные кафтаны было больно. Он опустил веки, закрыл лицо большой ладонью.

— Присягнули ли сыну моему? — собравшись с силами, тихо спросил царь.

Никто не ответил. Только Анастасия заплакала не сдерживаясь, в голос.

Иван понял. Страшная слабость растеклась по телу. Час-другой царь словно плыл куда-то, опускался куда-то сквозь расходящиеся текучие радужные круги.

Потом сознание вернулось. Он боялся, что, заговорив, вновь погрузится в забвение, и молчал. Но мысль и чувства жили.

Презрение и ненависть к боярам, к облагодетельствованным им людишкам выжали из глаз слезы.

Не хотят присягать Дмитрию! Не хотят!

Бояре — те дождались своего часа. Двоюродного братца, сизняка Владимира великим князем провозгласят, по своей воле все повернут, а Анастасию с сыном, с его плотью и кровью, — в монастырь, в застенки, в петлю или под нож.

Иван отрывисто застонал. Лекарь поднес питье. Лекарство пролилось на волосатую грудь, охолодило...

Захарьины — те боятся бояр. Дворяне тоже. Черви, мразь, отребье! Свои головы жалеют, а головы царского сына не жаль!

О, быть бы сейчас в силах, встать, палить огнем их поганые бороды! Шкуру содрать с проклятых! Посмотреть бы, как валяться в ногах станут!

Царь попытался приподняться, но голова пылала, кружилась, и он опрокинулся навзничь.

Вокруг засуетились. В опочивальню пролез Сильвестр, хитрые маленькие глаза попа пробежали по лицам собравшихся у ложа.

— Плох государь! — в отчаянии, не сдержав басовитого голоса, сказал Адашев.

Сильвестр перекрестился, приблизился к Ивану, всмотрелся в его искаженные не то болью, не то скрытым чувством черты.

— Милостив бог! — внятно произнес Сильвестр, пристально следя, услышит ли царь. — Все в руке его...

Иван услышал.

— Не уходи... — еле слышно попросил он. — Со мною будь...

— Не покину, не покину, батюшка... Помолюсь за тебя.

Сильвестр опустил на колени перед киотом. Вслед за ним стали молиться все. Анастасия, чтобы не заглушать молитв, уткнулась в цареву одеяло, сжала зубами атлас

...Далеко за полночь Ивану полегчало. Он потребовал, чтобы его посадили в кровати. Велел остаться Алексею Адашеву и Захарьиным, остальным идти вон.

— Григорий! — тихо позвал царь. — А ты... Ты почему не присягаешь?

— Государь! Даст бог, выздоровеешь...
— Не лги... Господи! Дурак! Ваши захарьинские головы первые полетят, коли умру, а бояре Старицкого призовут!
— Государь! Не умрешь ты!
— Не знаешь, как кости-то на дыбе трещат, как мясо паленое пахнет?!
Свое мясо почувешь!.. И ты, Алешка! И ты!
Алексей Адашев шагнул к царю.
— Я присягну, государь.
— Один ты умен... Где отец твой?
— Здесь...
— Чего отворачиваешься? Позови его!
— Не надо бы, государь, тревожиться тебе.
— Зови! Я жив еще!

Алексей Адашев отступил, вышел, вернулся с отцом — Федором Григорьевичем, недавно пожалованным в боярское достоинство.

Тот низко поклонился царю, встал, выпрямься во весь немалый адашевский рост. Окладистая борода еще черна. Глаза внимательны, настороженны.

— Присягнул? — донеслось с постели. — Сыну моему присягнул?
Адашев тяжело вздохнул, помедлил и, решившись, твердо ответил:
— Нет, государь... Не хотим мы Захарьиным служить.
— Так-то за благодеяния мои, пес?
— Прикажи, государь, умереть за тебя — умру. А Захарьиным служить никто не будет. Сам понимаешь, чай, как при младенце царская власть крепка.

— При Дмитрие тебе жить, а при князе Владимире в гноище волочиться, червей кормить!

— На Глинских, государь, нагляделись, на Шуйских налюбовались и в твоём младенчестве.

— Покарает тебя бог, Федор! За вдову мою и дитя покарает, если не присягнешь!

— Молюсь, чтоб даровал господь выздоровление тебе, государь! Поверь, верный слуга я твой...

— Присягни! На краю-могилы умоляю... Царь тебя умоляет, Федор! Присягни! Не дайте пропасть плоти моей!

Федор Григорьевич растерянно переступил с ноги на ногу. Никогда не слышал еще, чтобы так молил о чем-нибудь Иван.

«О дитяти печалится...» — взволнованно подумал старый Адашев и взглянул на сына.

Алексей стоял, стиснув зубы, часто дышал, смотрел только на царя.

«Не присягну, а Иван вдруг выздоровеет... Тогда всему роду плаха!»
— подумал Федор Григорьевич.

Он низко, в пол, поклонился.

— Тронул ты меня, государь... Прости, что смутился разум мой.
Присягну.

— Поцелуй меня, — облегченно попросил Иван. — Спасибо, утешил.
Не забуду. И сыну завещаю помнить...

Пока царь отдыхал после утомившего разговора, Алексей успел быстро молвить отцу:

— Князя Курбского позови. Иди, не медли.

Андрей Курбский, высоко подняв красивую белокурую голову, кривя презрительно губы, прошел под испытующими, то недобрыми, то завистливыми, то тревожными взглядами бояр в царскую опочивальню.

На пороге поклонился. Когда выпрямился, лицо его было строго и спокойно...

Род Курбских не из последних на Руси, но, хотя идет от Рюрика, боярского достоинства у Курбских нет, не возвеличены. Двадцатипятилетнему князю Андрею помнить бы об этом, а он шеи ни перед кем не гнул и не гнет, как не гнули ни его дед, впавший в немилость за правдивые речи самому великому князю, ни отец. Не в одном боярском звании видит князь Андрей достоинство человека. В уме, в мужестве, и верности древним обычаям. Незнатный Алексей Адашев с его ясным разумом и дерзкой отвагой милее и ближе князю Андрею десятка бояр, только тем и гордящихся, что их прадеды в думе сидели.

Гордые мысли у князя Андрея Курбского. Верит, что ему и равным с ним суждено вершить при государе Иване великие дела, праведным словом и мечом утверждать торжество православной веры, расширять пределы Москвы.

И нет сомнений у князя: присягать или не присягать малолетнему сыну Ивана Дмитрию. Твердо решил — присягать. И если умрет Иван, любой ценой защитить царевича, встать самому около престола и не колеблясь продолжать начатые дела...

— Ты, Андрей?

— Я, государь.

— Не оставишь сына моего?

— Не оставлю, государь. А для врагов меч мой остер. Ты видел.

— Андрей, Алеша! Сговорите бояр, сговорите!...

Уходит день. Посинели окна. Царю к вечеру еще хуже. Забылся. И

напрасно дерзко требует у бояр Курбский присягнуть Дмитрию, напрасно, оставив угрозы, взывает к их разуму, к их совести. Напрасно старается Алексей Адашев. Никто царевичу не присягает.

Стало известно: Владимир Андреевич Старицкий раздавал нынче жалованье стрельцам. Сам стоял на крыльце, сам деньгами оделял.

Владимир Андреевич тих, богобоязнен, привержен старине, ратями не бредит, служилым не благоволит, при нем боярские головы никогда бы не летели, как при Иване.

Вот бы великий князь боярской Москве!

Ночь. Бессонная. Тревожная. Жутковатая.

А утром весть. Ивану полегчало. И шепотком, от одного боярского, заросшего волосом уха к другому: «У стрельцов рожи зверские!.. На дворе у Курбских дружинники коней не расседывают!.. Митрополитовы бояре людишек вооружили!.. Чернь в Кремле кучится!..»

Прислушиваются... «Нет, царицыных воплей не слышать».

Глядят... «Ишь, Алешка Адашев повеселел...»

«Господи! А вдруг выздоровеет Иван-то? Ох, быть тогда беде! Быть беде! Не простит!»

И животный страх толкает бояр к кресту митрополита Макария. Один за одним присягают они царевичу Дмитрию. Все: Шуйские, Щенятевы, Морозовы, Юрьевы, Пронские, Палецкие, Воронцовы, Оболенские... Все московское боярство.

Верят: если и умрет Иван, то все равно Захарьиным не править.

Захарьины одни, а бояре силы еще не потеряли...

Но царь не умирает.

И, наконец, лекарь, коверкая русские слова, с важностью объявляет, что государь поправится.

В соборах гремят молебны.

А Иван, еще слабый, оставшись наедине с Анастасией, гладит голову радостно улыбающейся жены и выпрашивает, выпрашивает, выпрашивает о том, что делалось, пока он болел.

Бояре тянутся на поклон к Ивану.

Царь сверлит каждого глазами. Взгляд его тяжел.

— Не дождался смерти-то моей? — ласково спрашивает он боярина Телятьева.

От такой приветливости боярин вздрагивает, как от змеиного укуса.

— Помилосердствуй, государь! Денно и ночью бога молил о тебе и о роде твоём!

— Знаю, как молил... Ладно, иди!

Верный Алексей Адашев говорит:

— Князь Владимир Андреевич к тебе, государь.

У Ивана раздуваются крылья крупного носа.

— Не пускай! Гони вон!

Среди бояр переполох. Князь Старицкий спешит к всемогущему Сильвестру. Гнусен, жуликоват сей поп, но древние роды уважает. Много добра видел и от Владимира Андреевича и от других бояр.

Сильвестр слушает князя Старицкого внимательно и с тревогой.

Позволить ввергнуть в опалу князя Владимира — начало прежним злобствованиям Ивана положить. Опять вражда вспыхнет между боярами и служилыми, опять дьяки сердце государя наветами оплетут, отодвинут и его, Сильвестра.

И лукавый поп, веря в свою власть над царем Иваном, приходит в опочивальню к нему со словами увещаний, заступает за князя Владимира Андреевича.

Темной силой веет на царя от грузной фигуры попа, умеющего говорить недомолвками и загадками, никогда не опускающего перед ним огромных, что-то знающих глаз.

Царь соглашается принять и простить князя Старицкого.

Но когда Владимир Андреевич и поп Сильвестр уходят, в груди Ивана неудержимо начинает расти раздражение.

Опять поддался чужим словам! Опять не властен все решать сам!

Царь Иван лежит в темноте, глядя на красный свет лампы, и думает, думает, думает...

С детства ненавидит он чужую волю. Венчали на царство — надеялся: вот, сам стану править. А разве сам он правит? Правят митрополит, бояре да его ближние. Стоят рядом, за каждым шагом следят, подсказывают, угрожают, требуют! А помимо бояр и митрополита, помимо дворян и дьяков, есть еще и всегда невидимая, безлика, страшная Москва. Та, что рвала в клочья дядю Юрия. Та, что на Воробьево бежала за великокняжеской головой. Та, которой он, царь боговенчанный, как раб, кланяться должен был!

Не спит, думает, думает царь Иван Васильевич, глава христиан, отец народа русского...

Выполняя данный во время болезни обет, царь Иван собрался объехать

монастыри. Всегда был он набожен и богобоязен, но за делами уже много лет не посещал дальних обитателей, не молился со старцами. Может быть, и болезнь ниспослана была за такое нерадение?

Анастасия робко сказала, что царевич Дмитрий хил.

— Помолимся за него, святой водой покроем, вот и лучше станет! — ответил царь.

Ему не хотелось заниматься никакими государственными делами, хотелось забвения, покоя.

Он торопил отъезд.

В дорогу взял с собой жену, сына, попа Андрея Протопопова, любимых князей: Андрея Курбского да Ивана Мстиславского и, конечно, Алексея Адашева.

Выехали на Димитровскую дорогу, потянулись ко Святой Троице.

Узник тверского Отроч-монастыря Максим Грек после взятия Казани был переведен благодаря хлопотам игумена Артемия и близких царю людей в монастырь Святой Троицы.

Двадцать восемь лет заключения выбелили волосы старого книжника. Семьдесят пять прожитых им лет иссушили, выдубили кожу лица и рук, согнули спину.

Но ни годы, ни тюрьмы не погасили огня в черных глазах Максима. Они по-прежнему смотрели на мир непреклонно и страстно.

И по-прежнему смел и резок был язык старика.

Он знал: годы сочтены, и на краю могилы не хотел поддаться страху, которому поддался однажды в жизни, изменив самому себе, накликав смерть на неповинных и взвалив на плечи грех, который не могли искупить одни молитвы.

Сей великий грех можно было искупить лишь борением за истину.

Но мало оставалось сил и мало осталось возможностей.

И узнав, что в монастырь едет царь Иван, Максим Грек взволновался. Он даже не вышел к вечерней трапезе. Сидя в келье, свесив меж тонких коленей высохшие, сцепленные руки, как привык за долгие годы пребывания в оковах, он оставался недвижим до поздней ночи...

В темницах у него доставало времени вспоминать о лазурном небе Албании, о карабкающихся в гору, к этой лазури, улочках родного города Арты, о бесконечной синеве Адриатики.

Даже песни родины сохранялись в памяти, и часто под завывания русских вьюг в ушах его неожиданно начинали звучать сочные, как виноград, и горячие, как солнце, голоса молоденьких девушек.

Флорентийские холмы и лагуны Венеции вставали перед его мысленным взором с такой отчаянной четкостью, что он слышал и сухой шорох лавровых листочков, и крик мулов, волокущих по рыжим дорогам высокие повозки крестьян, и окрики гондольеров над вонючей водой вечерних каналов.

В ту пору он был жаден. Наивные глаза могли не отрываясь смотреть на статуи в нишах церкви Ор Сан-Микеле, на холсты и рисунки в мастерской Верроккио, на работу мудрого Гирландайо в капелле Сассетти.

Еще тогда он знал рисунки ученика Гирландайо, сына какого-то подесты, мальчика, чье имя — Микеланджело — не раз слышал потом и за пределами Италии.

Он много и часто беседовал и спорил тогда с другим человеком, художником, математиком, скульптором, хирургом, инженером, поэтом, — с человеком, которого звали Леонардо да Винчи.

Они встречались, помнится, чаще всего у старого затворника Паоло дель Поццо Тосканелли — величайшего ученого Италии и всего мира, лучшего географа, лучшего физика, лучшего астронома и лучшего естествоиспытателя, какие только рождались на свете...

Да, Тосканелли, Карло Мармокки, Бенедетто дель Абако, Лука Пачиоло, Делла Торре...

Максим знал их. Но что дали им бесконечные занятия и поразительные открытия?

Изменили жизнь? Уничтожили войны и нищету, ложь и несправедливость? Ниспровергли власть золота?

Нет. Они вели их от одного заблуждения к другому, так же, как вели Максима.

Путь Максиму указали не они. Указа, тот, кого католические монахи проклинали и сожгли, Иероним Савонарола!

Если бы Иероним и два его верных спутника, взошедшие вместе с Савонаролой на костер, не были католиками, Максим считал бы их самыми величайшими мужами человечества!

Это Савонарола открыл глаза Максиму Греку на несправедливость мира, указал ему путь подвижничества, дал живой пример служения вере.

Ничто не страшило Савонаролу. Ни угрозы, ни проклятия. Он знал, какой удел избирает, но шел к нему, презирая пытки и огонь.

И разве один Максим Грек со слезами слушал гневные обличения доминиканца, не страшившегося на площадях Флоренции говорить всю правду о всемогущих Медичи, о купцах, о синьории, о Ватикане?

Потрясенные Иеронимовой проповедью, люди приносили к ногам его свои богатства, рыдая, обнимали друг друга, клялись в вечном братстве...

После гибели Савонаролы Максим Грек забросил ученые занятия. Не наука, а истинная вера и сила нравственного примера должны были спасти человеческий род, принести ему избавление от нищеты, бесправия, войн, от угнетения слабого сильным.

Максим Грек был умен и талантлив. Друзья, тот же Альд Мануций, знаменитый венецианский типограф, прочили ему большую будущность.

Но Максим променял мантию профессора на рясу простого монаха Ватопедского православного монастыря.

С верой в православие поехал Максим Грек и на Русь.

Это произошло тридцать пять лет назад.

Тогдашний русский митрополит прислал в монастырь просьбу отправить в Москву для перевода с греческого Толковой псалтыри знающих книжников.

Посланцы митрополита говорили, что книга эта на Руси любима и высоко почитаема — псалмы царя Давида объясняет, — но иными толкуется превратно. Так вот, чтобы не было ущерба православной церкви, дайте нам вашего прославленного старца Савву...

Дряхлый Савва поехать не смог, а вместо него игумен избрал для помощи Москве троих: монаха Неофита, болгарина Лаврентия и Максима.

Максим согласился на поездку без колебаний.

Далекая Московия, загадочная, малоизвестная, но исповедующая православие, привлекала его. Не один Максим видел в ней спасение от католицизма, покорившего и развратившего Запад. Великое будущее предстояло сей земле. Надо было помогать Руси в утверждении веры.

И Максим покинул Ватопедский монастырь на Афоне, пустился в далекий, трудный и опасный путь...

Все поражало его в новой стране: и ее бескрайние степи, и непроходимые тысячелетние леса, и сочные луга по берегам обильных рыбою рек. Герцогства Италии, взятые вместе, а на придачу к ним Франция с Испанией и Англией были меньше Руси.

Максим Грек испытывал чувство огромного счастья.

О, если эта земля глубоко поймет учение Христа, никто не устоит

перед силой ее!

Максима не смущали сначала ни бедность народа, ни спесивость боярства, ни убогие знания большей части духовенства.

Русь переживала пору младенчества.

Он с огромным подъемом душевных сил принялся за первый труд, за перевод Псалтыри. Переводил с греческого на латынь, а с латыни на русский, переводили за ним великокняжеский посол Дмитрии Герасимов и дьяк Власий. Эти люди, много ездившие по разным странам, многое знали. Максим догадывался, что Герасимов читал и латинские книги, хотя молчит об этом. С ним интересно было говорить. Герасимов первый и просвещал Максима, рассказывая про русские дела. Уже на первых порах рассказы его вселяли тревогу. Непонятна была терпимость, проявляемая великим князем в отношениях с татарскими царями. Удивляло, что, нарушая учение церкви, монахи Волоколамского монастыря добились права на владение землей, а противников своих называют еретиками...

Переводя Псалтырь, Максим Грек старательно изучал русский язык. Чаще всего помогали ему в этом монахи Святотроицкого монастыря Силуан и Михаил Медоварец — переписчики переводимой Псалтыри. С ними Максим немало откровенничал...

Через полтора года перевод был закончен. Неофит и Лаврентий уехали на Афон, а Максим Грек остался на Руси. Его не захотели отпустить. Он горевал и негодовал, но, рассудив, смирился. Дел на Руси был непочатый край. Одни богослужебные книги, написанные с ошибками, извращавшими смысл греческих подлинников, чего стоили! С этих книг Максим и начал. И сразу обрел врагов. Первыми из них стали осифляне — старцы Волоколамского монастыря. Доказал Максим, что неверно читается ими текст о владении землей. В церковных текстах отнюдь не разрешается монастырям владеть пашнями и людьми! В них речь идет лишь о плодах, по воле бога произрастающих! Осифляне, не чинясь, кричали, что Максим еретик, что посягает на книги, которыми руководились русские чудотворцы.

Он срезал корыстолюбивых волоколамцев, спокойно ответив, что не всем все удается. Пусть русские чудотворцы были наделены даром творить чудеса, ему же дан богом дар языков и сказаний, и сей дар он порочить не позволит. Готов где угодно свою правоту в чтении книг греческих доказать!

Не знающие греческого языка гонители осрамились, но не утихомирились.

Гневные письма писал Максим Грек великому князю и митрополиту, обличая безграмотное и жадное духовенство, дикие языческие нравы и

обычай народа, праздность монахов, несправедливости мирской власти и мирского суда.

Самого великого князя обличал в угнетении народа. Митрополита винил в потворстве пагубной мирской власти, в незнании писания.

Вместе с неистовым противником стяжателей-осифлян иноком Вассианом защищал крестьян, клеймил монахов-ростовщиков, нашел сербский список Кормчей книги^[2] и опроверг доводы в защиту права монастырей владеть землей.

Все это вспомнили Максиму ненавистники.

Сначала, в семь тысяч тридцать третьем году, наговорили великому князю, будто сговаривался Максим с опальными боярами Иваном Беклемишем-Берсенем и Федором Жареным погубить Василия.

Смело вышел Максим на суд. Не обинуясь, высказал все, что думал о великом князе, в глаза ему. Подтвердил, что и Берсень-Беклемишев и Федор Жареный тоже винят князя в лености, в самоуправстве, в нарушении законов священного писания.

Думал устыдить великого князя... Навлек на друзей смерть. А его самого обвинили в порче книг, в хуле на великого князя, сослали в Волоколамский монастырь под надзор его заклятых врагов...

Хотели сломить. Бедные! Он ответил еще более гневными и страстными посланиями. Друзья доставляли Максиму в заточение бумагу и чернила, приносили новости. И шесть лет, до нового суда он ратоборствовал с мучителями, пока вновь не вызвали на суд.

С горечью увидел Максим Грек, как все, даже прежние соратники, писцы Святотроицкой обители, и среди них Медоварец, в один голос обвиняли его в том, в чем никогда он не был виноват: в колдовстве, в непризнании троицы, в клевете на греческую веру, в связях с турками...

Оправдаться в том, в чем ты неповинен, невозможно. Тогда Максим и испытал впервые неодолимый страх. Тогда и стал каяться в незнании Руси, в том, что плохо следил за писцами... Зря каялся. Лишь грех на совесть взял. Ведь понимал: его решили обвинить и обвинят. Жизнь он, правда, спас. Но на долгие годы умолк, запрятанный в глухую келью. А теперь жизнь кончилась. Максим Грек чувствовал это. И на краю трудного пути хотел только одного — примирения с совестью, против которой погрешил на суде.

После молебна, трапезы, отдыха царь Иван беседовал с игуменом. К Максиму Греку он пришел на другой день поутру. С ним — царица Анастасия, мамка с хилым царевичем, князь Курбский и поп Андрей Протопопов.

Денек начинался теплый, но ветреный. По молодой траве, по стенам кельи, по широкой доске лавки, на которой сидел Максим, по одеждам ходила веселая рябь: играли тени взбудораженных листьев.

Максим внимательно всматривался в худое лицо царя, в его налитые тоской и тревогой большие черные глаза. Заметил, что царица все время беспокойно тянется к сыну. Вместо заготовленных загодя фраз невольно произнес первую, что пришла на ум:

— Что с сыном твоим?

Медленно, преодолевая боль в костях, поднялся с лавки, подошел к мамке, откинул пелену, закрывавшую личико младенца.

Когда-то сам Делла Торре, великий анатом, учил Максима тайнам медицины.

Максим осторожно опустил пелену. Анастасия с надеждой и трепетом ждала его слов.

— Ты в Белозерье собрался, царь? — спросил Максим. — Это трудный путь...

— Я дал обет поклониться, — ответил Иван. Максим покачал головой.

— Разве бог только в монастырях, государь? Бог всюду. Наипаче же во дворцах заботливых владык. С избранниками своими господь неотступно, и лучшая молитва венценосцев — их добрые дела, радующие спасителя.

— Или мои дела неуютны богу? — с затаенным гневом прервал Иван.

— Ты взял Казань и совершил подвиг, коего не мог до тебя свершить никто. Поверь, государь, что все истинные христиане в те дни плакали от радости и молились за тебя. И я плакал, не стыжусь признаться в сем. Вечная хвала тебе за победу над неверными, государь!

Максим поймал руку Ивана, поцеловал ее. Царь взволнованно переступил с ноги на ногу, теребил бороду.

— На все была божья воля...

— Истинно, государь. Прислушайся же к моим словам. Поверь мне! Не в том ныне долг твой, чтоб святыням поклоняться, а в том, чтобы торжество христианского человеколюбия утвердить! Много дел спешных у тебя, и негоже покидать оные на слуг. Вспомни хотя бы о семьях ратников твоих, павших под Казанью. Кому, как не тебе, надлежит устроить вдов и сирот, являя пример кесаревой благодарности и щедрости? Ты же о малых сих забыл! То нехорошо!

— Вернусь из монастырей — вспомню... Говоришь ты. Максим, словно моих советчиков московских наслушался.

— Говорю я свое. А добрые советы, государь, не отвергай.

— Не вижу добра в желании удержать меня от поклонения святыням!

Максим вздохнул.

— Что ж... Делай как знаешь. Только пожалей сына. Не вози его. Не выдержит дороги царевич.

Анастасия побледнела, охнула.

— А ты молись за него! — упрямо и сердито возразил Иван, стараясь не глядеть на жену. — Молись! Не допустит бог худого!

— Помолюсь, коли услышит господь молитвы мои..

Максим опустил на скамью и понурился. Слепым суеверием и упрямством царь напомнил ему великого князя Василия.

— Митрополит благословил меня на путь! — сдерживая раздражение, сказал Иван. — Или ты не веришь в силу молитв?

— Митрополит не бог... Делай как знаешь, царь.

Наступило молчание. Ребенок на руках у мамки заплакал. Анастасия бросилась к нему.

— Ступай в покои, — посоветовал Максим. А повезешь — не застуди ради бога.

Анастасия оглянулась на царя.

— Ступай, — разрешил Иван.

Они остались вчетвером: Максим, царь, Курбский, поп Андрей.

— Денно и ночью возношу молитвы о здоровье царевича, — сказал поп.

Максим равнодушно кивнул.

— Ты немного сказал о Казани, — промолвил Иван. — Только укорил нас.

— Свершили великое, сам знаешь, — ответил Максим. — Чего же я повторять это стану? Без меня льстецы найдутся лукавые.

— Пришел я о делах божественных говорить, сказал Иван. — Советоваться с тобой.

— Говори, слушаю, коли так.

— Не ты ли обличал невежество наше? — спросил Иван. — И не я ли, слушая отцов церкви, вопрошал собор, как быть, дабы просветить души и учинить порядок?

— Собор постановил мудрое.

— А ныне другая забота. Книг не хватает, Максим. А те, что пишутся, худы.

— Знаю.

— Беседовал с митрополитом я. Сказывал мне владыка Макарий многое о книгах печатных... Дескать, и у него люди есть, что могли бы печать наладить. Немцы-то мастеров не дают... Что мыслишь ты? Угодное ли богу совершу, повелев печатать книги?

Максим ожил, поднял голову.

— Великое совершишь! Слава Казани перед сим померкнет, царь!.. Чем может печатание книг противным учению быть? Латиняне оттого свои проклятые ереси и множат успешно, что книг в изобилии имеют. Бог же указывает путь, как их посрамить. Лучше и больше, чем католики и протестанты, книг иметь!

— Мои слова, государь, — улыбаясь, сказал Курбский.

— А не плохо то, что с латинян образец берем?

Максим потряс головой.

— Оружием врага господня сего врага поражать — хорошо! Не веру же перенимаем, а едино отнимем то, что истинной вере принадлежать должно, государь!

— Стало быть, зачтутся мне печатные книги перед спасителем, Максим? Во искупление грехов моих послужат?

— Послужат, государь!.. Порадовал ты меня!.. Дай благословлю!

Он разволновался, утер неволью набежавшую в уголок дряблого века старческую слезу.

— Тебе надо просвещать агарян, царь! Крестить их! И Запад перед тобой. Многомудрые, хитрословные, искушенные в ересь враги греческой веры. Книга же — лучший проповедник веры. Затмим еретиков своей печатью, умножим книги неисчислимо — это верней полков и мечей!.. А откуда у митрополита люди?

— Наши же писцы.

— Знают ли печать?

— Будут искать превзойти латинян.

— Пришли их ко мне, государь!

— Разве ты ведаешь сие дело?

— В молодости я знал многих печатников, государь. Видел их станки, видел их буквы. Расскажу, что знаю.

Царь обратился к Курбскому.

— Наладил бы ты, князь, гонца в Москву. Пусть митрополит пришлет своих людишек.

— Нынче же пошлю! — поклонился Курбский. — А сложны ли станки, Максим?

— Не больно и сложны. Буквы — шрифт — самое трудное. Лить их надо.

— Справятся ли наши? Буковка не мортира...

— Трудов не пожалеют — справятся, князь.

У Ивана дернулись уголки широкого рта.

— Не потрудятся — под Фроловой башней научим прилежанию.

Максим отрицательно покачал головой.

— Из-под кнута такое не творят, царь. Тут нужен не страх, а взлет души и горение ее. Не омрачай славных начал кровью. Найдутся люди и так за божье дело поревновать.

— Дай бог! — сказал Иван. — Но коли нерадивы будут, не пощажу...

Максим Грек промолчал.

Курбский стал спрашивать о фряжских и немецких печатниках, о приемах работы, о том, сколько книг выходит с одной формы. Максим сначала отвечал нехотя, потом увлекся, забыл жесткий тон царя и долго говорил, чертя на песке палочкой рисунки станков, пунсонов и матриц.

— Ну, ты все митрополитовым людям расскажешь, — поднявшись с лавки, сказал, наконец, царь. — Вижу, сам мастер ты... Прощай, Максим. Благослови меня.

Максим спохватился, что так и не высказал Ивану дум об осифлянах, о небрежении им долгом государя, о многих забытых собором неустройствах, но подумал, что не след об этом говорить сейчас: можно лишь испортить всю беседу о книгах, оттолкнуть царя от печати, и лишь вздохнул.

На другой день царский поезд потянулся к Димитрову, к Песноше. Неизвестно осталось даже, послал ли Курбский гонца в Москву.

Выждав седмицу, Максим Грек заговорил с игуменом о том, что надо бы вызнать, кто в Москве думает наладить печатню.

Написали письмо митрополиту. Сообщили, что Максим Грек может помочь печатникам, если в том есть нужда. Наладили с письмом монаха Мисаила.

Мисаил сложил котомку и побрел.

ГЛАВА IX



Марфа плакала, поваясь головой на стол.

Иван Федоров угрюмо спросил:

— Станешь сказывать, кто обидел, ай нет?

Марфа катала голову по столу, не признавалась.

— Бабы или опять поп?

Марфа проголосила:

— Не дал мне причастия-я-я!.. Гулящей при всем народе обозвал!.. А тебя чернокнижником!

— А, сатана!

Иван рванулся с лавки. Марфа, забыв плакать, испуганно ухватила за рукав кафтана.

— Не ходи! Пожалей!

Он высвободился, заметался по избе. Пальцы сжимались в кулаки. В висках kloкотала пьяная от гнева кровь. Марфа снова зарыдала. Он не выдержал, гаркнул: «Замолчи!» Схватил шапку, грохнул дверью, зашагал куда глаза глядят.

Уже давно жизнь его стала адом.

Ванюшку дразнили и колотили большие соседские ребяташки. Окрестные бабы, те самые, что когда-то Марфу жалели, плюют в ее сторону, обзывают нехорошими словами. На него самого косятся... За то, что не в законе он с Марфой? Так он ли один не в законе живет? И кому ведомо, что живет он с нею? Или за то, что с Акиндином и прочем пьяной братней писцовой не хороводится? За то, что с Гаспаром Эверфельдом немецкий язык учит? Что на Литейном дворе знакомство с пушкарями свел,

руки сжег и стравил, над булатными буквами трудясь?

Иван Федоров шел и шел. Ноги сами несли к Водяным воротам, прочь из города, от людей.

Люди!

Чем платили они за Иванову жажду творить для их добро?

Митрополит последнее время остыл к печати.

Поп Григорий подлости творит. Это не иначе как он с Акиндином слухи пускают, будто Иван латинскую веру познает и хочет латинскими книгами православных смущать.

Дураки! А как же латинские книги не собирать да не рассматривать! У кого же печати учиться? У одного Макария-черногорца? Слов нет, искусен он, да и немцы не лыком шиты...

А недавно к Ивану Висковатому приказ позвали. Со стрельцами водили, как вора. Стыд! Говорят, умный он, дьяк Висковатый, Сам языки знает, книжник. А тут пристал: пошто с немцами и фряжскими гостями водишься? Верно ли, что язык вызнать хотел немецкий?

Врать пришлось. Сказал, что с митрополитова ведома сие творил. Ради искусства книжного.

Отпустили. Но Висковатый пригрозил:

— Смотри у меня! Сведуя, и если лгал, на дыбе завертишься!

Вот тебе и умный дьяк! И государю близкий!

Эх! Даже Маруша Нефедьев, на что участлив, и тот охладел. Все советует:

— Брось печать! Велят если, сотворим. И я не отстану. А самому наперед лезть не гораздо!..

Ни одной души близкой.

Тоска.

Или впрямь внять Марфиным мольбам, махнуть на все рукой да уехать куда-нибудь, где никто не знает тебя? Венец с ней принять. В попы деревенские поставиться. Жить, как люди живут... Вон уж сын подрос. О нем тоже подумать надо.

Уехать... Все бросить...

Четвертый день, прихворнув, он не выходил из дому. Иногда поднимался с постели, прибредал к столу, где была сложена бумага, ножи и резцы, перебирал их, но за дело не брался. Попробовал однажды резать

доску — пальцы не слушались. Голова заболела.

Лежа, слушал Марфины уговоры.

— Хочешь — к тебе в Новгород воротимся. Чай, помнят там. Избу поставим. Писать будешь... А хочешь — и в Казань поеду, Ваня. Сам же ты сказывал — звали туда, к Гурию, писцом. Не обидят, поди... А как ладно заживем-то! Уж я из сил выбьюсь, а обихожу тебя с сынком! Обихожу, Ваня!

Иван тоскливо молчал, рассматривая знакомые узоры потолочных досок.

— Будешь ты жить тихо, в почете, в достатке... И я успокоюсь, Ваня. Ведь извелась! Извелась! На улицу выйти не могу! Пожалей!

— Будет... — тихо просил Иван. — Знаю... Дай оздороветь...

В сенях зашаркали. Охнула в передней избе Марфа.

Иван Федоров привстал.

В горницу, улыбаясь, влезал рыжий Маврикий.

— А я тебе радость принес.

— Давно я от тебя радостного не слышал... Говори. Подивлюсь.

— Да разве я чем тебя огорчал?.. Что ты! А радость такая: митрополит зовет.

— Чтой-то вспомнил обо мне владыка?

Маврикий укоризненно потряс бородой.

— Не гордись, не гордись, Иване!.. Не звали: других дел хватало. А теперь твоему черед пришел. От государя гонец был, и от игумена Артемия чернец прислан. Надо тебе да Маруше Нефедьеву ко Святой Троице собираться.

— Это зачем?

— Пойдете к Максиму Греку... Повелел государь печатню на Москве устроить. Так Максим расскажет, как творить сие.

Иван Федоров не помнил, как слез с постели.

— Государь?.. Печатню?..

— Двор печатный велено строить. А вам вызнать у Максима фряжское мастерство.

— Маврикий! Самую великую радость ты принес! Самую великую! А ведь я и литеры начал лить... С пушкарями... Господи! Наконец!

После ухода Маврикия он бросился к Марфе.

— Слышала?! Слышала?!

Марфа глядела на него погасшим взором.

— Да ты не рада, что ль?!

Не ответила.

— Ничего не понимаешь! Ничего! Эх!

Он оделся, через силу побрел к Маруше, от Маруши — к Твердохлебовым, на другой день схватился в пушкарскую слободу к новым знакомцам Петру и Захару, с которыми пытался отливать первые буквы.

Ликовал. Забыл о всех невзгодах. И вскоре с Марушей на митрополитовых конях поехал в монастырь Святой Троицы.

— Приглядывай за Ванюшкой! — сказал он, наспех прощаясь с Марфой. — Скоро ворочусь.

— Для начала сделайте пунсоны. Булатные буквы. Ими пробьете формы для литер — матрицы. Ясно ли?

— Так, так, ясно! — улыбался Иван Федоров. — Это я уже зачал делать.

Максим Грек посмотрел на присланного из Москвы русого писца.

— Сам?

— Я, слышь, вызнал от иноземцев, что перво из булата буквы делают, ну, с нашими литцами потолковал, попробовали...

— Вышло?

— Не больно хорошо, но вышло. Вот скажи, из чего по матрицам буквы лить?

— Попробуй свинец или олово.

Максиму все больше нравился живой писец Иван. Приехавший с ним второй писец, Маруша, был внимателен, но делом не горел. Не ему суждено было, видно, печатные книги вводить.

— Ты нигде не бывал, кроме Руси? — спросил Максим Ивана Федорова.

— Нет. Не довелось.

— И никогда не видел, как печатаются книги?

— Нет, не видел.

— Жаль. Тебе было бы легче...

Максим вздохнул и стал объяснять устройство печатного станка. Он говорил про верхнюю, давящую доску — пиан, про четырехугольную раму

для бумажных листов — тимпан, про бруски марзаны, вкладываемые в наборные формы там, где следует оставить пропуски и поля, про составы типографских красок и про то, как набивать краску на литеры.

— Дивная память у тебя! — восхищенно сказал Иван Федоров. — Нам так не упомнить сразу. Дай запишем!

Он заставил Максима повторить объяснения, записал каждое слово, попросил нарисовать вид станка и его частей.

— Сыщите людей добрых и многих, — посоветовал Максим, отдавая чертеж. — Печатайте на нескольких станках сразу. А работайте так. Один должен у рычага стоять, другой литеры краской смазывать и листы подкладывать. Листы не складывайте. Наперед сушите. Иначе краску смажете. Хорошо бы на теплом воздухе их провевать...

— Сделаем!

Максим кивнул. Спросил, знают ли писцы языки. Огорчился, что не знают.

— Латынь и особливо греческий вам надо выучить! — настаивал он. — Книжки-то переводятся с греческого. Не худо и сверять, ошибки в переводе не вкрались бы!

— Митрополит и другие ученые мужи помогут! — сказал Маруша.

— На других нечего надеяться! Сами учитесь! Ваше дело сие!

Иван, потупясь, разгладил на колене кафтан.

— Не больно жалуют у нас ученье... Я вот учился, да к дьяку Висковатому сволокли. Велели бросить.

— Доведу митрополиту и царю! Не может печатник греческого не знать! Не может!

Иван и Маруша провели в Святотроицком монастыре три дня. Напоследок поклонились мощам преподобного Сергия Радонежского и, условясь с Максимом Греком, что дадут знать, как примет их новости митрополит, поехали к себе в Москву.

Оставив коней и телегу в Конюшках, пешими добрались до города. У Марушиной избы расстались. Но не отошел Иван Федоров и десятка шагов, услышал Марушин голос:

— Подойди!.. Твой Ванька у нас... Ушла Марфа-то...

— Куда ушла?

Маруша медлил.

— Наво все ушла, — наконец молвил он. — Наказала Ольге, чтоб не искали. С богомолками, слышь, собралась... В монастырь.

В этот самый час Максим Грек, стоя на коленях в Троицком соборе перед дивной иконой Андрея Рублева, молился богу, чтоб даровал он успехов русским печатникам, чтоб сделал жизнь их легкой и радостной, не такой, как была жизнь его друга венецианского типографа Альда Мануция, вечно мыкавшегося в нужде и печалях.

Мирно теплились свечи, и лики на иконе были исполнены светлой грусти.

ЧАСТЬ II

ГЛАВА I



Чуть брезжит утро. Заря еще не вызолотила крест на колокольне Иоанна Лествичника. Троицкая площадь пуста. Не видать каменщиков на лесах Покровского собора, заложенного в честь взятия Казани. Стрельцы у Фроловских ворот ежатся, позевывают. Увидев бредущую через площадь одинокую фигуру, оживают:

— Идет, робята! Скоро смена!

Иван Федоров здоровается со стрельцами, проходит ворота.

Воротник на митрополичьем дворе, разбуженный настойчивым стуком, ворча, отпирает калитку.

Иван идет к сооруженной в углу двора избе, снимает замок, проходит сени, входит в избу.

Посреди избы — печатный станок. Слева на длинном столе — наборные доски. Справа, на широких лавках — стопы чистой бумаги, полки для готовых книг, а над лавками и полками — веревки с подвешенными для просушки листами.

Тесно, не повернуться. Государь повелел штанбу на множество станков ладить, а денег до сих пор не дает. Слава богу, что два шрифта все же отлили да тут, под боком у митрополита, притулиться удалось. Все-таки печатня!

Он снимает кафтан, ополоснув руки, берет высохшие листы, складывает по порядку. Осматривает формы. Выковыривает сбившиеся буквы, заменяет новыми.

Собираются понемногу другие печатники: широкогрудый

чернобородый Никифор Тарасов, человек с мягким южным говором, искусный резец, сманенный из киевской митрополии; Андроник Тимофеев, молчаливый и сутулый московский доброписец, прикипевший душой к новшеству и самый ловкий наборщик; давний знакомый дьякон Карп от Благовещенья; новичок Васюк Никифоров, привезенный Марушей Нефедьевым из Новгорода...

Каждый из них особенно искусен в чем-либо одном, но каждый умеет и книгу выверить, и пунсоны отлить, и краску наложить, и заставку вырезать.

Позже всех появляется Маруша Нефедьев. По-прежнему быстроглаз, но раздался вширь, осел к земле, заматерел.

Волей государя поставлен Маруша старшим над печатными мастерами и теперь пуще прежнего всего сторожится. Каждый лист вычитывает по нескольку раз. Это отнимает у Маруши все время. Видно, тягостны ему новые обязанности, тоскует по прежней свободной жизни.

Нет-нет, да пожалуется, что глаза слабеют, часто сказывается хворым и отлеживается дома.

Вместо Маруши приходится вычитывать листы, ходить к митрополиту, к Алексею Адашеву и попу Сильвестру, сверяющим книги перед набором, Ивану Федорову.

К этому привыкли и не удивляются.

Все в сборе. Один встает к рычагу верхней доски. Другой берет мацу — шерстяной, на длинной ручке мешочек, обмакивает ее в краску, набивает краску на укрепленную в нижней доске форму. Третий накладывает на форму чистый лист. Нажим рычага, поворот винта, обратный поворот, опять нажим рычага — с форм снимается отпечатанная страница. И снова маца, лист, нажим, страница. Маца, лист, нажим, страница...

Самое сложное — печатать в две краски. Маруша — тот просто велит все печатать черным, а потом раскрашивать буквицы от руки. Иван же Федоров норовит печатать в два прогона. Для этого набор покрывают вощаной бумагой с «окошечками» для буквиц и, отпечатав буквицы киноварью, снимают вощанку, печатают остальной текст. Иногда помощники бывают неаккуратны и смазывают листы. Федоров сердится. Хоть выкинь такую пачкотню! Но бумага дорога. Своих бумажных фабрик нет. Каждую стопу привозят издалека: из Германии, из франкских и фряжских земель. Бумагу приходится беречь пуще ока. Поэтому и Иван Федоров скрепя сердце мирится с наплывшими друг на друга красками. По той же причине бумажной дороговизны терпят и неровные «берега» — свободные пространства по краям листов. Набирают строку, как вместится,

абы не под самый обрез, и строки выходят неровной длины. Некрасиво, да велят так...

Была бы своя бумага, скольких попреков избежали бы! Дал бы государь денег, разве такой шрифт вырезали бы?!

Да если бы еще несколько станков!

Ничего нет. Ни новых станков, ни денег. А иной раз и чужеземная бумага кончается. Остается ждать, пока подвезут новую. Тогда изба на дворе митрополита подолгу под замком. Тогда стрельцы не отмечают время по приходу Ивана Федорова. Тогда печатники сидят по избам. Иные по старой привычке пишут на продажу книги. Маруша бражничает. А Иван Федоров томится. И чтобы не так тяжело влачилось время, режет новый шрифт для будущих книг, сверяет рукописные тексты, правит...

Он верит: будут на Руси и свои бумажные мельницы, и хорошая штанба, и книги лучше иноземных.

А пока, если есть бумага, каждый день в любую погоду бредет из своего Зарядья к Фроловским воротам.

— Скоро сменка, робяты!..

— Ишь, опять приволокся ни свет ни заря!..

— Начнем, помолясь!

И глухо шлепает маца, шуршат листы, стучит пресс.

Обложенные досками, обтянутые кожей, собираются в избе печатные книги.

Их берут к митрополиту.

А от митрополита развозят по всей Руси.

Псалтырь. Евангелие. Букварь...

Самые нужные богослужебные книги, которых так не хватает.

Книги, по которым визнают грамоту русоголовые русские ребятишки.

Книги, которыми начинается новая жизнь народа.

За выверенными, сличенными с греческими подлинниками текстами будущих книг чаще всего Иван Федоров ходит к попу Сильвестру, к думному дьяку Ивану Михайловичу Висковатому и к царскому любимцу Алексею Адашеву.

Поп Сильвестр по-прежнему живет в государевом дворце, по-прежнему сидит в царевой думе, подает советы. К нему по-прежнему наведываются узнать, в духе ли, царь Иван Васильевич, не обождать ли с

прошением или жалобой. Но со времени болезни царя, со времени заступничества Сильвестра за князя Владимира Андреевича Старицкого поп потерял любовь и доверие царицы Анастасии.

Ходит слух, что царица и ее родня всячески настраивают Ивана Васильевича против Сильвестра. И царь, видимо, слушает наветы внимательно.

Он не забыл поездки по монастырям и свидания в Песношской обители со старцем Вассианом. Старец рек царю:

— Если хочешь самодержцем быти, не держи советника ни единого мудрейшего себя: понеже сам лучши всех; тако будешь тверд на царстве и всех иметь будешь в руках своих. Если же будешь иметь мудрейших около себя, по нужде будешь послушен им!

Передают, после этих слов Вассиана царь обнял его и прослезился. Сказал будто бы:

— Лучшего совета мне не дал бы и отец!

Так было или не так, а одно всем ведомо: с каждым годом все упрямей и строптивей становится царь. Раздражается, если противоречат. Все норовит вершить сам. О мире с боярами твердит, а старые обычаи рушит, местничества знать не хочет, опять людишек не по родам, а по их заслугам перед ним возвеличивает.

Вон их сколь же появилось, этих новых дворян-то: и Грязные, и Малюта Скуратов, и Кушниковы, и Постники, числа несть!

Кто верх возьмет? Неведомо. Но кто-то возьмет.

То-то Сильвестр всегда настороже. Выпытывает, какие слухи по Москве ходят.

Ивану Федорову тошно быть доносчиком. Пожимает плечами.

Сильвестр глядит из-под седых бровей подозрительно.

Недоволен.

Еще горше видеться с Иваном Висковатым. Помнятся допросы думного дьяка о латинских книгах, его угрозы. Со времени же суда над Башкиным, к коему и дьяка припутали, Висковатый вовсе озлобился.

Знал Иван Федоров Башкина. Книги ему продавал. Никогда, бывало, Башкин так не уйдет, а примется рассуждать о писании, на споры вызывает. Эх, довызывался, бедняга!

Явился в великий пост к священнику Благовещенского собора Симеону и давай вопросы задавать. Равен ли Христос богу-отцу? Есть ли хлеб и вино кровь и плоть господня? Имеет ли силу покаяние?

Симеон стал образумливать Башкина, а тот ни в какую!

— Ты-де потому не отвечаешь, что сам не знаешь! Ты ложь творишь!

Приволок из дому Беседы Евангельские, зачал противоречия в них выискивать и требовать у Симеона:

— Объясни! А если не можешь, значит эти книги не истинны и верить им нельзя!

Матвея Башкина без долгих разговоров взяли под стражу в подвал царева дворца, посадили на цепь.

Вызнали: собирал у себя на дому таких же искателей, умствовал о существе сына божия, отрицал святую соборную и апостольскую церковь, говоря, что вещественное в вере ничего не значит, что бог в душе, а не в иконах, что жития святых — сказки; вдобавок всем дворовым волю дал...

Пока визнавали у Башкина его ересь добром, он упорствовал.

— Покаяние ваше бессмысленно есть! — заявил. — Надо не каяться в грехах, а не совершать их! Вы же рабов имеете в государстве христианском! Объясните мне: совместимо ли сие с писанием? Токмо на постановления соборов ваших не ссылайтесь! Эти постановления гнусными попами к их выгоде писаны!

Видя таковое упорство еретика, пригрозили ему дыбой и клещами. Тогда лишь и прозрел. Покаялся и всех сообщников выдал. Да со страху, поди, и лишнего наплел. Игумена святотроицкого Артемия назвал. Игумен, мол, пока в Нилову пустынь не удалился, беседовал с ним и о книгах лютеранских любопытствовал. Да вот и думным дьяк Висковатый на беседах бывал...

Башкина, Артемия и Ивана Висковатова судили на соборе митрополит и царь.

Призывали на суд и Ивана Федорова, чтобы показал, что знает об еретиках.

Вызов встревожил Ивана Федорова. Он не одобрял Башкина, но сочувствовал ему: по недомыслию ведь страдает. Артемия же просто жалел. Понимал, не из-за лютеранских книг игумена преследуют. Восстал Артемий против осифлян-стяжателей, которые церковь в вотчину свою, землями и рабами владеющую, превратить хотят.

Ах, Артемий! Максим Грек за схватку с осифлянами пострадал, теперь ты... Горе! Мудрейшие и чистейшие сердцем из-за корыстолюбия осифлянского муки терпеть должны.

Накануне суда, вечером, в дверь постучали. Федоров отпер: Мисаил! Тот самый монах, что когда-то приходил звать к Святой Троице, к Максиму Греку. Мисаил попросился ночевать. А когда Федоров отослал сына, сказал:

— От Артемия я. Наказал он тебе молчать на соборе о беседах ваших. Не хочет, чтоб и тебя в узилище ввергли. Ты один остаешься, кто святые

книги до народа довести может... Молчи! Слышь.

И Иван Федоров сказал на суде, что о башкинских сборищах не ведал, что с игуменом Артемием о латинских книгах толковал, но затем лишь, чтобы искусство печатное вызнать.

Было горько смотреть на Артемия. Камень на сердце лег.

Башкина заточили в Волоколамский монастырь, Артемия сослали в Соловки, думного же дьяка Висковатого, по заступничеству царя, митрополит только выбранил.

Легко отделался Иван Висковатый, но суда не забыл.

Уже довелось убедиться: каждую печатную строку Иван Висковатый сравнивает с рукописными, и сыскал, что Федоров насвоевольничал в первом, пробном Евангелии.

Висковатый прав. Но что делать? Федоров давно доводил митрополиту: в рукописных книгах слова пишутся мертво, не так, как ныне говорят, и советовался с Макарием, не пора ли те мертвые слова заменить живыми.

К чему, скажем, по сей день в 21-й главе Евангелия от Матфея пишут: «Никому же поведите видения», когда по-русски проще и понятней сказать «Никому же не поведайте видения»?

Или: зачем, к примеру, всюду писать: «прием пять хлебы», «прием седьм хлебы», если лучше и правильней «прием пяти», «прием седми...»?

И в других подобных случаях не лучше ли везде писать так, как говорится, чтобы всякий человек мог понять написанное, не ломая головы?

Митрополит Макарий, по своему обычаю, ответил, конечно, что требуется о сем рассудить, но Федоров ждать не стал.

Дело ясное. Святое писание для всех, а не для избранных. Стало быть, и печатать его надобно так, чтобы смысл понимали.

Вот это Висковатого и взбесило. Поучение митрополита Даниила вспомнил: грех-де простому люду чести Апостол и Евангелие! Жалобу написал. Меня, мол, на соборе судили, а судить-то печатника следовало!

Макарий хода жалобе не дал, но бранил Федорова много, припомнив все: и знакомство с Башкиным и близость к Артемию.

Одно выручило: сослался Федоров на Максима Грека и на указания Алексея Адашева.

Их, мол, волю выполнял.

Митрополит сделал вид, что поверил, и отпустил. Но теперь все новые тексты Макарий стал сам просматривать, и где заметит живое слово, заменяет прежним, древним.

Хорошо еще, что дел много у митрополита: не все успеваешь углядеть.

Да, слаб Макарий. Пошатнулось у Федорова уважение к нему.

Всех приятней Алексей Адашев. Нравится он Ивану Федорову простотой своей, приветливостью, многими знаниями и тонким умом.

Всегда Адашев в государевых заботах, в делах, а за чинами не рвется, не кичится ничем.

Одно то, что лишь недавно государь ему, самому верному слуге, звание окольникыего пожаловал, что Адашев в бояре не лезет, дорого.

Не из корысти трудится. Из убеждений. Правду царю говорит прямо. Но если царь не по его, не по-адашевски решит, творит волю государя, как свою, не за страх, а за совесть.

Ивану Федорову известно: среди близких людей царя идет спор, на кого идти войною — на крымчаков и Польшу, чтоб завладеть украинскими землями, или на Ливонию; Черное море воевать или Свейское?

Сильвестр, Адашев и многие бояре стояли за то, чтобы идти на Крым. В Крымской орде была распря. Великий мор побил татар. Пало много коней. Прибывшие от днепровских казаков послы просили о рати. Все говорило о возможности легкой победы.

Но царь колебался. Правда, отряды дьяка Ржевского легко разбили татар, разорили Ислем-Кермень и Очаков, правда, враг Девлет-Гирея прибежал в Москву, правда, князь Дмитрий Вишневецкий с казаками отбили Девлет-Гирея от Хортицы, завладели Черкассами и Каневом и вновь просили о помощи, однако Иван Васильевич решительных действий побаивался.

Вишневецкого он принял, подарил ему Белев, но Черкассы и Канев велел отдать, чтоб не навлечь гнева польского короля Сигизмунда-Августа, и на помощь днепровцам послал всего пять тысяч человек.

Эти пять тысяч под командой Данилы Адашева, брата Алексея, спустились по Пселу, вышли в море, разорили западный берег Крыма, но, не получая поддержки, вернулись...

Царя тянет Свейское море. Тянет надежда быстрой победы над немецкими рыцарями. Видимо, быть войне с Ливонией.

И хотя Адашев предвидит трудности борьбы, хотя он сомневается, что шведы, литовцы и поляки согласятся спокойно взирать, как Русь выходит в Свейское море, он послушно пугает и путает всех приезжающих в Москву ливонских послов.

Кто, как не Алексей Адашев, запутал и обвел вокруг пальца послов великого ливонского гермейстера и дерптского епископа?

Их было четверо, этих немцев, еще по дороге в Москву обеспокоенных видом новых ямских дворов, понастроенных через каждые

десять верст по дороге к Ругодиву, и бесконечными обозами со свинцом, порохом и орудиями.

Послы везли предложение продлить мир между государствами еще на пятьдесят лет.

Адашев не стал возражать, но, к изумлению ливонцев, потребовал, чтобы они в этом случае выплатили Москве дань.

Первым пришел в себя тощий Иоганн Брокгорст. Вежливо улыбаясь, он заметил, что Ливония никогда не покорялась русскими, что в прошлом страна заключала с Москвой мир и, следовательно, была независима, так что он, Брокгорст, вероятно, просто ослышался.

Адашев вздохнул.

— Зачем «ослышался»? Ты правильно слышишь... Да разве у вас, ливонцев, нет нашего договора с гермейстером Плеттенбергом?

У послов старинного договора с собой не было.

— Ну, ин мы вам свои покажем...

В русском договоре послы в полной растерянности прочли, что пятьдесят лет назад гермейстер Плеттенберг якобы соглашался выплачивать Руси дань.

— Этого не может быть! — воскликнул Вальтер Врангель, наливаясь кровью. — В наших документах подобных строк нет!

— Выходит, мы жулики? — холодно прищурился Адашев. — Ладно, оставлю сие... Но посмотрите, как вы чудно рассуждаете! Ровно вовсе не знаете, что предки ваши приплыли из-за моря, заняли Ливонию, исконную вотчину великих князей, силой и только по миролюбию прародители нашего государя их не тронули, разрешили там жить, но с условием, чтобы вы платили дань.

И жестко, коротко закончил:

— Не хотите войны, платите по гривне в год с каждого человека в Ливонии. И уплатите за все прошлые сто лет.

Взволнованные послы напрасно требовали, чтобы им показали акты или бумаги, подтверждающие, что в старину дань платилась.

— Такие бумаги есть, — сказал Адашев, — да что толку вам их показывать, когда вы даже договор с Плеттенбергом за истинный не признали! Опять скажете, что мы жулики... Жду ответа: будете платить дань?

Брокгорст заикнулся о том, чтобы отсрочить решение. Его поддержал Дидрих Кафер.

— У нас нет полномочий, господа!

Через несколько дней Адашев сделал вид, что уговорил царя пойти на

уступки.

— Сделаем так, — предложил он послам, обрадованным уже одной надежде как-то оттянуть воину, которой ливонцы боялись, — сделаем так. Мы напишем грамоту о перемирии, указав в ней, что вы будете платить дань по гривне в год с человека... Обождите!.. Я не все сказал!.. Вы приложите к грамоте свои печати. Если гермейстер и епископ Дерпта согласятся на такие условия перемирия, пусть они отрежут ваши печати и привесят свои.

Послы подумали и согласились.

Теперь грамота с их печатями хранится в приказе Адашева. И так как ливонцы дани не платят, по-прежнему сносятся с польским королем и литовцами, не отказались от пошлин с русских купцов, что оговорено в грамоте как условие перемирия, то в руках царя имеется грозное оружие против ордена.

— Не приведи бог начать эту войну! — сказал как-то Адашев при Иване Федорове. — Не дай бог! Ливонцев разобьем. Но вмешаются шведы, Польша, и Литва. И тогда быть худу... Не станет мира и в русской земле...

Ох, боится, боится Адашев нестроения народного! Не оттого ли и ругает за печатные книги, всем попятные, учащие смирению?

У Адашева много книг. Есть и греческие. Он разрешает Ивану Федорову брать их. Знает — тот не испортит.

Федоров с трудом, но разбирает по-гречески. Спасибо Максиму Греку, наставил в азах. Жаль, в прошлое лето преставился мудрый старец мученик, так обрадовавшимся первой печатной Псалтыри... А уж если жалеть, то и Афанасия Твердохлебова пожалеть надо. Тоже скончался недавно. Всегда был к Ивану Федорову добр. В горе выручал.

Люди умирают, стареют, а вот Акиндину-писцу время, кажется, ничем. Обопьется, отстонет свое и опять шныряет по Москве, вертит сизым, длинным, как у кулика, носом. Да и поп Григорий с попадьей Варварой живы-здоровы...

Пусть их. Жалкие!

Ивану Федорову не до них. Вот опять не подвезли бумаги. Опять печатная изба стоит на запоре. Денег не дают на шрифт. Свинца не дают. Федоровских литцов опять на пушки забрали.

И даже Алексей Адашев в последнее время отмахивается от просьб.

— Ох, погоди... До книг ли?..

Как-то днем постучали под окном. Иван Федоров отворил дверь. На крыльце стоял медвежеватога вида человек в шубе, опоясанный саблей.

— Ан не признал? — спросил человек.

— Ларион?! Ты ль?!

Сидели в избе, угощались тем, что нашлось. Сын Ивана Федорова глядел в рот Ларьке, рассказывающему, как ходил он с князем Курбским, с воеводами Шереметевым и Микулинским за Уржум и Мешь, за леса, до самых башкир, а оттуда, вверх по Каме, в самую Сибирь.

— Мы их тыщ сто побили, татар этих, — говорил Ларька, прожевывая снедь. — Самых славных кровопивцев христианских посекли. И Янчуру Измаильянина, и Алеку Черемисина, и других прочих князем ихних. Под корень резали, где бунтовали... Не хотят нашу веру принимать! Ну, конечно, им обидно, что мы их землю взяли... А ведь я, слышь, Иване, не чаял тебя в этой избе сыскать!

— Что так?

— Дак и у нас в рати известно про твои книги печатные. Ну, думаю я, в чести ты ныне. Обогател. В хоромах живешь.

— Где там!.. А ты-то как?

— Я при князе Курбском. Землю от него получил. В стремянных хожу.

— Щедр князь?

— И щедр и смел, а мне любы такие... Не слыхал, куды поход готовят?

— На крымчаков или на ливонцев.

— М-да... На ливонцев бы! Бабы там, говорят, самые развеселые! И богатств много у купцов!

— Война-то ненужна бы, Ларион... Горе одно.

— Эва! Мы не начнем — на нас полезут. А у нас сейчас сила. Знаешь, сколько пушек да пищалей в войске? Всех расшибем!

Иван Федоров не стал спорить. Остерегся.

Ларион кивнул в сторону Ванятки:

— На мать похож... Эй, молодец! Кем мыслишь быть, как вырастешь? Айда ко мне в ратники!.. Или по батькиным стопам отправишься?

Ванятка зарозовел, смешался.

— Отлынивает он у меня от грамоты-то, — пожаловался Иван Федоров. — Ленив.

— Ништо! — сказал Ларька. — Ты не обижайся только, Иване! Уважаю я тебя и люблю — эвон сколько книг у тебя мудрых, не всякий прочтет! — да позволь правду молвить: может, без грамоты-то легче человеку прожить! Ей-богу!

— Верно, легче, — согласился с грустной усмешкой Иван Федоров. —

Не думая всегда легче жить. Не знаешь заветов христовых, стало быть, и печали нет, что никто не блюдет оные.

— Правильно! — не смутясь, подтвердил Ларька. — А почнешь кого корить заветами, так и на цепь могут посадить... Так? Нет?

— Так, так, — кивнул Федоров.

Проводив Ларьку, он долго сидел, опустив голову на руки.

ГЛАВА II



В марте семь тысяч шестьдесят шестого года и Москву прибыло новое ливонское посольство.

Рыцарь Гергард Флемминг с любопытством и тревогой выглядывал из оконца санного возка.

Зима была затяжной. Снег еще не сошел. Столица восточного варвара Ивана, бревенчатая, заваленная сугробами, только-только просыпалась. И в холодном утреннем воздухе, в безлюдии и тишине высокие стены Кремля, его мощные башни казались особенно грозными и недобрыми.

— Да смилуется над нами бог! — внятно сказал над ухом Флемминга Генрих Винтер.

Третий из послов, Валентин Мельхиор, сидел, не шевелясь и плотно сжав сухие длинные губы.

Поручение, данное им, было неблагоприятным и тяжелым. Все сроки выплаты дани истекли. Но — увы — платить никто не хотел. Выплата вообще означала бы полное разорение страны. И послам надлежало просить, чтобы царь хотя бы уменьшил размер дани. Снизил ее с гривны до деньги.

Провожая послов, гермейстер Фирстенберг требовал:

— Торгуйтесь! Оттяните время! Командор Кетлер уже заключил в Вильне союз с королем Сигизмундом-Августом. Если нам удастся нанять войска, мы выстоим. Но оттяните время!

Гергард Флемминг не сомневался, что им удастся уговорить московских бояр пойти на уступки.

Валентин Мельхиор был настроен безрадостно и оптимизма

Флемминга не разделял.

— Вы полагаете, что русские круглые дураки? — невесело спрашивал он послов. — Ошибаетесь. Они дерзко обманули нас с грамотой Плеттенберга, и на уме у царя не мир, а война. Вспомните царского посла Терпигорева...

Воспоминание о Терпигореве было не из приятных. Восемь месяцев назад он прибыл к дерптскому епископу и для начала озадачил того странным подарком от царя — преподнес для чего-то епископу шелковую татарскую епанчу, двух гончих собак да кусок вышитого узорами сукна.

Епископ смотрел на дары в полной растерянности. Они были явно не по чину. В них таилась какая-то издевка. Вдобавок русская выжловка присела в епископской зале и напустила на пол лужу...

Келаря Терпигорева поспешили поблагодарить и отправить отдыхать, а лающий подарок отдали на псарню.

Но царский посол долго не нежился. На следующий день явился в магистрат и в кратчайшей речи из полутора десятков слов потребовал, чтобы епископ и гермейстер привесили свои печати к подписанной посольством Брокгорста грамоте.

— Ждать не буду, — сказал посол. — Недосуг мне ныне.

И, не дожидаясь ответа, не поклонясь, ушел. В магистрате все пришли в смятение. Член епископского совета Якоб Краббе уныло твердил:

— Теперь нас все равно или разграбят, или сделают невольниками!

Бюрггермейстер Берг в долгой речи пытался доказать, что надо выполнить все требования цари.

— Иначе нас принудят выполнить их силой! — сказал он.

Канцлер епископа Юрген Гольцшир резко оборвал и осадил Берга:

— Молчите! Вы лучше рассуждаете о льне и козьих шкурах! Ограничьтесь ими... А я полагаю, что поступить следует так: печати к грамоте привесить, но денег не платить. Внесем это дело в имперскую камеру. Римский император уничтожит все, что мы здесь постановили. Ясно? Мы позовем посла, прочтем ему, передавая грамоту, свою протестацию, объясним, что не можем соглашаться окончательно на выплату дани без согласия императора, нашего верховного ленного государя. И пусть он с этим уезжает!

Совет Гольцшира пришелся всем по вкусу. Германскому императору тотчас настрочили просьбу направить в Москву имперское посольство для защиты ливонских интересов. И, очень довольные найденным выходом, призвали Терпигорева.

Тот принял грамоту, но когда тотчас стали зачитывать по-латыни

протестацию, громогласно прервал чтение.

— Это чего один толкует, а другие пишут?

Терпигореву объяснили, в чем дело.

Московский посол побагровел и набычился.

— А какая печаль моему государю до императора? Дали мне грамоту, и довольно с вас. И нечего тут разговаривать. А не станете платить дани — царь сам ее соберет!

Пихнул грамоту в карман и, похлопывая по нем, добавил:

— Этого ребенка надо калачом кормить и молоком поить. Вырастет, много добра принесет... Так вы, советники, глядите! Припасайте денег!

И ушел из залы.

Грубиян! Варвар! Наглец!

Да, вспоминать о Терпигореве было неприятно. И все же Флемминг возразил Мельхиору.

— Дорогой друг! Вы же знаете, что угрозы — одно, а война — другое. Кроме того, вам не хуже, чем мне, известно, что московские бояре против вторжения в наши владения. Даже Адашев!

— Видите ли, — горько улыбнулся Мельхиор, — помимо наших доброжелателей в Москве, есть и доброжелатели царя в Дерпте. А кроме всего прочего, не забывайте, что Русь не Польша. Царь последнее время почти не слушает приближенных...

Посольский поезд уже втягивался на Троицкую площадь. как его остановили какие-то конные.

Оказалось, послам не велено въезжать в Кремль. Им надлежит остановиться на посольском подворье за городом.

Когда возок потащился обратно, Мельхиор спросил:

— Видите?

Флемминг выругался. Генрих Винтер уныло переводил взгляд с одного на другого.

— Будем надеяться, что нам хотя бы не откажут в вине! — наконец проговорил и он.

Царь стоял у зарешеченного окна, смотрел на заснеженную площадь. Слушал густой, вкрадчивый голос Сильвестра, советовавшего припугнуть ливонцев еще раз, но войны не начинать, и в душе у него нарастало раздражение.

Доводы были не новы. Все то же запугивание крымцами, Литвой и Польшей.

Сильвестр умолк. Иван Васильевич резко обернулся, уперся взглядом в Адашева.

— А ты?

— Государь! — Алексей Адашев поклонился. — Война с Ливонией неразумна.

— Ты, Курбский?

— Я бы воевал крымцев, государь.

— Ты, Курлетев?

— Согласен с князьями Андреем и Адашевым, государь.

— Ты, Репнин?

— Негоже нам немцев дразнить и свейского короля, государь.

— Ты, Ряполовский?

— Море Свейское нам ни к чему, государь.

Иван Васильевич гневно раздувал ноздри большого носа. Глаза сузились, стали похожи на татарские глаза Глинских.

— Упорствуете?! Мудрыми почитаете себя?! А в чем ваша мудрость?! Сейчас ливонцы бессильны. Войска у них нет. Хан же с неурядицами покончил, да и все едино, турки или поляки на помощь ему придут! Утянемся в степи, все полки потеряем, а здесь миг упустим! Если же Ливонию взять, в крепостях засесть, кто нам страшен? Литва? Польша? Они никак вон на сеймах об единении не договорятся! И не полезут они в нашу распрю! Знаю, что Сигизмунд поддержку Кетлеру обещал, да это все слова. У королишки сил нет своих подданных обуздать! Где ему тягаться со мной?! А свейский король помнит, что бит был, тоже не сунется.

— Истинно молвил, государь! — льстиво сказал Григорий Захарьин.

Его поддержал старый боярин Басманов, враг Адашева:

— Прав ты, государь!

— Прав, прав! — поддакнул друг Басманова князь Вяземский.

Адашев презрительно покосился на них.

— Дозволь еще слово молвить, государь!

Широкое лицо Адашева от волнения пошло пятнами.

— Лесть — дурной советчик. Не внимай голосу ее! Еще раз молю: рассуди, государь! У поляков и немцев — одна вера. Им заступаться за рыцарей не зазорно. А в поддержку хана Сигизмунд-Август открыто не выступит. Как ему оправдаться перед миром в заступничестве за поганых? Связаны руки будут у Сигизмунда в Крыму. За нас же все православные украинные христиане, какие от католиков стонут, подымутся!

— Истинно, — сказал Сильвестр.

— То ложь, государь! — воскликнул Басманов. — Украинные казаки все воруют против тебя. А смерды украинные не воины. И недостойно царю у холопов заискивать!

— Дурак ты, боярин Федор! — застучал посохом Сильвестр. — Пошто судишь о том, чего не ведаешь?!

— Заступись, государь! — возопил Басманов. — Не позволяй попу меня поносить!

Вспыхнула перебранка.

— Молчите! — закричал царь, и от напряжения на висках его вздулись жилы. — Молчите, велю!

Он ждал упорных возражений и теперь, когда возражения последовали, лишним раз убедился, что и Сильвестр, и Адашев, и другие ближние не оставили намерения навязывать ему свою волю.

Не хотят, не хотят, проклятые, чтобы царь сам правил!

Хотят, чтобы подчинялся им!

Все на старый лад повернуть!

Только оттого и против войны с Ливонией восстали.

Так не будет по-ихнему! Не будет!

От ненависти к поперечникам Ивану Васильевичу даже дышать стало трудно.

— С гермейстером и епископом миру не быть! — хрипло сказал в наступившей тишине царь. — От своего не отступлюсь. Не позволю рыцарям смеяться надо мной... Не позволю! Слышите?! Послов не приму! Пусть едут обратно! А вам, бояре, мое слово — готовьте рать!

— Государь... — заикнулся было Адашев.

— Молчи! Будя! — стискивая кулаки, крикнул Иван Васильевич. — Больно смел стал! Сам послов отправишь! Ну?!

Сильвестр, Адашев и Курбский переглянулись.

Адашев и Курбский поклонились без готовности. Старик Басманов с трудом скрывал ликование.

Но нахохлившийся Сильвестр наставительно промолвил все же:

— Помни, государь! Сам решил...

— И ты помни, поп, что самодержец я, чтоб самому решать.

— Самодержец ты, государь, поелику от прочих государей не зависишь. Царь, советами пренебрегающий, слаб есть. Царь Давид не послушал свой сиглит, и чуть не погиб народ израильский.

— Ты грозишь? Грозишь? — зловеще и тихо спросил Иван. — Мне грозишь?

— Не грожу, а к разуму твоему взываю.

— Мой разум тверд. Тверже твоего, поп! Ты вот о Давиде молвил, а я другое скажу: горе граду тому, коим мнози обладают! Я же обладать буду один! Вот мой сказ! Уходи! Не потребен ты здесь!

Сильвестр поднялся с места, поклонился царю и в молчании пошел прочь из палат.

Иван Васильевич обвел лихорадочным взором оставшихся.

— Поняли вы, бояре, волю мою?

— Поняли, поняли, батюшка царь! — первым ответил Басманов.

Из всех надежд ливонских послов сбылась только надежда Генриха Винтера: в вине им не отказали. Но на следующий же день известили, что царь их не примет, и велели покинуть Москву.

— Это невозможно, господа! — быстро расхаживая по отведенным послам покоям, волновался Гергард Флемминг. — Мы не можем вернуться с таким ответом! Надо хотя бы повидаться с нашими людьми! Попытаться воздействовать на бояр!

— У ворот стоит стража, — кивнув на окно, меланхолически возразил Мельхиор. — И мне сообщили, что совет с боярами уже состоялся. Царь заявил, что слушать их не намерен.

Флемминг круто повернулся к нему.

— Вы убеждены, что сведения верны?

— Абсолютно.

Флемминг ударил кулаком по столешнице и грубо выругался.

Вскоре после отъезда послов бирючи, громыхая в бубны, объявили на московских площадях и перекрестках государев запрет торговцам ездить в Ливонию.

Московские гости оторопели и растерялись. Слухи о войне слухами, а сама война — иное дело.

У иных в Ливонию ушли обозы. Другие были связаны с ливонцами кредитами. Третьи уже вложили многие деньги в закупки кожи, шерсти, соли для ливонских городов. Куда теперь девать товар?

С весны в Москву начали сгонять ратников. Проследовали мимо города, правясь на Новгород, татары бывшего казанского царя Шиг-Алея — несколько десятков тысяч всадников в собачьих малахях, на низкорослых мохнатых лошадах. Прошла луговая черемиса, мордва, чуваша. Иные конные, большинство пешие, все с луками и копьями.

В июле двинулись к западным границам стрелецкие полки. На телегах везли за стрельцами пищаля, волокля пушки, свинец и порох.

Ратники из крестьян вздыхали:

— Эх-ма! Без нас хлебушек посеяли, не нам его убирать!

Стрелецкие женки голосили.

Враз выросли цены на хлеб и на мясо, на мед и на крупу, на холсты и на рухлядь. К иноземным товарам и вовсе хоть не подступайся! Вдесятеро против прежнего пошли, а потом и вовсе исчезли.

И в ноябре притихший московский люд, боясь пропустить хоть слово, слушал, как кричат с крыльца Земского приказа дьяки, читая православным грамоту царя и государя всея Руси, Белые и Малыя, Ивана Васильевича ливонскому гермейстеру, дерптскому епископу и архиепископу рижскому и всей Ливонии.

В стилом воздухе медленно парили первые снежинки. Воронье над Кремлем каркало по-зимнему печально и настырно. Изо ртов у дьяков валил пар.

Руки, державшие листы, краснели, как обваренные.

Вытянув шею, Иван Федоров, замешавшийся в толпу москвичей, слышал:

«...И так как вы божий закон и всякую истину оставили, не помышляете о крестном целовании и презираете нашу милость и милосердие, то мы рассудили при помощи божией правды и вашей неправды, оказанной великому кресту, мстить вам и наказать за ваши беззакония. И если по воле божьей с обеих сторон кровь прольется, то не по нашей вине, а по вашей неправде то станется!

Мы, христианский государь, не радуемся пролитию невинной крови: ни христианской, ни неверной. Познайте вашу неправду. Мы извещаем вас о нашей великой и могущественной силе сею грамотою нашею, которою объявляем вам войну!..»

В толпе крестились, вздыхали, плакали.

А кремлевские колокола звонили празднично, звонко, не умолкая.

Уже отъехали из Москвы царские воеводы князь Курбский, князя Куракин и Бутурлин, боярин Алексей Басманов и Данила Адашев, когда из Ливонии опять прибыло спешное посольство.

Побросав дела, ремесленный московский люд, купцы и гости бежали смотреть, как едут ливонцы в Кремль, в посольскую избу.

Крестились.

— Господи! Авось сговорятся! Авось без войны обойдется!

К концу дня стало известно: бояре согласились взять дань только за три года, с тем чтобы ливонцы впредь выплачивали государю тысячу венгерских золотых беспереводно. Но потребовали тотчас уплатить полагающиеся за три года сорок пять тысяч талеров. У ливонцев же денег с собой нет. Их опять отсылают назад. Послам передали слова царя, что теперь он сам пойдет собирать дань.

Иван Федоров зашел к Михаилу Твердохлебову. У Твердохлебова сидели несколько гостей и немец Ганс Краббе.

Присев на краю застольицы, отпивая мед, Федоров слушал торопливые, сбивчивые речи купцов.

— А я, братья, так разумею, — сказал хозяин Михаил Твердохлебов. — Выручать нам ливонцев надо.

— Знамо, хорошо бы! Святое бы дело совершили! — поддержали купцы. — Да что можно-то?

— Можно! — встав с лавки, отрубил Михаил. — Знаете, за ливонскими купцами никогда добро не пропадало. Стало быть, надо мощной тряхнуть. Соберем эти сорок пять тысяч талеров, дадим послам под расписку да еще и прибыток получим.

— Сорок-то пять тыщ — легко сказать! — поежился Игнат Шумов, ведущий торговлю хлебом.

— Ну, сгнои зерно-то в амбарах! — рассердился Михаил. — Или на аглицких гостей рассчитываешь?

— Какой на них расчет! Сколь они вывозят-то! У меня мыши больше сгрызут!

— Так чего же ты?!

— Больно много...

— О, вы совершите великое, угодное богу дело, не допустив войны! — встрял в разговор Краббе. — Война очень, очень плохо!

Иван Федоров усмехнулся.

— Ишь, Михаил! Вы с немцем в одну дуду ныне дудите!

— Погоди! отмахнулся Михаил. — Немец, немец! Не в нем дело!.. Ну, как решим, братья? Соберем деньги?

— Выходит, придется собрать! — прокряхтел тучный Борис Козел, скупщик льна и шерсти. — Вернут небось... А без торговлишки оскудеем.

Забыв и яства, купцы принялись судить, кому сколько следует дать денег, Заспорили. Зашумели. Ганс Краббе откланялся, исчез.

Иван Федоров отозвал хозяина.

— Пойду я, Михаил. Ох, негоже творите. Смотри.

— Чем негоже? — удивился тот. — Али война лучше?

Но тут же взял Федорова за руку.

— Слышь, Иване, не толкуй ни с кем пока. Мы к завтраму сами государю доведем свои раздумья. Как решит уж... Не скажешь, а?

— Мне-то что? — недовольно пожал плечами Федоров. — Но уж и ты знай — я ваших дел не одобряю. Прощай.

...Московские купцы за один день выложили необходимую для уплаты ливонского долга сумму.

Однако царь запретил передать эти деньги ливонским послам. Через тех же адашевских людей стало известно: поступок купцов Ивана Васильевича разгневал.

— Худо! — сказал потемневший от тревог Михаил Твердохлебов. — А в грамоте-то царской написано, что крови проливать не хотим... Врешь! Хотим! Давно уж к сему готовились!

Иван Федоров был смущен.

В грамоте, верно, писалось о миролюбии.

— Поди, боится царь, что опять обманут его ливонцы! — не очень уверенно, но все же возразил он Твердохлебову.

— Какой еще обман, когда деньги — вот они! угрюмо ответил тот. — Оставь уж!

ГЛАВА III



Русские войска вторглись в Ливонию. 22 января, на рассвете князь Курбский выехал к ратникам своего сторожевого полка, затемно поднятым из шалашей и землянок, на боевом коне и не в шубе, а в доспехах.

— Слушай меня! — прокричал князь, поставив коня. — Волею государя идем ныне поревновать за святую веру, воротить исконные русские земли, освободить из плена наших братьев-христиан. Немецкие рыцари обманом захватили сей край! Они продали душу дьяволу, ругаются над церквами, позорят христианских жен и девиц, мучат всех, кто верит в господа Иисуса Христа и святую троицу! Испокон века умышляют они на Русь, видят поработить славянские племена. На несчастье же нашем воздвигли себе многие города, набили подвалы золотом, предаются блуду и глумлению над своими рабами. С богом в сердце и мечом в руке идем ныне, братья, на неверных и проклятых еретиков! Выжмите из душ своих жалость! Распалитесь праведным гневом! Иисус и святая дева Мария взирают на вас в сей час, славный для каждого! Ступайте же без робости вперед! Вас ждут милость государя и добыча!.. С богом!

Сняв шелом, он размашисто перекрестился.

Запели трубы. Грянули литавры. Полк двинулся.

Шиг-Алей со своими мурзами был менее многословен.

— Батька-царь отдал нам Ливонию, — сказал Шиг-Алей. — Скажите каждому батыру, что он волен брать все! Помилуй бог! Инш алла!

Войска входили в страну, не встречая сопротивления. Брошенные в стороны от главной колонны летучие отряды мусульманской конницы, палившей селения, грабившей и убивавшей, сеяли панику.

Порубежный город Костер пал, не обороняясь. Его разграбили до нитки. Потом двинулись к Дерпту. Оттуда вышел отряд в пятьсот человек. Его положили, не дав уйти ни единому кнехту. Сбежавшееся в Дерпт окрестное население с ужасом смотрело со стен на обложившие город полки. Три дня горожане с минуты на минуту ждали штурма. Но войска неожиданно сняли осаду и тремя колоннами потекли: одни к Риге, другие к Ревелю, третьи за реку Омовжу, к Свейскому морю.

Высланные против них из Везенберга и Фалькенау отряды наемников оказались разбитыми наголову. Посады Фалькенау, Лаиса, Эйсинкула и Кирнели в отместку за нападение русские войска сожгли.

Покончив с ними, Шиг-Алей повернул к Нарве. Ее окрестности были уже разорены войсками князя Шестунова, делавшего вылазки из крепости Иван-город. Татары дограбили то, что оставалось.

Другие отряды русских вернулись к Нейгаузену, растеклись по округе, вошли в Псковскую область.

И всюду войска, выполняли наказ царя: немцам пощады не давать.

Немецкая Ливония оцепенела.

А Ливония черного посадского и крестьянского люда воспрянула духом.

Эсты и ливы, замученные хозяйничанием немцев, приходили к русским отрядам проводниками, сами собирались в отряды, громили усадьбы недавних господ.

Они толпами являлись к воеводам, прося принять их в подданство русского царя.

Ларька, назначенный в дозорный отряд, неторопливо ехал во главе десятка всадников, вглядывался в холмистую равнину, в редкие сосны по невысоким придорожным буграм.

Чудной был этот поход! Даже татарские князья на Каме-реке воевали храбрее, чем ливонцы! Только два раза и довелось Ларьке обнажать саблю, да и то — разве могли мелкие отрядишки кнехтов устоять против лавины русской конницы? И порубиться толком не пришлось...

— Н-да... Вина и едова хватает, конечно, но вот золотишка небогато, и бабы здешние не больно завидны.

А все ж не врали про рыцарей, что лютые волки они. Уж на что свои деревеньки бедные видал, а такой нищеты и убогости, как здесь, и не

мыслил. Этих ливов и эстов вроде собак немцы держали, похоже. Недаром и ошейники на рабов надевали. Как только кормились тут крестьянишки-бедолаги? Песком да камнями нешто? Истинно сироты и мученики. Куску хлеба радуются, со слезами берут.

Эх, неправда человечья! Конечно, крестьянину господин и хозяин нужен, но уж так зорить народишко не по-божески. Нет, не по-божески!

Внезапно Ларька увидел впереди на дороге всадника. Еще издали различил — не воин, сидит на лошаденке охлюпкой, хотя чего-то вроде копья в руке держит...

Сблизились. Всадник — не то эст, не то лив — радостно улыбался, в руках у него оказалась коса.

Он принялся что-то взволнованно объяснять, прижимая к груди снятый со всклокоченной головы колпачок, то и дело оборачиваясь и взволнованно показывая в ту сторону, откуда приехал.

— Немцы? Гермейстер? — спросил Ларька.

Всадник отрицательно замотал головой, беспомощно улыбнулся, переводя взор с одного ратника на другого, потом повернул коня, как бы приглашая ехать за ним. Знаками объяснил: надо торопиться.

— Чего-то случилось там у них, — вслух подумал Ларька. — Как, ребята? Поскачем? Все едино — по дороге...

— Веди! — откликнулись ратники, замерзшие от медленной езды.

Ларька привстал на стремянах, гикнул, понеслись.

Эст нещадно погонял мокрую лошаденку. За поворотом увидели деревню.

— Туда? — глазами и кивком спросил Ларька.

— Туда! — закивал крестьянин.

Оставив его далеко позади, Ларькины всадники ворвались в деревню. Откуда-то с края слышались крики и выстрелы. Ратники устремились на шум.

Толпа ободранных крестьян перебегала вдоль забора богатого, видно рыцарского, дома. Одинокие смельчаки пробрались к сад. По смельчакам из дома палили.

— Братцы! Там немец засел! — крикнул своим Ларька. — А ну, спешься!

К Ларьке подбежал дюжий эст, со слезами на глазах обнял его.

— Эк ты!.. Брось!.. — смущенный и тронутый, сказал Ларька. — Не девка я!

Эст тыкал себя в грудь, показывал на висящий у Ларькиного пояса нож.

— Оружия просишь? — догадался Ларька. — На! Братцы! Дай им кто чем богат!

Получив кто нож, кто пику, крестьяне опять бросились к рыцарскому дому.

— Стой! Стой! — окликал Ларька. — Не понимают!.. Перестреляют же их, бешеных!.. А ну, робя! Заряжай пищали! Грохни по окнам!

Гром русских пищалей раздался по округе. Зазвенели стекла в окнах. Полетела щепка из ставен.

Крестьяне, ободренные, с ревом бросились к дому. Оттуда пальнули раз-другой и умолкли.

— Пошли! — приказал Ларька. — Бери немца, язви его в душу!

Топорами высадили двери, ввалились в холодные чужие сени, растеклись по дому.

С ликующими возгласами крестьяне выволокли откуда-то своего господина. Еще молодой, полный, высокий, одетый в камзол с разорванными при схватке кружевами, он рванулся у крестьян из рук, залопотал, умоляя о чем-то Ларьку, признав в нем старшего.

Крестьяне неуверенно затоптались, выжидающе глядя на русских. Дюжий эст, получивший от Ларьки нож, подскочил к ним и, показывая на немца, горячо, с надрывом принялся объяснять.

— Все вы как немые! — развел руками Ларька. — Не понимаю никого. А вижу, досадил тебе немец... Ну, бери! Бери!

Немец и эсты напряженно смотрели на Ларьку. Немец — с надеждой и страхом, крестьяне — готовые покориться любому приказу.

— Эх, не понимают! — вздохнул Ларька. — Ну, коли так...

Шагнул вперед, махнул саблей. Бритобородая голова стукнулась о пол, подскочила, покатила в угол.

— Все бери! — зычно велел своим Ларька. — Все ваше!

Шагал по коврам. Услышал женский визг, вопли. Усмехнулся. Взломал саблей один сундук, другой. Наткнулся на серебряные сосуды, золотые женские украшения, чеканные блюда.

— Ага! Эй, робя! Давай мешки!

Вышел на крыльцо. Велел приторачивать добычу. Спросил у ухмылявшегося ратника:

— Где бабы?

— Кончили их.

— Так...

Эсты выводили из рыцарской конюшни коней, волокли мешки с овсом, сбрую.

— Эй! Овес у них отымите! — велел Ларька. — И коней, какие получше, тоже заберем... Пашка, Микола! Волоките солому. Спалить гнездо надо.

Дюжий эст приблизился, протянул нож.

— Оставь себе! — сказал Ларька и отстранил нож.

Эст широко улыбнулся, показывая большие зубы. Взял Ларькину руку, крепко-крепко потряс.

— Во! Друга я себе сыскал! — крикнул своим Ларька.

Ратники расхохотались. Ничего не понявший эст тоже засмеялся. Смеялись и другие крестьяне. Они норовили коснуться русских, притронуться к их тегилям, латам, к их оружию.

— Ну, погостевали! На конь! — скомандовал Ларька.

Из-под высокой черепичной крыши дома уже выметывались язычки огня.

Все побежали с рыцарского двора. Ларькин отряд вернулся на дорогу.

Через сорок дней после начала войны Шиг-Алей приостановил боевые действия.

Поручение царя было выполнено. Ужас на ливонцев наведен. Следовало попытаться, не связывая себя осадой крепостей, получить нужные государственной казне деньги.

Шиг-Алей послал дерптскому епископу грамоту.

«Вы беспомощны и сражаться не можете, — писал Шиг-Алей. — Уплатите оговоренную в Москве сумму, и тогда я буду просить государя, чтобы он смиловался над вами. Иначе примемся за ваши города».

На срочно собранном в городе Вендене сейме ливонские рыцари и горожане после долгих препирательств решили уплатить царю.

Перед пасхой в Москву отправили новых послов с деньгами. Но пока послы тащились, разыгрались события в Нарве и Иван-городе.

В великий пост пьяные немецкие кнехты обстреляли через реку мирно собиравшихся к церквам русских.

Воеводы, ожидая царского приказа, нарушать ли перемирие, запрещали войскам отвечать. Иван-город молчаливо терпел долгую стрельбу из пушек.

Наконец пришел наказ: «Нарву бить, но остальные города пока не трогать».

Ударили десятки русских пушек. Заговорили русские пищали. Жители Нарвы побежали из загоревшегося посада в крепость, но немцы их туда не пустили. В Нарве поднялся мятеж против рыцарей.

Городские купцы, и среди них твердохлебовский знакомец Иоахим Крумгаузен, возглавили тех, кто склонялся на русскую сторону.

В начале апреля Нарва объявила, что отстает от своего фогта, от гермейстера и от всей ливонской земли, и запросила передышки для переговоров.

Иоахим Крумгаузен и его товарищ Арндт фон Деден спешно выехали в Москву.

В это время ревельский командор Франц фон Зеegaфен дал знать фогту Нарвы, что высылает ему в поддержку своих и рижских кнехтов.

В Нарве воспрянули духом. Вскоре кнехты действительно вошли в город и усилили его гарнизон.

Сам ревельский командор, соединяясь с отрядом Гергардта Кетлера, подошел и встал в десяти верстах от Нарвы.

Тотчас ратман Ромашон объявил русским воеводам, что нарвцы не посылали Крумгаузена и фон Арндта к царю, что те поехали по своей воле.

Посланная против Кетлера сторожа была смята. Русские отряды бежали за реку.

Однако эта неудача не обескуражила воевод. Наоборот. Обеспокоясь, они отдали приказ бить по Нарве из пушек без передыха.

Русские пушкари валились с ног, обжигали руки о стволы орудий, но с мест не сходили.

Яростная бомбардировка вызвала в городе пожар.

Жители опять пытались скрыться в крепости, схватились с кнехтами, не пускавшими народ за стены.

Воспользовавшись сумятицей, русские войска переправились через реку, перетащили за собой орудия.

Получив известия об этом успехе русских, отряды Кетлера не пошли на вырубку осажденным. Побоялись засады.

Тем временем русские пушкари сбили главные орудия нарвской крепости. Они усиливали и усиливали огонь.

Участь Нарвы была решена. В ту же ночь нарвский фогт сдался на милость победителя.

Утром 11 мая остатки немецких войск вышли из крепости, сложив оружие. Рыцари отступали повсюду. На помощь русским войскам прибыл из Пскова царский наместник Троекуров со свежими полками.

Один за одним пали Нейшлотт, Тольсбург, Везенбург.

Все пространство от Чудского озера до Свейского моря и побережье реки Наровы были присоединены к Москве.

Находившиеся в ту пору у царя ливонские послы не дали, однако, согласия на это присоединение.

Тогда их отослали прочь, не взяв и привезенных денег.

— Отныне мы сами господа в наших исконных землях! — сказали послам.

В захваченном краю по царскому указу строили православные церкви. Велено было принимать бежавших сюда ливов и эстов.

А в самой Москве отменили длившийся с самого начала войны пост.

Трезвонили в колокола и служили молебны...

Началось лето, и последовали новые победы. Войско князя Петра Шуйского и Федора Троекурова овладело Нейгаузенем. Узнав об этом, отряды гермейстера Фирстенберга и дерптского епископа, собранные близ Кириемне, не рискнули вступать в бой. Фирстенберг отступил к Валку, епископ — к Дерпту. Его отряд русские войска настигли в двадцати пяти верстах от города, гнали ливонцев до предместий, отбили обоз, захватив пленных, порох, орудия и ядра.

Мимоходом был взят Курславль.

Перед осадой Дерпта князь Шуйский потребовал у горожан сдаться на милость царя и, чтобы устроить их, послал в город изувеченных немцев и немок.

При виде русских часть епископского войска тайком ушла из города. Канцлер Гольцшир с пеной у рта требовал вылазки, а когда ему разрешили выйти в поле, повернул и удрал в Ригу.

И все же Дерпт решил обороняться. Под покровом тумана горожане послали гонцов к гермейстеру и епископу. Заперли ворота. Ответили огнем на огонь.

Но выручка не шла. А стены под ударами пушек рушились, ядра зажигали кровли домов, и городской совет запросил перемирия.

Дерптцы просили сохранить лютеранство, прежние доходы купцов, школы, прежние счетные книги, освободить их от русского суда, сохранить выборность должностных лиц.

Шуйский на все согласился. Он обещал не разорять город. Тогда ему вручили ключи от ворот.

Тех, кто хотел покинуть город, русские под охраной проводили мимо татар. Ордам Шиг-Алея войти в Дерпт вообще не разрешили. По всем улицам и площадям поставили караулы наблюдать за порядком, следить, чтобы жителям не чинились обиды.

Шуйский выполнял волю царя. В Москву уже сыпались жалобы на зверства татар. Ливонские жалобщики обивали пороги в Швеции, в Литве и Польше, расписывая московские насилия, пытки и убийства.

Следовало показать себя мягкосердечными и человеколюбивыми.

Попрятавшиеся поначалу по домам горожане вскоре осмелели. Купцы принялись за торговлю, в кирках начались службы, в школах — учеба...

Ларьке город нравился. Дома высокие, под черепицей, чистые. Улицы, правда, узкие, уже московских, и помои тут прямо на мостовую льют, вонь, но и в московском Зарядье не лучше.

А живут богато! В оставленных жителями домах ратники нашли немало добра и замурованного в стенах золота.

Диво ли, что в городе пятьсот пушек нашлось, неисчислимо свинца и пороха?

Коли деньги есть, все купить можно!

Ларька пил и ел вволю, в обозе у него лежало по мешкам немало добра, награбленного в походе.

Когда от царя пришла грамота, поощрявшая русских селиться в Дерпте, Ларька подумал, что не худо было бы и остаться тут насовсем.

Но почти одновременно с грамотой царские гонцы привезли наказ князю Курбскому отбыть в Москву.

Ларька был обязан князю землей и поехал вместе с ним.

ГЛАВА IV



«Припадаю к стопам вашей милости, молю бога продлить ваши годы. Должен сообщать вам горчайшие известия. В прошлую субботу в Успенском соборе Московского Кремля совершилась гнусная комедия. Узурпатору и людоеду великому князю Ивану при множественном стечении народа митрополит Макарий зачитал грамоту константинопольского патриарха, подтверждающую наследственные права византийских владык за московскими великими князьями.

Было прискорбно слушать, как захватчику и порабителю несчастной Ливонии схизматик патриарх препоручал воспринять власть благородных византийских царей и быть царем и государем православных христиан всей вселенной!

Отныне развратник и пьяница должен стать надеждою и упованием христиан, избавлять их «от варварской тяготы и горькой работы», так говорится в грамоте!

В Москве скорблю не один я. Скорбят многие и многие знатные и богатые люди. Если великий князь, опираясь на служилых, и до этого уже почти отказался от услуг избранного боярской думой совета умнейших родов, то теперь он вообще, видимо, перестанет считаться с кем-либо.

Не так давно в совете царь опять разошелся в мнениях с Сильвестром и при всех обозвал его невеждою. Сильвестр больше не ходит на советы. Он озлоблен и высказывает желание вообще удалиться от дел.

Не лучше положение у Адашева. Иван доверяет ему все меньше и меньше. Хотя Адашев и считается главой Посольского приказа, но большинство дел отныне решается помимо него. На первые роли выходят думный дьяк Висковатый и некоторые другие доселе неизвестные люди.

Очевидно, вскоре Адашева отстранят от переговоров с послами.

Пошатнулось и положение князей Курлетьевых, Репниных, Мстиславских, Горбатов-Шуйских и прочих, близких боярскому совету при великом князе.

К царю приближаются Басмановы, Челяднины и Вяземские.

Эти во всем поддакивают великому князю, поощряют его на единоличные решения и потакают любой его выдумке.

Это они стояли за продолжение войны в Ливонии и поддержали царя в решении отказаться от предложенной дани, с тем чтобы захватить все ливонские земли после падения Нарвы.

Если великому князю и раньше твердили, что он избран богом, что он всем отец, то теперь вдобавок усиленно твердят, что он единственно мудрый, единственно справедливый, полностью непогрешимый в своих действиях владыка, что всякий шаг его отмечен печатью божественного провидения и так далее.

Подобная лесть, даже если она груба, даже если говорится с явной целью извлечь из нее выгоды, все же всегда приятна.

Последние же события — я имею в виду ливонские победы, — очевидно, способствуют утверждению великого князя в справедливости выслушиваемых им льстивых слов.

Настояв на вторжении в Ливонию вопреки мнению своего совета, с удивительной легкостью оттягав огромные земли, царь может считать, что поступил мудро, а что советники его никуда не годны и являются только помехой.

Говорят, на днях он так и заявил Адашеву. Причиной великокняжеского гнева послужило известие, что командор Ревеля сдал замок и город датскому полковнику Христофору фон Мекингаузену и что русские воеводы не решились штурмовать Ревель после этого.

Царь кричал:

— Если бы не ваши советы выждать да помедлить, я бы давно владел и Ревелем и Ригой! А теперь воеводы приучены оглядываться да робеть!

Не знаю, что отвечал Адашев. Наверное, смолчал. Он теперь очень много времени проводит дома, ссылаясь на болезнь. Думаю, что падение Адашева огорчит немногих, несмотря на явную недюжинность этого человека. И вот почему. Адашеву великий князь поручал разбирать споры

между боярами и дворянами, между богатыми и бедными. В подобных спорах каждая сторона всегда считает себя правой, и, естественно, Адашев оказался врагом и для многих бояр и для многих дворян. А те, кому он помог, конечно, на испытывают особой признательности. Они и так считали, что должны восторжествовать.

В Москву вернулся друг Адашева князь Курбский. Он принят приветливо и отпущен отдыхать в свои ярославские поместья. Перед отъездом Курбский, кажется, виделся с Адашевым наедине.

По слухам, князь Шуйский будет скоро сменен в Ливонии князем Дмитрием Курлетьевым. На Шуйского сердятся за Ревель, Курлетьеву же, приятелю Адашева, хотят, кажется, предоставить случай доказывать преданность царю не на словах, а на деле.

Ваша милость! Я и мои добрые знакомые в Москве не имеем права, конечно, судить о поступках королей, но я должен написать, что многие наши единоверцы в Московии удивляются тому, что великому князю Ивану так легко отдают Ливонию.

Никто из нас не сомневается, что отпор чудовищу будет дан. Мы также понимаем, что не всегда легко собрать нужные военные силы. Однако если войска еще не собраны, то могут действовать послы!

Мне сообщили, что больше всего царь Иван боится одновременного протеста Швеции, германского императора и короля Польши и Литвы Сигизмунда-Августа.

Решительное представление сих могущественных владык осадило бы москвитов и могло бы умерить их аппетиты.

Кстати, сообщаю, ваша милость, что, стремясь поправить торговые дела, царь усиленно подталкивает здешних купцов вести дела с Англией через Студеное море. Для этой цели там устраивается новый город и будут строиться корабли. Кроме того, англичане построили свои дворы в Холмогорах и Вологде, на пути к Москве. Они же обещают царю мастеров для постройки морских кораблей, которые могли бы плавать из Риги и Ревеля в Лондон.

Осуществление подобных планов подорвало бы и Швецию, и германского императора, и Польшу. В Москве отдают себе ясный отчет в этом. Отдают ли себе отчет в этом у нас на родине?

Я молю бога, ваша милость, чтобы он заставил государственных мужей всех стран истинной веры прозреть и положить конец хозяйничанию Ивана на побережье Ливонии.

Пусть не думают у нас, что Иван столь силен, как может показаться благодаря нынешним успехам русских.

По моим сведениям, в Ливонии не более пятнадцати тысяч ратников.

Подорванная торговля дает себя знать. Иноземные товары стали в Московии редкостью. Многие купцы разорились. Подорожало все, даже хлеб. Новгородцы, псковичи да, впрочем, и купцы других городов, всегда имевшие дело с Ливонией, ропщут. Из мастеровых людей загружены работой лишь те, кто работает на войну. Литцы, седельники, шорники, пороховщики, копейщики, бронники и им подобные. Остальным весьма туго.

Жалкое подобие шанбы, которое здесь учредили, давно ничего не выпускает все по той же причине военных действий, расходов на войну и прерванной торговли.

Достать в Москве бумагу почти невозможно. Ее продают чуть ли не тайком и втридорога.

Я не хочу вас обманывать, ваша милость. Конечно, общий дух москвитян нельзя назвать унылым. Сообщения о победах поддерживают людей, внушают им надежду на скорое и благополучное окончание войны, на улучшение жизни.

Но коль скоро война затянется, коль скоро русские начнут терпеть поражения или хотя бы сражаться с переменным успехом, обстановка накалится.

Скажутся потери, неоправданные и некупающиеся затраты, застой в торговых делах.

Если крымский хан соберется с силами, то положение великого князя станет плачевным.

Дай-то бог, чтобы это случилось побыстрее!

В заключение, ваша милость, вынужден опять просить у вас денег. При теперешней московской дороговизне они особенно нужны. Я полагаю, что каких-нибудь сто талеров не представят для вас большого расхода, мне же они позволят поддерживать нужные связи.

Молю бога продлить ваши драгоценные годы!

Ваш покорнейший слуга...»

ГЛАВА V



Печатня не работала. Маруша Нефедьев, ссылаясь на немочи, упробил митрополита отпустить его на покой. Уехал в подмосковную деревеньку и в Москве показывался редко. Никифора Тарасова тоже отпустили обратно в Киев. Дьякон Карп умер. Из печатников остались только Иван Федоров, Андроник Тимофеев да Васюк Никифоров.

Сидели, писали книги, выверяли тексты евангелий и задуманного печатью Апостола, получив от митрополита и Адашева многие рукописи, а также греческие и немецкие книги. Ждали, может, что-нибудь изменится?

Ничего не менялось.

Рассказы Ларьки о творимом в Ливонии вселяли ужас. Добро бы одни татары да черемиса мучали и убивали! Нет, и свои, христиане, русские, тоже недоброе творили.

— А ты какой войну представлял? — с досадой спросил Ларька в ответ на недоумение Ивана Федорова. — Мы-то еще по-божески... Дорвись немцы до нашей земли, еще не то сотворили бы.

Ларька побыл в Москве недолго — спешил в свои деревни: собрать подати, приглядеть за хозяйством, привести еще десяток ратников.

Михаил Твердохлебов, поругиваясь, взялся за торг с англичанами.

Готовился по первому снегу ехать в Холмогоры.

Осень выпала дождливая, непролазная, долгая. Ливень сменялся дождичком, дождичек — ливнем.

Мокрые бабы ползали в огородах, пытаясь быстрее управиться с

овощами.

Бегая босиком, прихворнул Ванятка. Пылал, метался. Иван Федоров через Эверфельда сговорил немецкого лекаря, старого Николая Любчанина, отворить парнишке кровь. Лекарь кровь отворять не стал, дал каких-то порошков. Ванятке полегчало.

Сидя теперь дома, Иван Федоров внимательней присматривался к сыну. Лицо мальчика с годами все более напоминало лицо Ирины. Это и волновало и тревожило. Девичья краса парню ни к чему, да и характер бабий, чувствовавшийся в Ванятке, добра не сулил.

Может, оттого, что был слабоват, может, оттого, что соседи по-прежнему косились на Федорова, Ванятка мало дружил со сверстниками. Часто сидел в избе один, предавался мечтаниям, но к письму и книгам любопытства не проявлял. Грамота давалась ему туго. Писал коряво, чужими языками не интересовался. Это сердило Ивана Федорова. Он выговаривал сыну, наказывал его. Случалось, бивал. Ванятка крепился, терпел, но в конце концов раздражался плачем. Не столько от боли, сколько от обиды.

Ивана Федорова начинали мучать угрызения совести. Единственного сына, сироту, ласки не знающего, необихоженного, как чужого шуганул... Эх!

Подходил, неумело гладил русую головушку, похлопывал парнишку по вздрагивающей, спине.

— Ладно уж... Не серчай на батю...

Нет, не задалась ему жизнь!

Неизвестно уж, случится ли в ней ведро, или так и пойдет она с дождичка на ливень, как нынешняя осень...

Как-то Иван Федоров навестил Маврикия. Справился о здоровье митрополита. Похоже, на последней службе в соборе, как патриаршу грамоту читали, митрополиту Макарию совсем худо было.

— Болеет, болеет, — подтвердил Маврикий. Постарел дюже... Да еще и новости худые.

И шепотком довел, что войска в Ливонии после побед испытали и горечь поражений.

— Гермейстер-то Фирстенберг собрал деньгу, нанял солдатишек. Напали на наших. Город Ринген взяли. Голову тамошнего Игнатьева на кол посадили. Остальных посекли. Хотя и невелика победа — наших всего девять десятков стрельцов было, — да нескладно. И, кроме Рингена, городишки тронули немцы... в Псковщину зашли. Там бесчинствуют.

— А чего ж Курлетев?

— Помощи просит. Государь гневается. Послал к нему рати из Пскова и Шелонской пятины, по велел сказать, чтоб умел своими воями управляться.

— Это ты меня не обрадовал... Про печатню тоже, поди, ничего хорошего не молвишь?

— Не молвлю.

— Так...

Год кончился. Начался новый. Государь опять напустил на ливонцев татар, черемисов и пятигорских черкесов под командой князя Микулинского-Пункова. Князь прошел до самой Риги, опять зорил жителей Ливонии, но никаких городов не взял, крепостей не захватил.

Рыцари плакались перед чужими дворами, просили помочь избавиться от нашествия.

С весны в Москву опять зачастили посольства. Первым появился литовский посол Тышкевич. С литовцами ждали разговора о границах, о Смоленске, Полоцке и Киеве и готовились, боясь татар, уступить. Но Тышкевич завел речь о Ливонии, и переговоры с ним прекратили.

Потом прибыл посол от дряхлого старичка Густава Вазы — шведского короля, по слухам, уже малость рехнувшегося. Швед ни на чем не настаивал, только робко просил пощадить Ливонию.

Его высмеяли.

С большим почетом встретили посла нового датского короля Фридриха II. Правда, посла осадили, едва помянул Кольвань и Вирляндию: пусть-де ваш король сии земли своими не называет! Они достояние князя Ярослава, основавшего Юрьев, немцами в Дерпт перекрещенный.

Но на просьбу посла — дать ливонцам перемирие — согласились. Дали полгода, с тем чтобы гермейстер сам челом царю Ивану Васильевичу бил.

Эти переговоры вел опять Алексей Адашев.

Похоже, он и Сильвестр после неудач воевод прошлой осенью обретали прежнюю честь.

Митрополит Макарий, не оставлявший дум о печатных книгах, сговорился с Адашевым, что тот выправит первые главы Деяний Апостольских.

Иван Федоров ходил к Адашеву за листами, но Адашев пока ничего не выправил. Только утешил:

— Не печалься. Скоро и тебе радость выпадет. Получим деньги с гермейстера, штанбу достроим, потрудишься!

Был Адашев весел, шутил, советовал подумать о новом шрифте и

новых заставках.

— Книги издавать богато станем! — посулил он. — А прежние шрифты грубы, и заставки больно одинаковы.

И настойчивей прежнего советовал чистить текст от старых слов и непонятных выражений.

— Опять колдуют! — слышал Иван Федоров у себя за спиной недовольные возгласы писцов. — Не наколдовались еще.

Акиндин пробежал мимо, ворота испитую рожу, словно не признавал.

Федоров рискнул попросить у Адашева денег на новый станок.

Но Адашев отказал. Федоров заметил: от веселости окольникового не осталось и следа. Встревожен. Говорит отрывисто.

Скоро понял, почему. Гермейстер Фирстенберг и не думал ехать в Москву или посылать послов. Он использовал передышку, чтобы собрать войска и заручиться помощью польского короля Сигизмунда-Августа.

Кoadьютор гермейстера Гергард Кетлер подписал с поляками договор о помощи. Ливонцы пошли на то, что заложили Польше многие свои земли с тем условием, чтобы после победы над русскими выкупить их за шестьсот тысяч гульденов, только бы поляки вмешались в войну своей силой.

Ратники Николая Радзивилла, виленского воеводы, заняли замки Роситен, Сельбург, Динабург, Люцен и Бавско.

Гетман литовский Григорий Ходкевич собирал войска.

А царские воеводы дремали.

В октябре Захарий Плещеев, начальствуя над большой ратью, прослышал, будто гермейстер и коадьютор собираются на него напасть.

Плещеев выступил в поле. Русская сторожа захватила «языков». «Языки» подтвердили все, что знал Плещеев, но не сказали, что ливонские войска уже под боком.

Полки расположились на ночлег, не выставив хорошей сторожи, не помышляя об опасности.

Меж тем под прикрытием густого тумана Фирстенберг и Кетлер приблизились к русским вплотную и ударили всей силой.

Ливонцы учинили настоящее побоище. Пали в бою многие воеводы и дети боярские, не считая тысяч погибших ратников. Сам Плещеев еле ушел от ливонской погони.

Торжествуя победу, Кетлер ринулся к Дерпту, пятьдесят дней осаждал его и хотя не взял, но захватил под ним русские обозы и купеческие товары.

Потом подступил к Лаису, пощипал русские отряды и там.

Только ропот кнехтов, требовавших уплатить им жалованье, заставил

Кетлера отступить к Оберпалену.

Царь пришел в ярость. Весь гнев обрушил на Адашева и Сильвестра. По их, мол, вине поверил проклятым датчанам, проклятым рыцарям; по их вине ливонцы с силой собрались!

Сильвестра царь запретил пускать к себе. На просьбу попа отпустить его в монастырь ответил согласием.

Молвил будто бы при этом:

— Чем скорей, тем державе лучше. Пусть грехи замаливает!

А Алексея Адашева отстранил от Посольского приказа. Приказал ему собраться и ехать в Ливонию, в войско.

— Искупай вину!

В последний раз Иван Федоров увидел Алексея Адашева накануне его отъезда.

Адашев был задумчив, устал.

Отдавая Федорову для передачи митрополиту листы Деяний Апостольских, перебрал их, погладил ладонью.

— Жаль, мало успел я... — сказал Адашев. — Ну, ништо. И без меня справитесь... Справитесь ведь, Иване?

Иван Федоров взволнованно поклонился.

— Дай тебе господь бог удачи, Алексей Федорович! Много добра от тебя видел. Ждать буду. Авось смиростивится судьба.

— Судьба!.. — горько усмехнулся Адашев. — Нет уж, от моей судьбы хорошего не дождешься... А ты держай. Делай, как думали: чтобы для всех святое слово понятно было! Без сего смирению и кротости людей не научишь...

Это был их последний разговор.

На следующее утро Алексей Адашев уехал из Москвы, получив наказ сесть воеводой в Феллине, в маленьком ливонском городке с маленьким русским гарнизоном.

— Пропадет! — сказал дьякон Маврикий. — О господи! Грехи, грехи...

Печатню пришлось опять замкнуть.

Наступила зима. Долгие вечера и ночи. Глухие сугробы. Потерянная в небе льдышка луны...

Напарившись в бане до изнеможения, до сладостной немоты и

расслабления членов, Ларион отлежался в предбаннике, накинул поверх исподнего шубу, сунул ноги в валенки и, все еще дыша жаром, направился к своей избе.

В глаза било январское холодное солнце. Снег скрипел, сверкал, попахивал твердым антоновским яблочком.

«Благодать, язви ты в душу!» — щурясь, подумал Ларион.

В избе стоял сытный дух недавно испеченных пирогов, гусятины и меда.

Ошалелые стряпухи собирали на стол. Ларионова забава — лебедушка, дочь кабального смерда Антипа, девка Секлетя, уже привыкшая к новому своему положению, любовалась в круглое серебряное зеркало, прихваченное в Дерпте.

Надувала пухлые губы, склоняла из стороны в сторону голову в жемчужной кике.

«Дура!» — умиленно подумал Ларион.

Скинув шубу, оболокся в суконные портки, в синюю шелковую рубаху, в scarлатный кафтан.

— Эй, бабы! — крикнул. — Голодом уморить хотите?

— Пожалуй откушать, батюшка! — поклонилась, пропела старшая из стряпух. — Все сготовили, как велел.

Развеселившимся Ларион велел звать девок и домрачеев, какие есть.

Набилась полна изба народу. Ларион не скупился.

— Пей! Однава живем!

Заставил девок плясать и петь. Одаривал коврижками, орехами. Парням и мужикам поставил ведро горячего вина.

Одна песня Лариона разжалобила. Подпер щеку рукой, в медвежьих глазах блеснула влага.

Мужики, опьянев, бранились друг с другом.

— Пошли вон все! — вскочив, заревел на них Ларион. — Холопы! Я кровь за них проливал, а они уважения не имеют!

— Не ори! — сказал кто-то. — Ишь, орун! А вот спросим: пошто девку себе забрал и испортил? А если на суд?

— Суд?!

Он метнулся в горницу, выкатился оттуда с саблей в руках.

— Кому суд?!

Взмахнул клинком, свистнул над чьей-то головой, зацепил жалом клочок кожи.

— Уби-и-ивают!

Мужики и парни, перепуганные, побежали из избы. Девки за ними.

Секлетея сползла под стол. Голосила там.

Ларион тяжело дышал. Заслышал шаги, подался вперед, занеся саблю.

В дверь протиснулся закутанный в шубу гонец князя Курбского, знакомец Лариона Гераська. Отпрянул.

— Ты чего?

Ларька признал гонца, откинул саблю, расхохотался.

— Обмер, герой?! То не на тебя. На смердов... Дай обниму! Угодил! В самый часец пожаловал!

Гость освободился от шубы, принял чарку с дороги, ухнул, обтер рукой губы.

— Крепка!.. Пошто воюешь?

— Скушно! Смерды — хамы. Садись, пировать зачем!

— Весть у меня...

— К дьяволу косматому всяку весть! Пируем!.. Секлетея! Вылазь! Глянь, какой гость к нам!

Наутро опохмелившийся Гераська озабоченно поведал:

— Слышь, Ларион! Наказал князь ехать тебе к нему. И ратников брать.

— Пошто?

— Опять на государеву службу зовут. Опять в Ливонию, слышь.

— Эх, тогда попируем напоследок!

И они пили, шумели, парились в бане с бабами еще три дня. На четвертый же опухший Герасим влез в седло, а Ларька, нахлебавшись огуречного рассолу, захлопотал, забегал, стал собираться.

Зимнюю дорогу перемело. Ехали гуськом. Из конских ноздрей валил пар.

Царь принимал князя Андрея Курбского наедине.

Видно было, что ждал приезда с нетерпением. Радовался, улыбался, часто касался руки Курбского, расспрашивая о здоровье, о жене и сыновьях.

Курбский, обеспокоенный судьбой Сильвестра, Адашева, Курлетева и других советников Ивана, тревожившийся и за себя, отвечал сдержанно, смотрел пытливо.

Царь понял причину скованности князя Андрея. Оборвал расспросы. Помолчал. Глядя поверх плеча Курбского в дальний угол покоя, криво усмехнулся.

— Ну, выкладывай, что тебе нашептали уже...

— Шептаться я, государь, не свычен, — холодно ответил Курбский. — А слышал все.

Иван подался к князю всем телом, впился в него измученным взглядом.

— Что все? Что все? Бояре злобствуют, клевету пускают, неблагодарным меня ославили!.. А что Алешка и Сильвестр творили, ты знаешь? Ты сражался, воеводы гибли, а они тут сети вокруг меня плели! С послами цацкались! Затемнили мне разум, на перемирие сговорили, когда нельзя было ливонцам и часа передыху давать! И что! Плещеев бит, города ливонцы осаждают, берут, обозы мои грабят!

Царь вскочил с места.

— Ты тоже против войны с ливонцами был, но вот послал я тебя, и ты верно сражался, бился, тяготы походные терпел. А они? Они упорствовали, гадостное творили. Так ли христианам и добрым советникам поступать надлежало? Скажи, Андрей, так? Скажи!

Курбский колебался.

— Трудно верить, что по злому умыслу они, государь...

— Кабы по злому, казни бы им мало было! От гордыни, от неума! А все ж по их милости державе ущерб! Гермейстер и епископы сложа руки не сидели! Вон от императора Фердинанда уже гонец приезжал. Требуют, вишь, оставить Ливонию. Она, мол, имперская! А от Сигизмунда и посейчас посол у нас сидит. Мартин Володкович. Уже и Сигизмунд суется. Ему-де император Ливонию поручил, уходите оттуда! Шиш Сигизмунду! И Фердинанду шиш! Но никто бы и не вмешался, коли бы не мешкали и воевали изрядно! Или пушек мало было? Пороху не доставало? Людишек я жалел?

— Ты ничего не жалел, государь, твоя правда.

— Ты знаешь, знаешь, Андрей! Так почему неудачи терпим? Не хотели бояре сей войны. Против них, вишь, я решил! Только потому!.. А ты как мыслишь ныне? Уступить? Смириться?

Курбский покачал головой.

— Нет, государь. Уж коли начали, надо до конца доводить.

Иван просиял, протянул к Курбскому руки.

— Люблю тебя, князь Андрей, за верность твою. Не из тех ты, кто втихомолку шипит. Что не нравится, вслух скажешь. А за державу и веру поревновать придется — ты первый! Я же все помню, Андрей! И раны твои казанские помню, и как хана ты бил крымского, и как князьков в Сибири воевал для меня! Другие могут изменить — ты не изменишь. Благороден

есть! Чист сердцем и душой!

— Род Курбских, государь, всегда своей земле и вере честно служил.

Иван словно не расслышал, что князь сказал «своей земле», а не «царю», пропустил оговорку князя мимо ушей.

— Знаю, знаю, оттого и возлюбил тебя больше всех прочих.

Понизив голос, признался:

— Горько мне, Андрей. Стремлюсь к единому — веру утвердить, христиан оборонить, державу упрочить. А кто понимает сие? О себе все думают только!.. Один митрополит да ты разумеете благо государства. Никого больше не вижу вокруг себя умом зрелых.

— Государь, русская земля никогда не была скудна умными мужами. Боюсь, не хочешь ты видеть их.

— Хотел бы, Андрей! Хотел бы! Не вижу!

— Верю я, государь, что оправдается пред тобой Алексей Адашев. И Курлетев и Плещеев тоже вину снимут.

— Дай-то бог!.. Да пока одних бед натворили. Худо в Ливонии, князь Андрей!

Они еще долго беседовали, судили о польских, литовских, шведских и крымских делах, а под конец снова вернулись к разговору о рати.

— Теперь, после бегства моих воевод, я вынужден сам идти на Ливонию или тебя, моего любимого, послать! — сказал царь. — Больше некому! Иди, князь, послужи мне! Готов ли к сему?

— Готов, государь, — ответил Курбский. — Скажи, когда идти повелишь.

Царь положил выступить московской рати, как только кончится весенняя распутица.

— Все исполним, — сказал Курбский. — Не сомневайся, государь. С божьей помощью ливонцев разобью наголову. Не впервой.

Князь Курбский сдержал свое слово. Весной предводительствуемые им войска вошли в Ливонию и направились к городу Вайсенштейну. Здесь захватили «языков». «Языки» довели, что избранный под Валком вместо Фирстенберга новый гермейстер Гергард Кетлер ушел из Ревеля и стоит с большим войском в пятидесяти верстах от города, среди прикрывающих его кнехтов болот. У гермейстера пять конных и четыре пеших полка.

У Курбского было только пять тысяч ратников. Однако он решился на бой.

— Кнехты — худые вои, — сказал он воеводам. — Мне известно, что епископы эзельский и ревельский напуганы. Они продали свои владения шведскому герцогу Магнусу и уехали в Германию. Не удивлюсь, если

узнаю, что и гермейстер больше думает о бегстве, чем о битве. Стало быть, мы его побьем, а может, и изымаем.

Самым близким, в том числе и Алексею Адашеву, князь поведал и иное:

— Победим — рассеем все наветы. Докажем государю, что не прав он, злобу на нас тая.

Курбский двинул войска прямо через болота. Ратники иной раз брели по пояс в воде. Коннице пришлось спешиться. Пушки в самых гиблых местах тащили на руках.

Стояла жара. Дурманно пахло гонобобелем, гнилой, непригодной для питья водой. Люди обливались потом, мучались жаждой, проваливались в трясины, выкарабкивались и опять шли и шли.

Накануне троицына дня передовые отряды лучников завязали перестрелку с кнехтами Кетлера, занимавшими высокое, сухое поле.

Русские пускали стрелы, кнехты отвечали огнем из пищалей и пушек.

Надвигалась призрачная ливонская ночь. Курбский послал торопить Большой полк. Оставшуюся версту ратники из последних сил бежали. Курбский велел войскам час отдыхать. Белая ночь длилась, мягкая и нежная. Кнехты, полагая, что до утра русские не двинутся, прекратили огонь. Осмелев, где-то в кустах защелкали соловьи.

Воеводы подняли людей. Ударили русские пушки. Кинулась вперед, из проклятых топей на сухое, конница. С бранью и криками повалили пешие.

Дошли до ливонцев. Схватились врукопашную. Рубили, кололи, кромсали и сами падали, чтоб никогда больше не подняться, на облитую кровью землю.

Не выдержав рукопашного боя, ливонцы дрогнули, побежали к находившейся в их тылу реке. Под беспорядочным напором толпы единственный мост рухнул.

Кетлер метался на коне, пытаясь собрать войска, ободрить их. Но, узнав о катастрофе, покинул солдат, вплавь переправился на другой берег и ускакал.

Под утро от девяти ливонских полков ничего не осталось. Кнехты разбежались. Прятались в траве, в хлебах, в болотах. Их выискивали, рубили. В плен попали сто семьдесят ливонских дворян. Русские потеряли всего несколько сот ранеными и убитыми.

Победа была полной.

А вскоре последовал еще один сокрушительный удар по ливонским рыцарям.

Двигаясь из Дерпта на крепость Феллин, где засел бывший гермейстер

Фирстенберг, Курбский и прочие воеводы узнали, что близ Эрмса на них задумал напасть маршал Филипп Бель.

У Беля было отличное многочисленное войско. Рыцари называли его «последней надеждой Ливонии».

Воеводы не подали виду, что знают о замысле Беля. Остановили войска как бы на полдневный отдых, выставив лишь незначительную сторожу.

Казалось, русский лагерь беспечно спит.

Филипп Бель не мог упустить столь благоприятного момента. Спрятанная в лесу ливонская рыцарская конница и пешие кнехты вышли из засады и бросились на врага.

Между тем сильные отряды русских войск, проведенные местными крестьянами в тыл Белю, уже изготовились к атаке.

Наступавшие ливонцы внезапно увидели себя окруженными со всех сторон.

Ливонские ряды смешались. Началась паника. Солдаты бросали оружие и поднимали руки.

«Последняя надежда Ливонии» приказала долго жить.

Сам маршал Бель был пойман холопом Алексея Адашева. Кроме Беля, в плен попали все одиннадцать ливонских воевод — контуров — и сто двадцать рыцарей.

Ларька захватил двух контуров и семнадцать дворян, но и сам был ранен.

Раненых отправили на подводах в Дерпт.

Князь же Курбский, Адашев, князя Шуйский и Мстиславский, взяв с пленных слово, что они больше не обратят оружие против русского царя, вместе с Белем и контурами до утра пировали.

Русские воеводы хвалили храбрость ливонских рыцарей, ливонские — русских предводителей.

Пиршеству помешали было ливонские крестьяне, приславшие к воеводам своих ходоков. Ходоки объясняли, что ими окружена усадьба, где собрались немецкие помещики, просили помощи.

Князь Курбский велел гнать черных людишек прочь. Под утро стало ведомо, что на выручку дворянам немцам пришли рейтары фон Мекингаузена, чернь разбита и казнена.

— А Мекингаузен где? — спросил Курбский.

— Ушел к Риге.

— Чего ж меня тревожите? Ушел и ушел! Господь с ним. Мне Фирстенберг нужен...

Русские войска поочередно разбили спешивших к Феллину, на помощь Фирстенбергу, ливонского ландмаршала и литовцев гетмана Ходкевича, а 21 августа после канонады приняли ключи города и крепости Феллин.

Казалось, что с Ливонией покончено.

Написав царю победную грамоту, князь Курбский отправил в Москву вместе с нею и пленных.

В письме Ивану князь сообщал, что ливонские маршалы и контуры — знатные и достойные рыцари и что обещал им царскую милость.

«Известны они родами и доблестью, — писал Курбский, — а посему, государь, и обещание такое дал. Ибо негоже достойных унижать».

Была осень. Близилась зима. Русские отряды разошлись по занятым городам.

В эти дни в далекой от Ливонии Москве обрадованный победами царь смиренно выслушал митрополита Макария, упрекнувшего его в забвении божественных дел.

Митрополит напомнил царю, что он до сих пор не дал денег на достройку печатни-штанбы, отобрал умелых литцов и книги не печатаются.

— В моей казне денег нет, — сказал митрополит. — Ты же, государь, много добра получил в Ливонии. Слышно, что и бумагу франкскую в тамошних городах больно добрую взяли. Сверши душеспасительное, вели печатню наладить. Куда мы без книг-то? Куда?

— То дела ратные меня отвлекали, — ответил царь. — Ныне же всего дам: и бумаги, и денег, и литцов... А печатников-то сохранил ли, владыка?

— Сохранил, государь. Да хорошо бы их в твою палату царских мастеров определить. Чтоб одним уж занимались, не отвлекались заботами о пропитании.

— Много ли их?

— Трое сейчас, да даст бог, еще сыщем.

— Ну, ин добро. Велю писать указ. Ты молви дьякам имена-то печатников.

— Молвлю, молвлю, государь...

Осенним деньком Ивана Федорова кликнули в Разрядный приказ. Там дьяк Иван Висковатый объявил, что Иван Федоров, Андроник Тимофеев и Василий Никифоров с сего времени числятся царскими печатных дел мастерами.

Царь и государь всея Руси Иван Васильевич положил им иметь заботу о печатных книгах, ладить штанбу и будет платить за это жалованье.

— Андронику Тимофееву за постройкой двора блюсти, — сказал Висковатый, — а тебе и Василию Никифорову станки и шрифты ладить. Внял ли?

— Внял, внял! — радостно ответил Иван Федоров. — Спаси и храни бог царя Ивана Васильевича!

ГЛАВА VI



Почти два года жизнь Ивана Федорова текла в спокойных трудах, без прежних забот о куске хлеба. Положенное царем жалованье выплачивалось исправно. От работы над шрифтами никто не отрывал Олова давали, сколько попросишь. Привезли французскую бумагу, плотную, белую, со знаком города Парижа: веселым, под парусами корабликом. Бумага ждала, только печатай!

Печатники разделились. Василий Никифоров Андроник Тимофеев резали свой шрифт, Иван Федоров с приехавшим из Литвы, из Вильны, мастером Петром Тимофеевым — свой.

Рисунки шрифтов утвердили царь и митрополит. Царь пожелал, чтобы готовящийся к печати Апостол напечатали федоровским шрифтом.

Шрифт удавался: тонкий, изящный полуустав, слегка наклоненный влево, напоминающий самые лучшие московские рукописные книги.

Получили одобрение и заставки. Резал их Федоров вместе с Петром Тимофеевым, прозывавшимся Мстиславцем — по родному его городу.

Часть заставок сделали широкими и поле в рамках украсили тонким переплетением пышных цветов и плодов, стеблей трав и шишек.

Отказались в резьбе от привычной формы. Выполнили заставки не «покоем», как рисовалось в старину, а прямоугольными.

К первому листу вырезали фигуру Луки Евангелиста, сидящего с раскрытой на коленях книгой. Образец взяли с немецкой Библии, а

колонки, окружающие Луку, срисовали с колонок кремлевских дворцов.

Маврикий, разглядывая рисунки перед тем, как подать их митрополиту, сомневался, гоже ли сотворили, что немцев в учителя взяли. Но митрополит и царь дурного в рисунках не нашли.

Резьба, отливка пунсонов, а потом и букв потребовали упорной, непрерывной, с утра до вечера, работы.

Потом пришлось иные пунсоны менять, отливать новые буквы.

Работа радовала. С Петром Тимофеевым сошелся Иван Федоров быстро, и подружились крепко. Нравилось Федорову, как без лишних слов, споро и умело работает литовский мастер.

Петр Тимофеев бывал в Германии, он дал много советов по выделке букв, по верстанию книг, по переплетному делу.

И все было бы хорошо, живи да работай, кабы не сомнения, которые все больше и больше смущали Федорова, лишали его душевного покоя, из-за которых жизнь становилась не в жизнь.

Страшно самому было признаться в том, что испытывал.

Колебалась его вера в справедливость и мудрость царя Ивана.

В справедливость и мудрость вселенского государя, главы всего христианского мира.

Иван Федоров со все нарастающей тревогой наблюдал за тем, что творится вокруг.

И все труднее становилось оправдывать совершавшееся.

Еще той зимой, что пришла за победами князя Курбского, свершилась жестокость.

Царь не помиловал присланных в Москву пленных. На допросе у Ивана рыцари держались гордо, отказались признать его своим владыкой, а маршал Филипп Бель попрекнул царя бесчинствами татарских орд.

Филиппу Белью лучше было молчать. Сам свирепствовал над чухнами не хуже татарина.

Но и царь поступил с немцами негоже. Филиппа Беля, его брата Вернера, контура гольдингенского, а с ними еще трех рыцарей — Генриха фон Галена — фогта баушенбургского, Христофа Зиброва, фогта кандавского, и Рейнгольда Зассе — провели ради потехи по московским улицам. С рыцарями погнали дряхлого Фирстенберга.

Окруженные стрельцами и царевыми ближними дворянами — Малютой Скуратовым-Бельским, братьями Грязными, Шуриновыми, Яковлевыми, — рыцари медленно брели меж густых стен набежавшего народа.

Без шуб, в одних камзолах, с непокрытыми головами. Христоф Зибров

— хромая на пробитую пулей ногу, Фирстенберг — опустив трясущуюся седую голову и плача, Филипп Бель — яростно стиснув зубы и упорно глядя в ледяную синеву январского неба, фон Гален — вопя о пощаде, а Вернер Бель — тычась из стороны в сторону, как слепой, и то и дело падал от слабости, шли рыцари.

Дворяне непрерывно били их тугими, из бычьей кожи бичами. Бичи излохматили одежду на плечах и спинах пленных. Свистя, рвали их тела. На Ильинке бич Васьки-Грязного выбил правый глаз Филиппу Белю. Глаз выкатился и повис на щеке кровавым яблоком. Бель пошатнулся, но не вскрикнул, лишь еще выше вскинул голову.

— Народ! — пьяным, дурным голосом кричал Григорий Грязной. — Гляди на кровопивцев христианских! Гляди на супротивников великого государя Ивана Васильевича! Повелел царь за беззакония и издевательства над православными мучать и казнить сих аспидов и насильников!

Народ глядел. Питухи кривлялись и швыряли комьями снега. Бабы крестились и плакали. Торговый и мастеровой люд угрюмо молчал.

Расходились, пряча друг от друга глаза.

Иван Федоров не пошел на Болото, где рыцарям отрубали головы. С тяжелым сердцем побрел домой.

Если были рыцари мучителями, варварами, насильниками, должен был, обязан был казнить их царь.

Но глумиться над безоружным и беспомощным противно учению христианскому.

Ничем государь рыцарей не унизил, только мучениками выставил, жалость к страданиям их пробудил.

Зачем? Зачем?

Еще нестерпимей стало, как умерла царица Анастасия, и начались гонения на родных и ближних Адашева.

Болезненная, тяжело перенесшая роды трех сыновей и двух дочерей, царица давно прихварывала. Летом семь тысяч шестьдесят восьмого года, испугавшись пожара, она занемогла и скончалась.

Враги Адашева и Сильвестра в открытую по всей Москве кричали, что Анастасия отравлена по наущению опального попа и опального окольничьего.

— А поп Сильвестр и ранее чары на царицу напускал! — твердил знакомым боярин Алексей Басманов. — Иезавелью называл кроткую сию голубицу, над следами ее бормотал! Я сам видел! Давно батюшке царю сказываю: зловреден и худ попишка! Казни достоин лютой!

На Москве знали: Басмановы злобствуют на Адашева за прошлые его

суды над ними, а на Сильвестра — за поддержку Адашева, за то, что дураками неучеными Басмановых в глаза называл.

Но царь поверил наговорам на прежних советников. Не позволил Адашеву и Сильвестру, просившим о суде, явиться в Москву.

Алексея Адашева взяли под стражу, посадили в темницу в Дерпте и там, в каземате каменном, в холоде, держали больного горячкой, пока не умер.

Сильвестра же осудили соборно в его отсутствие, сослали в Соловки, и по дороге Сильвестр, если верить слухам, пропал...

Митрополит Макарий поначалу пытался заступиться за обвиненных, пытался говорить царю, что негоже людей судить, не выслушав, но Иван Васильевич распалился обидой, отказался принимать Макария, и тот отступился от несчастных.

Маврикий тревожным шепотком поведал Федорову:

— Слышь, крикнул государь владыке нашему, что Иоасафа он ему заступой напомнил... Горе!

Федоров покачал головой. Иоасаф-то Шуйскими прогнан был... Нехорошая угроза! Недостойная царя. Противная церкви. И не к добру, что царь и митрополит не едины...

Говорят, очень любил царь Иван Анастасию, убивается, оттого и все беды. Но коли так сильно любил, зачем же на восьмой день после смерти Анастасии посольство в Краков наладил к польской принцессе свататься?

Зачем, как прежде, в разгул ударился?

Срамно слушать о том, что творит на пирах Иван Васильевич. А к этим срамным, поносным слухам еще и кровь примешалась невинная...

В ужасе стыла толпа на Болоте, как казнили родню и ближних Алексея Адашева.

Дьяки вычитывали народу с государевых грамот:

— «За злодейства, за умышления на жизнь государя всея Руси...».

Ну, пусть так. Пусть Данила Адашев виноват, пусть его тесть Туров, хоть и дряхл, тоже виновен, пусть братья жены Алексея Адашева — трое Сатиных — виноваты, пусть Алексеева приятельница, Мария, хоть и славилась доселе благочестием, худое замышляла! Пусть!

А двенадцатилетний сын Данилы, которого палач на глазах отца за волосы к плахе тащил, — разве он виноват?

Детишки Ивана Шишкина мал мала меньше — одной девке шесть лет, — топором изрубленные, разве они виноваты?

Пять сыновей Марии, все малолетки, положившие на плаху синие от мороза шейки, — тоже вороги?

Рыдала Москва, глядя, как пьяные палачи держат бьющихся детей, словно курчат, левой рукой, а правой топоры заносят.

По-иродовому сотворено. В забвении заветов божеских. Тошно от сего. И не верится, не верится в вину Алексея Адашева!

Кто бы другой изменил, поверил бы, а Адашев... Кто сочинения Ивана Даниловича Пересветова о султанине Махмуде первый перебелил? Алексей Адашев! А о чем сии сочинения? О том, что государю неверных бояр надо извести, на служилых опираться, одному царствовать! Кто первый сии сочинения читал и хвалил? Алексей Адашев! Кто жизни и трудов не жалел для державы? Алексей Адашев! И вот — изменник...

Эх, кабы еще не помнить прощальных слов и горькой улыбки его! Может, легче было бы! А так нет покоя. К тому же неслышный, как тень, подползает к сердцу страх. Давно уже не оставляет он Ивана Федорова, и не без причины: один за другим исчезают без следа люди адашевского приказа, его слуги, даже случайные знакомые. Иные, убоясь такой судьбы, бежали из Москвы. Им учинен розыск. Стрельцы хватают семьи бежавших.

Господи! А вдруг и тебя обвинят в злоумышлениях? Мало того, что Сильвестра и Адашева знал, за листами к ним ходил, ведь и доньне. Апостол выверая, все делает, как задумано было.

Не одни русские тексты берет, а и греческие и немецкие и, как в первых книгах печатных, все иноязычные, чуждые русской речи слова уничтожает, заменяет родными, понятными.

Поступить иначе постыдно. Негоже из-за страха невеждам: уступать и корыстолюбцам, кои святое писание и то у простого люда отнять хотят! А что скажет простому человеку слово «макелия», во всех рукописных апостолах употребляемое? Да ничего. Вот и станет недоумевать, а то и просто рукой махнет на чтение книг, где слова непонятны. Не лучше ли перевести их? Тогда прочтет человек вместо «макелии» простое русское слово «торжище» и все уразумеет!

Надо переводить непонятные слова, надо заменять старые новыми! И Иван Федоров их переводит и меняет. И пишет текст будущего Апостола по-московски, а не так, как в Болгарии и Черногории писали.

Больше того. Он еще и отсутствующие в русских списках фразы в текст вводит, чтобы понятней был, беря их из латинских книг, ибо латинские книги во многом полнее и точнее. Это Максим Грек ему показал...

Но страшно! Как еще глянут на такую работу. Раньше царь, к простому люду прибегая с жалобами на бояр, одобрял живые слова, а как нынче глянет, когда только одного себя признавать стал, забывает о народе?

Страшно, тревожно!

Настала было передышка — женился царь Иван Васильевич спустя год после кончины Анастасии на черкесской княжне Марии Темрюковне. Второй брак греховен, но собор разрешил Ивану Васильевичу жениться, и Федоров знал: надеется митрополит, что утихнет горе царя, прекратятся новые бесчинства Ивана. И похоже, пришел в себя царь. На Полоцк сам войска повел. Въехал в сдавшийся без боя город и над своими не зверствовал, только иудеев в Двине перетопил.

Да недолга передышка вышла! Рухнули надежды митрополита Макария, как воротился Иван Васильевич в Москву. Заново без памяти пить начал, всякие еллинские беспутства с женками, шутами и розовоморденьким Федькой Басмановым принялся творить.

И опять начались казни. Теперь боярские.

Боярин Дмитрий Овчина-Оболенский попрекнул наглого Федьку Басманова за то, что неподобающим образом в первые бояре лезет. Не головой берет...

Царские псари по слову государеву столкнули Овчину-Оболенского в винный погреб и удавили, а царь незнающим прикинулся, послал поутру к несчастной вдове спрашивать, как спалось боярину...

Боярин Михаил Репнин не позволил на седины свои шутовскую маску натянуть — умертвили. Князя Дмитрия Курлетева, воеводу ливонского, без суда в Каргопольский монастырь с семьей сослали и там вместе с женой и детьми убили. Князя Воротынского без суда убили. Князя Юрия Кашина с братом убили. Никиту Шереметева убили...

Нет казням конца! Любой извет царю мил, коли на боярина сделан. Оклеветанных не спрашивают ни о чем, а удавливают, топят, волокут на плаху. Теперь и бояре трясутся, перепугались. Иные вроде дьяков адашевских все имения кинули, побежали в Литву и Польшу. Царь же на оставшихся еще пуще разъярился. Заставил всех поручные записи давать, что не изменят. С Глинских, Мстиславских, Телятевских, Умных, Михайловых, Горенских, Романовых, Васильевых — со всех взял!

А притихли бояре — и тут нашел способ на них напасть. Подучил боярина Вельского, за коего множество знатных родов десятью тысячами золотых рублей поручилось, сказать, что хотел бежать к Сигизмунду-Августу. Вельского «простил», а поручителей в пытошную кинул...

Не знавался Иван Федоров с боярами. Не звали его в боярские дома на пиры ни раньше, ни теперь. Больше того. Царев двоюродный брат Владимир Андреевич Старицкий хулил всюду печатное дело, печатников сатанинскими слугами называл.

Также и бояре Колычевы и те же Шереметевы толковали. Плевали, мимо печатного двора проезжая. Писцов научали всякую пакость про Федорова и товарищей его по Москве разносить.

И много неправд всему люду чинило боярство.

Все так.

Но почему же без суда, всех без разбору, царь сечет?

Не все ж бояре вроде Старицких да Колычевых.

Нешто князь Курбский таков? Нешто Овчина-Оболенский таков был? Книжники, ратники, великой чести мужи!

Иван Федоров не понимал: что же творится?

Как-то Ивана Федорова призвал митрополит Макарий. Войдя в покои, Федоров удивился и растерялся. Знал, что болеет Макарий, но не думал, что так плох он: от прежнего бодрого старца ничего не осталось.

Сидел в глубоком немецком стольце седенький, исхудалый старичок с трясущимися желтыми ручками, не мог толком и благословить вошедшего.

Страшная мысль остановила Федорова на пороге: это не митрополит!

Но знакомый голос слабо позвал: «Приблизься!» — и нелепая мысль отлетела.

Наверное, Макарий заметил во взгляде Федорова сострадание.

— Вот, нахожусь предела трудов земных... — проговорил Макарий.

— Даст бог, оздоровеешь, владыка, — пробормотал Федоров.

— Не утешай. Смерти не боюсь. Смерть отдых грешному... Страшусь уйти, дел не свершив...

Митрополит помолчал отдыхая. Почтительно молчал и Федоров.

— Готовы ли станки? — спросил Макарий спустя минуту.

— Вот-вот завершим с ними, владыка. С красками бьюсь, да печи еще не сложили.

— Торопи народишко, торопи... С краской-то что?

— Крепости нужной не имеет. Цвет не густ.

— Немцев спрашивал ли?

— Спрашивал. Теперь сам мудрую.

Митрополит кивнул.

— А листы-то сверенные бережешь?

— Пуще глаза берегу.

— То-то... А как новые сверяешь?

Федоров вскинул глаза, помедлил. «Признаться? Но митрополит болен... Только утруждать...»

— Сверяю, сколь разума хватает...

Митрополит вздохнул.

— Смотри не мудрствуй. Не прикинул, велик ли Апостол в печати получится?

— Около трехсот листов, владыка. Это коли по двадцать пять строк на страницу класть.

— Длинна ли строка?

— По три десятка букв.

— На сколь книг бумага хватит?

— Книг на четыреста, владыка.

Макарий перекрестился, даже улыбнулся слабо.

— Господи, господи! Чудо истинное содеем!.. Не ошибаешься ли в числе великом?

— Не ошибаюсь, владыка. Не раз считал. Четыреста книг напечатаю.

— Помоги тебе господь!

Митрополит опять умолк. Смотрел на печатника. Думал. Видно, хотел спросить о чем-то. Наконец промолвил:

— Не перевелись еще хулители?

— Таить не буду. Не перевелись. Да в открытую бранить не смеют. Боятся, знать.

— Кого?

Федоров запнулся, опустил голову, выдавил из сомкнутых губ неохотное признание:

— Государя, владыка...

— Сказывай, что на Москве толкуют. Не таись. Говори, как перед богом!

Федоров медлил.

— Говори же! Не лукавь!

— Толкуют, владыка, всякое... Ненавистники царя с Саулом, от коего господь отступился, сравнивают... А народ и многие верные слуги государя душой томятся. Скорбят о нем. Не разумеют, отчего столь много крови проливается... Опасаются бед от сего неисчислимых...

Митрополит слушал, наставив ухо. Желтые ручки на крыльях стола дрожали. Ответил не сразу. Цепляясь пальцами за панагию, будто ловя ее, медленно, с перерывами, заговорил:

— Сомнение в царе сомнению в божии равно... Поступки государя несудимы... Гнев его — гнев божий... Ожесточили царя слуги нерадивые,

ленивые, неверные... Власть царскую умалить хотят... Умаление же ее — умаление церкви Христовой. Зане беспомощна она без меча мирских владык... Кротости, любви и мира жаждем — реки крови перейти должны... Тяжкий удел на долю государя выпал... Оттого мучается, в сомнениях и тоске мечется... Человек есть... Но не зри слабости его. Зри силу его. Зри венец его!.. И делай дело свое на благо государю! Тако утишишься...

Федоров набрался смелости сказать:

— Боюсь, владыка, что ревнования мои недруги оборвать могут.

— Пошто боишься?

— К Адашеву ходил... Колыметов знал... Других прочих людишек...

— Не бойся. Пока жив, заступлюсь... Напомнил, замолвлю слово государю...

Федоров кланялся.

— Ну, иди с богом... Маврикию сказывай, как работаешь... Чтобы я все ведал...

— Непременно, владыка!

Возвращаясь домой, Федоров с невеселой усмешкой подумал о том, что митрополит обещал заступаться, пока жив... А долго ли жить Макарию осталось?

Но все-таки это свидание ободрило печатника.

В апреле семь тысяч семьдесят первого года московская печатня была достроена.

Бревенчатые, обшитые тесом, высокие стены ее, поднявшиеся рядом с обветшалыми постройками Никольского монастыря, почти напротив казанского подворья, под весенним солнцем сияли яичной желтизной.

У крепких ворот встала стрелецкая стража. Заиграли, отбрасывая солнечных зайчиков, лезвия бердышей.

Любопытный люд, раззявив рты, дивился на высокий забор, из-за которого пахивало дымком, железом и еще чем-то диковинным, непривычным православной Москве: то пахло варившейся краской.

Напершим на самые ворота зевакам стрельцы деловито давали по шеям: проходи, не толпись, нечего тут!

Выползшая в погожий день из запечья затрюханная просвирня, ковыляя помаленьку в Богоявленскую церковь, видя, что народ кучится вблизи печатни, о чем-то толкует, тоже влезла в толпу, тыкалась от кучки к кучке, подслеповатыми глазенками пялилась в лица говорящих, пыталась по движению губ догадаться, о чем шумят.

Так и не догадалась.

Торкнула клюкой ближнего мужика в синем кафтане.

— Родимый! Пошто народ набежал? Ай икону встречают?

— Икону! — зло фыркнул мужик, недавно получивший бердышом по загривку. — Как же!.. Дьявола тут встречают!

Просвирня обмерла. А народ так и теснится вокруг. И каждый толкует свое. Кто говорит: в латинскую веру тут крестить будут. Кто — священные книги жечь. Простой-де огонь не берет божье слово, так наладили печи огромные, порошок немецкий в них палят и тем порошком надеются истинные писания извести...

— Вре-е-ешь! Правду порошком не возьмешь!

— Слово-то божье патриархи в душе хранят!

— Народ! Разойдись! Не воруй!

— Бей! Бей! Битьем истину не задушите!

— Дурак! Сволочь! Тут святые книги государь ладить приказал!

— Не слушай, православные! Врут! Святые книги старцы и писцы перебеляют!

— А-а-а! Врем?! Бери его, Федот!

— Братцы, ратуйте!

— Мы тебе покажем «ратуйте»! На дыбе объявишь, чьи слова повторял! Эй, робя, на помощь!

Подскакали конные стрельцы.

— Что такое?

Воровал противу государя! Печатные книги дьявольскими объявил.

— Не говорил, не говорил я сего! Перед богом...

— А ну, заткнись! Дай ему, Фролка! Бери на веревку! Волоки!

— Ра-а-а-туйте!

Человек со связанными руками бежит за стрелецкими лошадьми вниз по Никольской. С разбитого лица каплет кровь. Изо рта тоскливый вопль:

— Ра-а-атуйте!

Сияют под весенним солнышком тесовые стены штанбы государевой.
Весело посверкивают бердыши стрельцов.

А народ норовит обойти проклятое место сторонкой, неприметно перекрестясь, отворотя лицо.

Недобрые взгляды провожают печатников, входящих в ворота двора.

— Московский люд темен! — сокрушается Петр Тимофеев.

— Ваши-то литовцы печатню Скарины тоже подожгли! — пытается защититься Иван Федоров.

— Это было очень давно, Иван! Теперь печатники в Литве в большом почете.

— Дай срок, и у нас уразумеют... Вот погоди, освятит митрополит штанбу — перестанут коситься.

Печатню освятили при великом стечении народа.

Царь приехал на Никольскую с толпой бояр и дворян. Вылез из возка, перекрестился, пошел меж стрельцов в главную избу, к станкам.

Печатники, одетые празднично, в цветные шелковые рубахи, в лучшие кафтаны, ждали государя, стоя у своих мест.

Иван, высокий, но сутулящийся, с припухлым, пожелтевшим лицом, первым делом глянул в красный угол. Долго крестился на яркие, со тщанием выбранные для двора иконы. Велел дьяку Мятлеву:

— Показывай!

Дьяк, кланяясь, называл печатников. Царь быстро оглядывал каждого темными, ничего не выражающими глазами.

Обошел станки, потрогал шрифты, бумагу. На листе, к которому он прикоснулся, остался темный след свинца. Царь глянул на руку, обтер ее поданным платком. Кивнул.

— Приступайте, приступайте! — зашипел Мятлев. Батырщик, на которого шипел дьяк, беспомощно и тревожно взглянул на Федорова. Государь стоял возле ведерка с краской, батырщик не мог смазывать литеры, не задев и не испачкав царя.

Шагнув вперед, низко поклонясь, Федоров попросил:

— Подвинься малость, батюшка царь! Не ровен час замараешься...

Мятлев выпучил глаза, побагровел и побледнел. Иван растерянно посмотрел на ведерко с краской, на свой кафтан и невольно отодвинулся.

— Спаси тебя бог, государь! — вновь поклонился Федоров. Теперь, если дозволишь, начнем.

Мятлев свирепо грозил кулаком. Царь, слабо усмехаясь, спросил:

— Помешал я тебе, значит?

Бояре знали эту слабую усмешку, этот почти покорный голос и замерли не шевелясь.

Низко-низко склонился Иван Федоров перед царем, а выпрямив спину, спокойно глядя в темные глаза, твердо и просто сказал:

— Государь! Единый ты нам властелин и заступник. Родил нас, призвал и щедротами не оставляешь ни на часец. Как мог ты помешать? Ясное солнце только тьме мешает, гонит ее прочь. Мы же по воле твоей царскому христианскому свету, истинам добра и любви служить пришли. По твоей великой воле, твоими заботами тщились сделать как могли лучше... Дозволь показать искусство, тобой облагодетельствованное, государь!

Царь, слушая речь Федорова, успокоился. Отрывисто похвалил:

— Прям... Как звать?

— Иван, сын Федоров, государь.

— Помню. Митрополит о тебе говорил... Спасибо те, Иван, что порадел об особе моей, и за слова твои спасибо. Ну, кажи мастерство!

Иван Федоров подал знак тередорщику и батырщику, перекрестясь, взял лист бумаги, наложил на смазанные краской литеры. Станок пришел в движение. Без скрипа скользнул вниз пиан, притиснул бумагу к буквам, прижал плотно. Без скрипа же и поднялся.

Бережно отняв отпечатанный лист, еще сырой, вкусно пахнущий краской, Иван Федоров передал его прямо в руки царю.

Бояре и дворяне привстали на цыпочки, вытягивали шеи.

Царь цепко держал плотный лист. Щурился.

На листе четко и ясно, невиданно красиво лежали буквы. «Деяния Апостольские. Послания Соборные и Святого Апостола Павла Послания...».

Иван Федоров тем временем быстро сменил наборную форму. Опять заскользил пиан. И новый лист сошел со станка.

В алую и черную краску. С большой дивной заставкой. С великолепной, в орнаменте, буквицей. С четким, легким рисунком знаков.

И царь заулыбался. У него давно не было такой веселой улыбки. Он давно не мог ничему порадоваться. Вести из Ливонии не приносили сообщений о победах. Отовсюду стекались жалобы. Каждый день поступали доносы на ближних. Иноземные и свои враги упорно противостояли всем замыслам. Ничего не удавалось последнее время... Казалось иногда, что втуне все: походы, бои, новые уложения, казни и

пытки. Все обречено на неудачу. Боялся, что и печатники доморощенные подведут, осрамят, выставят на посмешище с новой затеей. Станут тогда хихикать ненавистники, глумиться: денег-де ухлопали уйму, а зря... Пустое придумывает царь!..

Теперь затихнут, змеи подколенные, с шипением своим!

Вот она, печатная книга, по его царской воле сработанная. Дивна красотой. Невиданно изукрашена. Ни одной иноземной рядом не лежать!

Царь не мог оторваться от листов. На щеки его пробился румянец. Тусклая вода темных глаз заискрилась.

Эти первые печатные листы словно убеждали, что нет деяний неисполнимых, нет подвигов несовершенных.

Можно все содеять, все замыслы воплотить, как воплотился вот этот — с печатней!

Царь вернул листы Федорову, ревниво и бережно принявшему их.

Выпрямился.

Обернулся к сопровождавшим.

— Зрели, что верность государю и усердие творить способны?

— Зрели, зрели, государь!

Губы Ивана покривились.

— Вот кабы все вы, как сии печатники, по вере и державе ревновали! Простые мужи, а вас умом превосходят и честью. Не землишку клянчат, не почестей ищут, а путь тропят к престолу господню...

Царь оглядел взволнованных, сбившихся возле станка мастеров.

— Хвалю!.. Доказали, что можем латинян во всем превзойти! Что с нашей верой истинной еретикам не тягаться отныне!.. Дарю всех месячиной. А вас, — он ткнул перстом в Ивана Федорова и Петра Тимофеева, — вас еще шубами с моего плеча... Мятлев! Попомни!.. Вы же — слышьте! — вы не ослабляйте усилий своих! Несите людям слово божье в чистоте, как первые апостолы несли. Просвещение слепых и во тьме блуждающих доверил вам и с вас же спрошу за небрежение!.. Слышали?

— Слышали, государь! — за всех ответил Федоров.

— Не забывайте! А вам, бояре и дьяки, мой особый наказ: мастерам печатным помехи ни в чем не чинить, в деньгах и бумаге не утеснять их!

Вперед выдвинулся дьяк Иван Михайлович Висковатый.

— Исполним, как сказал, государь.

Царь поклонился иконам, перекрестился и двинулся к сеням. Уже в дверях остановился, повелел:

— Первые листы мне пуцай пришлют. Ныне же.

Печатники остались одни. Андроник Тимофеев пожал руку Федорову.

— С удачей тебя, Иване! Гляди, в цареву милость взойдешь!
Федоров обнял его.

— И тебя с удачей! Всех вас, ребята, с удачей! Господи! Сбылось!
Начнем теперь работать от души...

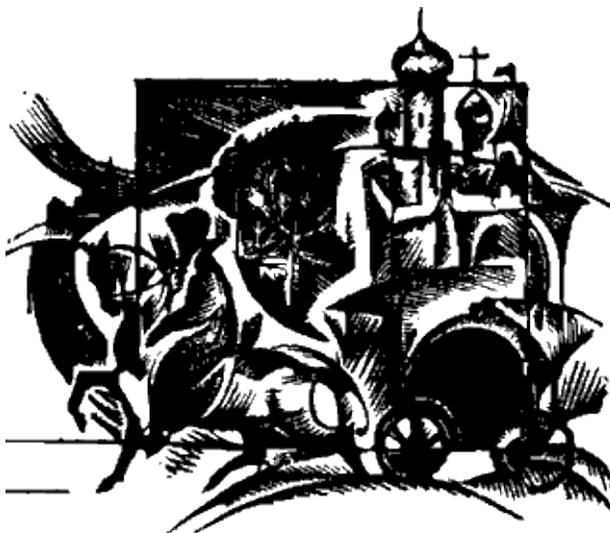
Веселые покинули двор. Стрельцы заперли за печатниками ворота. На Никольской еще не разошелся народ. Обступил Федорова и товарищей.

— А ну, годи! — сказал Федоров своим.

Он обвел толпу радостным взглядом, расправил плечи:

— Люди московские! Ныне наладили по царскому велению штанбу для книг! Призваны ересь посрамлять и латинян, и посрамим их во славу церкви и всего люда христианского! Зане веруем в господа бога нашего Иисуса Христа и святую троицу! Зане вам послужить хотим!

ГЛАВА VII



Митрополит Макарий тихо скончался полгода спустя после открытия печатни.

Накануне его навестил государь. Долго пробыл один у постели умирающего, вышел из опочивальни быстрым шагом, ни на кого не глядя, дергаясь лицом.

Маврикий, постаревший, осунувшийся, тайно поведал Федорову: умолял митрополит царя учинить мир в царстве, не казнить более бояр, оставить пьяное питье и разврат.

— А государь?

— Бегал по опочивальне, жаловался, бранился... Сказал, что не хочет о боярах слышать. Что не митрополитово дело сие — за изменников заступаться...

— Да-а-а...

— Большим бедам быть, Иване! Чую! — озирнувшись, молвил Маврикий. — Уж если и с церковью святой государь ссору замыслил, не видать добра на Руси...

Федоров молча кивнул головой.

После отпевания Макария он не пошел в печатню, ноги сами привели к дому.

Сидел, положив голову на руки, думал.

Многим он был обязан митрополиту. В Москву призвал, поддерживал, если трудно приходилось, от клеветы защищал... Был добр и заботлив, и хотя не всегда прям, а порою лукав, слаб, как всякий человек, но стремился,

чтобы по правде жизнь учинилась, всем блага хотел...

Кто заменит Макария? Нет равных ему по уму среди нынешних архиереев. Не будет больше рядом с царем духовного отца, который мог бы смягчить сердце Ивана Васильевича.

Что-то ждет теперь государство?

Как своя судьба сложится?

Не поднимут ли головы старые враги?

Опасения Ивана Федорова начали сбываться поразительно скоро.

Уже на пятый день после избрания в митрополиты архиепископа чудского Афанасия новый владыка призвал к себе печатника.

Маврикий успел предупредить:

— Навет на тебя...

Афанасий был толст, лицом кругл, но полнота его шла, видно, не от здоровья, а от скрытых немощей. Карие, с неуловимым взглядом глаза нового митрополита — в непрерывной мышинной беготне.

Начал Афанасий с визга. Потрясал каким-то листом, не давая его Федорову в руки, поносил печатника, не скупясь на грязные слова.

Иван Федоров угрюмо ждал, когда Афанасий выдохнется.

Потом спросил:

— Пошто срамишь? В чем я виноват?

— На колени, на колени стань, раб лукавый! С кем говоришь, язычник? Страх божий потерял!

Иван Федоров, потемнев, опустился на колени.

— Распустил вас покойный Макарий, царство ему небесное! Распустил! Воли много дал! Возомнили о себе!.. Ты кто есть?

— Государев печатный мастер.

— За что сана лишен?

— Не лишили меня сана... Жена у меня умерла...

— А с какой бабой послы жил?

— То мамка сыну была, владыка.

— Врешь, сатана! Всем ведомо!

Иван Федоров молчал.

— Признавайся, пес! Принеси покаяние!

Федоров через силу проговорил:

— Каюсь, владыка... Да то давно было...

— Молчи! Давность греха не оправдывает! Суесловить привык, гляжу! Ты что ж? В блуде жил и священных книг касался, нечестивец? А?

— Касался, владыка.

— Ага!.. Правду, стало быть, что не считаешь ты бога! Правду? А?

Иван Федоров поднял мрачные глаза.

— В господа бога нашего верую свято.

— Свято? А пошто латинские книги хранишь? Пошто с лютеранской библии рисунки срисовывал?

— Латинские книги мне покойным митрополитом дадены. Он же и срисовывать с них велел.

— Не клевети!

— И сам государь Иван Васильевич наказывал за образец их брать.

Афанасий немного утих.

— Спрошу государя.

— Спроси, спроси, владыка. Государь нас много за рисунки хвалил.

Иван Федоров был доволен, что хоть здесь уязвил Афанасия, сразу растерявшегося, как услышал про царскую похвалу. Но и митрополит не остался в долгу.

— Те книги мне принесешь. Погляжу...

Маврикий, бледный, скучный, утешил:

— Ништо... Меня тоже бранит... Не противься.

— Я царю доведу! — возбужденно сказал Федоров. — Ни за что хула!

— Лучше стерпи, — упавшим голосом посоветовал Маврикий. —

Стерпи...

В разряде по-прежнему давали печатникам жалованье, дьяк Иван Михайлович Висковатый, наблюдавший за печатанием Апостола, раза два требовал на просмотр готовые листы, но вернул их без замечаний, ничего не сказав, и по всему чувствовалось: печатней никто не интересуется. Митрополит Афанасий, как доводил Маврикий, и вовсе посетовал однажды, что с книгами печатными связались. Дорого-де и хлопотно и в нарушении обычаев... Только писцов обидели.

Чтобы поменьше раздумывать, Иван Федоров торопил товарищей с работой и сам с утра до вечера стоял у станков, помогал печатать, вычитывал пробы, выправлял наборные формы.

Приходя домой, валился спать. Почти не говорил с сыном, которого обучал переплетному делу. Сын все равно бы не разделил отцовских тревог. Не интересовали его книги.

Только одного хотелось Федорову: закончить работу над Апостолом без помех.

За светлыми, венецийского стекла окнами штамбы занимались и гасли зори, а потом небо обволоклось в серую дерюгу сентябрьских облаков, заплакало безземельной вдовицей, и по стеклу поползли тяжелые слезы...

Иван Федоров и Петр Тимофеев работали.

В иные дни упорного труда им удавалось оттиснуть по двадцать пять листов текста для четырехсот томов Апостола.

По десять тысяч раз за день поднимался и опускался пиан, десять тысяч раз руки брали бумагу, укладывали под пресс, нажимали на рычаги, снимали готовые листы, вешали их для просушки.

Поутру на свежую голову листы лишней раз вычитывали.

Снова и снова скользил пиан, шуршала бумага, скребла по набранным формам маца, и снова сушились готовые оттиски.

От едких запахов першило в горле. Печатники покашливали, отворачиваясь от формы и бумаги. У Федорова к концу дня начинала болеть голова. Он не жаловался. Только прикрывал порою глаза, обманывая самого себя выдумкой, что так легче...

В иные дни, проснувшись, Федоров чувствовал: нет сил подняться, идти на Никольскую, отпирать двор и опять до вечера стоять на ногах, подкладывая бумагу под равнодушно опускающуюся доску.

Казалось, ничего не случится, пропусти он сутки, отдохни, полежи на постели, потолкайся, как все люди, в рядах или на Троицкой площади...

Но поддайся он слабости, уступи себе, так и потянется — сегодня листов не допечатал, завтра, послезавтра... А время не ждет. Зла в мире не убавляется. Горя не стало меньше. По-прежнему народ не читает книг — так они дороги, редки и непонятны, и оттого плутает во тьме, не зная верного пути ко всеобщему счастью. Ты же мог людям помочь, да пренебрег долгом своим.

И каждое утро Иван Федоров шел знакомым путем из Зарядья на Никольскую.

Пусть вечером ломило все тело. Пусть болела голова. Но каждый день к отпечатанным листам прибавлялись двадцать — двадцать пять новых. Кипы готовых оттисков росли. Работа подвигалась вперед.

Первая, доселе невиданной красоты книга, русская книга, должна была скоро явиться всему миру.

Иван Федоров не считал великой и непомерной цену, которую платил за нее.

Он радовался своему труду.

И в марте семь тысяч семьдесят второго года все листы Апостола были отпечатаны и переплетены.

Напечатал Федоров свой Апостол так, как задумал. Заменял все непонятные слова русскими, сделал нужные дополнения, иные из которых сочинил сам, чтобы раскрыть смысл и соблюсти дух книги, искоренял древнюю форму написания слов.

На что идет, понимал. И на последних листах напечатал свое послесловие. Рассказал, как шли поиски печатного мастерства, как долго готовилась сия книга, и чтобы не возникало ни у кого сомнений, кто решился на такой труд, назвал себя и Петра Тимофеева делателями книги.

Под конец же написал, что будет рад и впредь трудиться над печатными книгами, если будет на то воля божья...

Божья воля...

Взяв в руки приготовленный для царя Ивана Васильевича том — тяжелую, переплетенную в алый сафьян, с медными уголками и застежками книгу, — Иван Федоров долго задумчиво смотрел на нее...

— Ты что? — спросил Петр Тимофеев.

— Так... — тихо ответил Федоров. — Так... Ничего...

Печатники хотели сами снести книги царю, но в Разрядном приказе им ответили, что обойдутся без мастеров.

— Ступайте к себе и занимайтесь, чем велено! — сказал Федорову какой-то новый дьяк. — Нечего тут...

— Вот и отблагодарили, — усмехнулся Петр Тимофеев, когда они возвращались из Кремля. — Щедро...

— Не для дьяка сего, для народа православного трудились! — хмуро возразил Федоров. — Для бога! От него и награду жду!

Петр Тимофеев вздохнул и смолчал, как всегда.

Ползают по Москве зловещие слухи, а то, что творится, страшнее самих слухов. Напуганные казнями, бояре и служилые люди царя клеветают друг на друга, а запутавшись, бегут прочь из Руси, кто в Литву, кто в Польшу. Не удерживают беглецов и поручные записи, даваемые за них царю родней и близкими. Не удерживает страх потерять землю и все имущество, не удерживает мысль, что за тебя поплатятся поручители... Лишь бы голова цела осталась! Поручители авось выкрутятся, землишку и у Сигизмунда получить можно, а новой башки никто на плечи не приставит!

Бегут, бегут людишки! В Кракове и Вильне по этому случаю ликование, паны охрабрились, опять поход на Русь замышляют. Известно к сему, что и хан Девлет-Гирей в Крыму зашевелился...

— Вот оно, начинается! — угрюмо говорил Федорову Михаил Твердохлебов. — Воевод распугали, народишко войной разорили, ворогов

раздразнили, теперь пляши! Царь-то опять запил, слышать?

— Михаил, негоже толкуешь!

— Полно те!.. Или по себе не чувствуешь, как царь-то заботлив?

— Царь, может, и не ведает, что дьяки бумаги не дают!

— Э, простота! «Не ведает»! Все он ведает! Это, милый, для дураков сказочка, будто малые людишки от сильного правду скрывают! Скажи, не хочет царь правды знать, тут я тебе поверю. А этак...

В словах Михаила Федоров угадывал правду. И это пугало больше, чем пьянство царя, чем слухи о его издевательствах над молодой царицей, даже больше, чем боярские казни...

Апостол развозили по государству. Появление его наделало шуму. В Москве кто бранился, кто радовался. Иные близкие боярству попы поносили Федорова, называли печатников еретиками. Совершили-де угодное дьяволу: отошли от древних рукописных книг, поклонились латине, исказили слово божье, проклятые! Иисус Христос у них ровно посадский мужик глаголет. Вон, к примеру, Савла наставляет: «против рожна не переть»! Где, когда слыхано подобное?.. Простое же духовенство хвалило книгу за понятность. Из далеких монастырей и скитов приезжали в штанбу монахи, просили продать книгу. Приезжие не рисковали появляться на Никольской, поджидали Федорова в его избе, просьбы свои передавали шепотом.

— Говори громко! Чего ты? — сказал Федоров одному монаху.

Тот затряс руками.

— Храни господь! Наказал игумен не подвести тебя!..

— Да книга-то в государевой печатне делана!

— Все, все понимаем! Да боимся, ополчатся корыстолюбцы...

Федоров был обеспокоен... Видно, никто не верил, что его новшества получат одобрение у митрополита и у царя.

Тревожило также, что из Александровой слободы ничего не слышно было об Апостоле. Понравилась ли книга царю или не понравилась? Чего ждать? Похвалы или кары?

Пуще же всего огорчало, что по-прежнему плохо с бумагой, что никого не беспокоит безделье печатных мастеров.

В ожидании каких-нибудь перемен, все равно уж, дурных или хороших, Федоров собрал печатников, объявил, что станут готовить к печати Евангелие и Псалтырь. Засадил всех за работу над заставками и шрифтами, а сам взялся за подготовку текстов.

Снова сходились на Никольской, резали доски и металл, спорили над рисунками, сверяли свои и иноземные книги, но как Федоров ни старался

оживить работу, видел: нет в людях недавнего огня, да и самому иной раз мерещилось, будто все невзправду делается.

Шел декабрь, трескучий, стылый. Начинали и кончали работу при свечах. В последний день месяца Василий Никифоров припозднился и в палату вбежал запыхавшийся, испуганным...

— Вы чего тут сидите? Али не знаете ничего?

— Что? Что такое?

— Государь Иван Васильевич с Москвы съехал!

— Как съехал! Куда съехал?

— Неведомо! Сейчас только... Вышел из Успенского собора опосля литургии, поклонился всем, сказал: «Покидаю вас! Худ я вам, знать! Живите сами!» — Сел в возок и поехал...

Оставив работу, печатники поспешили на улицу. Федоров заметил, что стрельцов у ворот нет. По Никольской вниз, к Троицкой площади, спешил народ. Смешавшись с толпой, печатники прибежали в Кремль. Никто ничего толком не знал. Бояре скрылись. Митрополит куда-то пропал. Дьяки из приказов разбежались. Стрельцы озирались, как затравленные звери, не зная, как поступать, когда толпа напирала на них...

— Дожили, православные! Без царя остались! — кричали в одном конце соборной площади.

— То бояре, царевы супротивники, во всем повинны! — стоном отзывалось в другом конце. — Режь бояр, православные!

— Теперь нас татарва и король Сигизмунд, как мальков, заглотят!

— Люди! Забыт бог на Руси! Правда христианская в крови утоплена!

— Врешь! Боярской крови не жалко!

— Где митрополит! Митрополита пода-а-ай! Пуцдай отвечает!

Грянул где-то залп из пищалей. Еще. Еще. Раздались вопли.

— Стрельцы по народу бьют!

— Беги!!!

Так же быстро, как набежала в Кремль, толпа схлынула. Стрелецкие головы разводили стрельцов по караулам. Наставляли бить по всякому, кто пускает смуту.

В Кремле удалось навести порядок. Но на московских улицах, в посаде, народ метался по-прежнему. Пограбили иные богатые дома. Расшибли царев кабак.

Священников, которые по наущению митрополита стали вразумлять народ, объясняли, что царь приболел, не слушали.

— Врете, долгогривые! Говорите правду, а то в Москву-реку кинем!

Попы заперли церкви, притаились.

3 января вся Москва сбежалась к Лобному месту, откуда государев служилый человек Константин Поливанов, прибывший из Александровой слободы, читал царскую грамоту к Москве.

Поливанов, высокий, громкогласный, читал, как рубил:

— «...И положил я гнев свой царский на архиепископов, епископов и все духовенство, на бояр и окольных, на дворецких и казначея, на конюшего, на дьяконов, на детей боярских и на приказных людей!..»

В грамоте перечислялись все хищения, все разорения, допущенные боярством в малолетство государя, перечислялись измены бояр, дворян и дьяков. Царь жаловался, что воеводы и бояре разобрали его земли, притесняют самовольно народ, убегают с царской службы, а когда он, Иван, хочет их наказать, находят поддержку и защиту у архиепископов и епископов.

— «Посему, — закончил чтение Поливанов, — я, ваш государь, не мог более терпеть и поехал поселиться, где господь бог наставит».

Толпа ждала продолжения, но Поливанов свернул свиток и сунул за пазуху.

Заголосила какая-то баба. Толпа ответила угрожающим гулом. Он нарастал. Ширился. Оглянувшись вокруг, Иван Федоров увидел темные лица, гневные глаза, стиснутые зубы...

— Народ! — раздался опять голос Поливанова, и гул смыло. — Народ! Вот еще царева грамота, к простому московскому люду... Слушай!

Толпа жадно окружила, облепила Лобное место. Не дыша, ловили царские слова о том, что на купцов, гостей, мастеров и прочих люд царского гнева и опалы нет. Что скорбит государь, вынужденный покинуть своих несчастных подданных...

И едва закончил Поливанов, как вся площадь взмыла в реве:

— То бояре царя выгнали!

— Все мало им!

— Царь о правде страждет!

— Убить! Убить!

— Убить!

Бояре, притиснутые к помосту, бледные, растерянные, тяжело дышали, отталкивали тянувшиеся к ним руки...

Нашелся, не потерял от страха разума только князь Петр Щенятев. Дородный, тяжелый, с неожиданной легкостью взбежал на помост, встал рядом с Поливановым, снял шапку, поклонился толпе.

— Народ московский! Дозволь слово молвить!

— Гони его!

— Все бояре одного поля ягода!

— Стой! Дай сказать...

Князь медлить не стал:

— Люди московские! Скорблю вместе с вами о гневе великого государя нашего Ивана Васильевича... Недруги извели царя, положили конец долготерпению его! Ведомы всем прегрешения Адашевых, Мстиславских, Телятевских и иже с ними!.. В пучину горя ввергнут ныне государь супротивниками!.. Нет и покойного митрополита Макария, чтобы поддержать государя. Митрополит Афанасий — а с ним прочие чины — негодные пастыри... Горе державе нишей! Горе православному народу!.. Слушай, народ!. Надлежит ехать к царю Ивану Васильевичу, молить, чтобы не покидал нас! Чтобы сменил гнев на милость! Чтобы воротился в царствующий град свой!

Толпа, сначала недоверчивая, подхватила:

— Ехать! Молить!.. Бояре и служилые виноваты — им и ехать! Пущай каются!.. Ехать!..

Долго бурлил народ. И тут же, у Лобного места, порешили отправить к царю бояр, митрополита и служилых людей, чтобы просили прошения, чтобы умолили Ивана Васильевича не оставлять трон, не покидать Москву.

Иван Федоров и Петр Тимофеев вечером сошлись у Андроника, пили мед, но не веселились.

Царская грамота не давала покоя.

— Теперь глаза открыл мне царь! — горячился Федоров. — Сам он мученик! Оттого и терзался, оттого в вине утешения искал... Пусть негоже сие, да понятно! А покаются бояре, настанет мир у нас.

Андроник неуверенно поддакивал, а Петр Тимофеев молчал.

Царь появился в Москве месяц спустя, 2 февраля. Москвичи ахнули, когда Иван, взойдя на Лобное место, снял шапку и поклонился им.

Стоял перед Москвою не тот высокий ростом и плотный телом Иван, каким видели его недавно, а сутулый, отощавший, с облысевшей желтой головой, с жидкой, вылезшей бороденкой и исступленным взглядом.

Бабы запричитали и заплакали. Мужики растерянно крестились.

Трясущимися руками Иван прижал в груди шапку.

Начал дрожащим голосом. Но, перечисляя обиды и измены, которые он терпит, распалился, голос возвысил.

Объявил, что решил внять просьбам, воротиться на царство, но в Москве жить не будет, а станет двором в Александровской слободе, и то, если согласится народ, чтобы царь, опричь прежних бояр и служилых, окружил себя им самим особо избранными верными людьми.

Из этих опричных людей будет он, царь Иван, сам выбирать бояр, окольничьих, дворецких, казначея, дьяков, приказных людей и мастеров.

Сам же определит города для кормления опричного люда. Людей же таковых надобна тысяча.

Коли согласен народ, согласен и он, Иван, царем быть...

— Согласны! Согласны!

— Делай как ведаешь, батюшка!

— Изменников, коли велишь, сами казним!

— Согласны на опричных!

Так кричала Троицкая площадь, и царь кланялся толпе. Потом выпрямившийся, улыбочивый, сошел с Лобного места, затворился в возке и покинул город.

— Как же это будет? — волновался Василий Никифоров. — Мало обычных бояр да дворян, еще новых наделают? И кем же царь править-то будет? Одними опричниками?

— Зачем? Как ранее...

— Да ведь ныне две земли будут: опричная и земщина... Ай не расслышал? Царь опричными владеет, а земщиной невесть кто...

— Н-да... Главное, куда нас определят.

— Поди, в опричнину.

— А коли в земщину?..

Никто ничего толком не знал, понять не мог. Федоров пошел в Разрядный приказ. Знакомый дьяк в ответ на расспросы развел руками.

— Про печатников ничего не сказано...

— А жалованье царево с кого получать?

— Да покамест не отменили, к нам ходите.

— Это как «покамест»?

— Да так сказалось... Нечто известно, что завтра случится?

Федоров с удивлением смотрел на дьяка.

— Но печатня-то государева!

— Оно так... Однако книги у вас духовные. Митрополиту бы вами ведать.

— А ты знаешь, какие деньги на печатню нужны?. Нешто у митрополита они есть?

— То не мое дело.

— Не твое — так и не толкуй! — рассердился Федоров. — Нынешний митрополит от печатных книг отрещивается.

Гневный и расстроенный вернулся Федоров к своим. Сказал о разговоре в приказе товарищам. Василий Никифоров почесал в затылке.

— Так дальше пойдет, подамся-ка я в родимые края...

Настало странное время. Никто печатников не торопил, никто ни о чем не спрашивал. Иван Михайлович Висковатый, коему надлежало наблюдать за печатными книгами, отъехал к царю. Стрелецкий голова Бурмин хоть и выставлял пока стражу к воротам, но грозился вскорости ее снять.

— Никто больше не велит мне робят сюда ставить!

Из Александровой слободы вести приходили одна другой чудней. Царь Иван-де устроил не двор царский, а подобие монастыря. Сам в этом монастыре за игумена, князь Вяземский у него келарь, Малюта Скуратов — пономарь, прочие опричники вроде братии. Царь подымается в полночь и вместе с сыновьями лезет на колокольню, звонит к полуночице. В четыре часа — к заутрене. Заутреню служит до семи, а в восемь у него уже обедня...

И ходит царь не в царских ризах, а в рясе и черном клобуке.

Вокруг же Александровой слободы, за три версты от царева монастыря, стоит стража и никого не пропускает.

Только в колокола-то царь названивает, а пьет и казнит по-прежнему, да еще девиц насилует привозимых ему, а потом, опозоренных, вешает своими руками...

Жить в Москве становилось страшно.

На улицах появились опричники.

Черные одежды, шапки черного меха, у седельного арчака — собачья голова и метла, под седлом — вороные кони...

По повелению царя между Арбатом и Никитской начали строить первый двор для опричников.

Москва то и дело узнавала: схватили родню князя Горбатого-Шуйского, запытали князя Ряполовского, а там просто ограбили купца, у бронника молодую жену свели, у золотых дел мастера, в земщине оказавшегося, все золотишко отняли, а золотишко-то чужое, на выделку отданное, мастеру в пору вешаться...

Однажды утром проснулись от ружейной пальбы: это царь подступил с дружиной опричников к Москве, осадил усадьбу князей Ростовских, побил княжеских слуг, князей убивает. Вскоре увидели дым: опустошенную усадьбу Иван сжег...

А в мае пришла из Ливонии весть: первый царский воевода,

победитель казанцев, немцев, поляков и литовцев князь Курбский бежал из Дерпта в Вольмар, передался королю Сигизмунду-Августу.

Царя измена Курбского убила. Запил мертвую. В порывах бессильного гнева то бранился, то плакал, то принимался с ожесточением пытаться близких Курбскому людей.

Иван Федоров ходил растерянный. Нельзя было осудить Курбского за то, что жизнь спасал, но и простить ему измену, переход к католику Сигизмунду тоже нельзя было.

— В скит бы ушел! В скит! — говорил Иван Федоров Петру Мстиславцу.

— Ровно ты не знаешь, что монастырские стены для царя не ограда, — возражал тот. — Эх, Иван...

А Михаил Твердохлебов угрюмо сказал:

— Теперь Ливонию потеряем. Помяни мои слова. Рано ли, поздно ли, а потеряем. Наши воеводы только отсиживаться за стенами горазды. В поле им не воевать...

ГЛАВА VIII



Звонят, звонят колокола московских церквей. Как год, как два, как три года назад. Но кажется: в гуле меди нескончаемая тревога, и глухие удары колоколов падают на город тяжело, как топор на плаху.

Горькое, страшное время переживает Русь! Москва замерла. Меньше народу, чем в прежние годы, толчется на Троицкой площади, нет изобилия товаров в лавках, люди неразговорчивы, торопливы, ходят с оглядкой, не устраивают пиров, рано запирают ворота, затворяют ставни...

Бывало, до полуночи песни слышны да девичьи визги, а ныне чуть смеркнется тишина, разве только копыта конские бешено простучат по улице, да раздастся стук в чьи-то двери, да отчаянный крик прорежет ночную тьму.

В соседних домах люди поднимают головы с подушек, прикладывают уши к стенам, приникают к щелям ставен. Оцепенев, смотрят, как волокут опричники связанных людей, крестятся...

Господи боже мой! Да что же это? Здесь-то какую измену выискали? С малолетства всех знали, ничего плохого за людьми не водилось... Так пойдет, гляди, завтра и тебя поволокут... Поволокут! Ведь кого только у изверга Малюты Скуратова да зверей Грязных в застенках не побывало!

И ремесленный люд на дыбах вздергивали, и купцов заживо в кипяток окунали, и попам с монахами кости ломали.

Ну, понятно, когда бояр-изменников не щадят. А мастеровой люд — какие изменники? Не изменники они, а страдальцы!

В каждом московском доме, перед каждой иконой возносятся молитвы к богу с просьбой избавить от гонителей, прибрать их.

И уже не без злорадства тайком передают слухи о новых юродствах царя, о казнях в самой Александровой слободе.

Малюта Скуратов волк, ему без чужой крови теперь дня не прожить. Приучил государя к наветам, если не станет их, безумный Ивашка самого Малюту, как барана, освежает. Вот и старается палач! Письма какие-то к боярам от Сигизмунда-Августа сыскал, подсунул царю.

Первым старик конюший Иван Петрович Челяднин поплатился. Царь, помнивший, что Челяднин — виновник гибели Глинских, силой заставил конюшего в царскую одежду облачиться, усадил плачущего на трон, а сам ползал, вопил:

— Пощади, государь! Пощади неразумного Ваньку! Не встану, пока не пощадишь!

Челяднин, не зная куда деваться, и прошамкал:

— Прощаю, прощаю!

Иван вскочил да ножом прямо на престоле и заколол конюшего. И жену Челяднина, старуху, казнил.

Жалеть Челяднина? А что его жалеть? Не по его ли наущению десятки других животом и именем поплатились?

Опричных бояр, казненных царем, тоже жалеть нечего.

А еще меньше служилых людишек царевых жаль.

Сами, сами на других клеветали, сами других лжой обносили, сами царю во всем потакали — вот им и казнь!

О господи! Да хоть бы царь их всех там казнил, всем головы посек да и сам бы в той крови поскорей захлебнулся!

А так и станется! Не иначе! Потому что в волчиной стае дружба коротка. Поди, что Малюта, что Грязные, что прочая опричная сволочь по ночам спать не могут. Трясутся, поди, как бы кто с доносом не опередил. Не иначе! Стало быть, друг друга и пожрут!

Вот только приведет ли господь дожить до сей светлой минуты?

А колокола звонят тревожно, тоскливо, и глухие удары их падают на город тяжело-тяжело...

На глазах Ивана Федорова сбывались худшие предсказания Алексея Адашева. Беззащитная Ливония стала причиной раздора между царем

Иваном, Польшей, Литвой и Швецией.

Испуганные поражениями, ревельцы присягнули королю шведов Эрику, а ливонские рыцари решили, что дальнейшее существование ордена невозможно, сложили с себя духовные звания и отдались под защиту Сигизмунда-Августа.

Королевским наместником Ливонии стал литовский гетман Радзивилл.

Бывшего гермейстера Гергарда Кетлера он объявил наследственным князем Курляндии.

Войне не виделось теперь конца. Царь упорствовал, не хотел слышать о перемирии, отверг литовские предложения уступить левый берег Двины в обмен на Полоцк. А чтобы обезопасить себя от шведов, сговаривался со шведским королем Эриком о женитьбе на жене заточенного в темницу Эрикова брата Иоанна.

Польского же посла кинул в тюрьму...

Прав был и Маврикий, ушедший в монастырь на Соловки: царь рассорился с духовенством, с духовными пастырями народа.

Митрополит Афанасий, не выдержав бесчинств царя и не желая потакать им, сказался больным, ушел на покой.

Глуп был, скудоумен, но и у него, видно, совесть живой оставалась.

Никто из архиепископов ставиться в митрополиты не желал. Силой принудил царь принять митрополичий параманд казанского владыку Германа, но тот посмел возражать против новой женитьбы Ивана, и Германа прогнали. Пихнули ночью в возок и свезли с митрополичьего двора неизвестно куда.

Теперь митрополитом соловецкий игумен Филипп. Долго не поддавался уговорам, но решился, наконец, получив обещание царя прилежать церкви.

Однако все идет по-прежнему, и Филипп с государем не в ладах тоже.

Что будет с Филиппом, неизвестно. Хорошего не жди!

Хорошего вообще ждать неоткуда.

За введенные в Апостоле новшества вся боярская Москва и многие из священников на Федорова злобствуют. Акиндин слюной брызжет, кричит повсюду, что Федоров непотребство совершил, на святое-де писание наскокал!

Неучи всегда злобны. Им же ничего, кроме злобы, не остается! Одна жадность в сердцах у них, одна мыслишка в тупых головах: своего не потерять, мзду получить. А на царство божие, на то, что все должны словом божьим проникнуться, братьями стать и достоянием поделиться, на это дуракам мздоимцам наплевать...

Но не будет по-ихнему! Пусть кричат и злобствуют! Вопли их заглохнут, а книги Федорова, для всех людей предназначенные, останутся!

Останутся!

Только вот опять с печатью трудно стало... После Апостола выпустили всего две книги: Часовник да Евангелие, и то мук натерпелись.

Часовник (нет книги нужнее для служб церковных!) сперва для купцов Строгановых, на их деньги печатать пришлось. Купцы торопили и править книгу не дали. Только после начала ее печатания и от царя деньги и бумагу выдали. Тут уж Федоров текст выправил... Но вот уж сколько времени опять ни денег, ни бумаги нет. Царь, похоже, вовсе о книгах забыл, а митрополит Филипп недоволен Федоровым.

Сердится, что в Часовнике, для царя деланном, Иван Федоров по-своему молитвы напечатал. Что со старой бессмыслицей не посчитался, очистил молитвы от неверных выражений и иноземных слов.

Эх, митрополит, митрополит! Где же глаза твои, Филиппе?

Что ж, если всюду в рукописях писцы не думая пишут: «разбойничье покаяние рай окраде», так и мне за ними вслед глупость печатать?

«Окраде» — значит «обмануло»... А в греческих книгах тут иное слово стоит, означающее «отверзло», «отворило».

Эх, невежество!

И во всех других случаях печатный Часовник правильней рукописных, сердись ты или не сердись, Филипп!

Но что делать? Как жить?

Опять царь митрополита, на опричнину ополчающегося, прогонит — еще одно неудобное богу дело свершится.

Митрополит власть над царем возьмет — на Федорова за книжные новшества гонения обрушатся...

Да и не мирится душа с тем, что творится на русской земле.

Было: мечтал, что единодержавный владыка положит конец боярским бесчинствам, станет жаловать всех по службе и рвеню, утвердит божеские заповеди любви и братства по всей земле.

Для того в Часовнике и слова молитвы изменил. Вместо «Спаси, господи, люди своя... победы царем нашим на супротивные даруй» выкинул слова «царем нашим» и напечатал: «победы благоверному царю нашему». Ибо един должен быть государь у православных, утверждающий истины учения Христова!

Да, верил в Ивана...

А что вышло? Кругом кабала, новые дворянские поборы не лучше боярских, и война идет, и кровь невинных льется.

Вон и Михаила Твердохлебова взяли к Малюте. Пытали, казнили, а все добро растащили.

Донес на Твердохлебова красноносый пьянчуга Акиндин. Это Федоров знал точно от знакомого подьячего. Наплел Акиндин, что Твердохлебов какие-то письма в Литву и Польшу писал. За такую заслугу Акиндин ныне часть имущества твердохлебовского получил. Вскоре стало ведомо через того же подьячего: письма писал вовсе не Твердохлебов, а немец Ганс Краббе, тот, что с Литейного двора Федорова когда-то гонял... Краббе выслали: иноземцев не казнят, а Акиндин живет себе, с опричниками пирует.

Страшно стало жить на Москве. Страшно и стыдно.

Нельзя оправдать злодеяния царя, нельзя оправдать опричнину, и подлым себя чувствуешь, боясь сказать то, что думаешь.

Как-то Петр Тимофеев, сидя у Федорова, поглаживая одну из старых досок с вырезанной на ней заставкой, сказал:

— Уеду я.

Федоров уставился на Петра непонимающим взглядом.

— Уеду! — повторил тот, откладывая доску. — Не могу я тут больше...

— Да как же? Куда?

— Куда-нибудь... Нехорошо в Москве.

— И печатать бросишь?

— Не в одной Москве печатают.

— Истинные, святые книги только мы!

— Найдутся везде христиане... Помогут...

— Пустое молвил! У кого на печатню денег достанет? Царь еле набрал! И то сколько лет возились!.. Нельзя нам дело покидать, Петр! Надо терпеть и трудиться.

Попытки отговорить Петра ни к чему не приводили.

— В Литве и Польше сыщутся богатые православные князья, — спокойно отвечал Тимофеев. — Примут мастера с радостью... Вот хотя бы гетман литовский Ходкевич. Сам знаешь: он царю писал, просил дать печатников...

— Печатников просил, а с царем воюет?!

— А царь — христианин?

Петр Тимофеев спросил об этом с неожиданной жестокостью и прямою, и Федоров смешался, не смог ответить...

— Царь нарушил все заповеди божеские! — с внезапной горячностью продолжал Петр. — Три раза женился. Пьянствует. Скоморошествует.

Насилует девиц. Убивает без суда... Христианин! Он сошел с ума! Он издевается над самой верой, над церковью!.. А попы суеверны и тупы. Мы им не нужны! Погоди, они еще доберутся до наших книг. Еще будут их жечь!.. Нет, я уеду.

Иван Федоров с тоской ждал отъезда товарища. Покинет Петр Москву вовсе не с кем душу отвести будет...

Трудно решить: прав Петр или нет? Что царь безумен, что священники темны и злобны, правда. Но хорошо ли долгу изменить? Хорошо ли покинуть налаженное дело из одного страха? Может быть, перетерпится, обойдется?

— Сколько ты уже терпишь? — возражал Петр. — Всю жизнь ты ждешь и терпишь. Живешь чужой милостью. А разве царь и митрополит создали печатные книги? Ты, да я, да другие печатники. Зачем же уповать на чью-то милость в проповеди слова божьего?.. Не дают проповедовать — не смиряйся, не вымаливай на коленях права на проповедь. Сам иди и вещай людям истины! Или робеешь?

— Экой ты пророк... — невесело усмехался Федоров. — Когда и говорить-то научился?

— Обида и ненависть подлости учат! Нигде я такого, как в Москве, не видел среди христиан.

— Не народа вина...

— А ты, со всем мирясь, народ на темноту и горе обрекаешь!

Федоров опускал голову.

В начале мая, придя утром в штанбу, Федоров и остальные печатники увидели растерянные лица стрелецкого караула.

— Слышь, мы не виноваты! — сказал старший из стрельцов. — Сам Васька Грязной приезжал...

Встревоженные мастера поспешили в печатную избу. Тут все было перерыто. Греческие книги и листы драгоценных, выверенных с подлинниками русских текстов валялись на полу, затоптанные грязными сапогами. Из наборных ящиков был высыпан и перемешан шрифт.

— Зачем? Зачем? — бессмысленно повторял Федоров.

— Искали, слышь, писем польских... — шепотом объяснил стрелец. — Ты только не выдавай меня.

Федоров тупо смотрел на него, не понимая. Потом с трудом сообразил,

что приход в печатню польского посла Гарабурды, попросившего дьяка Висковатого показать книги, не ускользнул от глаз опричников.

Но ведь Гарабурда месяц как уехал!

Петр Тимофеев отвел Ивана Федорова в сторону, с беспокойством признался:

— Иван! Встречался я с Гарабурдой. Звал он меня в Краков.

— А писем не давал?

— Господь с тобой! Как ты подумал такое?!

— Так зачем же они?! Зачем?!

— Опричники, Иван...

Седьмицу печатники прожили в тревоге и смятении. Никто ничего не понимал. Каждый чего-то боялся.

А в начале новой седмицы Андроника позвали в Разрядный приказ. Вернулся он оттуда испуганный и смущенный.

Оставшись наедине с Федоровым, помялся и сказал:

— Прости, Иван... Не свои слова говорю... Не велено тебя больше в штамбу пускать.

Федоров не понял.

— Андрон! Да как же? Ведь я тут все... Каждую букровку!.. Вот этими руками!.. Листик каждый!.. Как же это?!

Андроник Тимофеев с состраданием посоветовал:

— Не мучься! Может, навет... Ты сходи к Висковатому.

— Да, да... Я сейчас сейчас и пойду...

Он пять дней подряд ходил к думному дьяку Ивану Михайловичу Висковатому, простаивал часами у Посольского приказа, у крыльца дьякова дома, но поймать Висковатого не смог. Слуги твердили одно: Недосуг дьяку тебя видеть...

Федоров понял: Висковатый его принимать не хочет и не примет.

В те же дни всполошенный Петр Тимофеев прибежал к Федорову в избу со страшной вестью: митрополит Филипп хочет предать их обоих соборному суду, как еретиков, за исправления в Апостоле и в Часовнике.

Федоров обмер.

Вспомнилась судьба Максима Грека.

Сразу сообразил: если и жив останется, печатни ему больше не видеть.

— Как же будем? — побледнев, спросил он после долгого молчания.

— Я уезжаю, — сказал Петр Тимофеев. Поеду в Вильно. Там купцы есть знакомые, Мамоники. Давно хотели книги печатать... А если еще не начали, в Краков поеду... Уезжай и ты, Иван! Не медли! Уезжай!

— Куда мне?

— Поедем со мной!

— В Литву?!

— Ты же не королю поедешь служить! Церкви! Вон игумен Артемий, твой же доброжелатель, ушел в Литву, да вере не изменил! Прославил себя борьбой с арианцами!.. Богу служить везде можно, Иван, лишь бы давали служить! А в Москве больше не дадут.

— Пропадем мы на чужбине...

— Пустое! Не пропадем! А волю получим книги издавать!.. Как все мастера печатные живут? Разве они от королей и императоров зависят? Они сами себе хозяева!

— Где денег возьмем на печатню?

— Найдем! Не заботься! Книги в Литве и Польше высоко ценят! А православной печати там нет. Мы единственными мастерами будем.

— А Русь?

— Наши книги пойдут по всей Руси! И в Москву, и в белые земли, и в украинные!.. Вот в Москве ты ничего не создашь. Не дадут больше. Не простят, что сроду слово божье нес...

Неизвестно, как обернулись бы дела, но в Москву опять пришло письмо литовского гетмана Ходкевича, еще раз обратившегося к царю с просьбой прислать знающих мастеров печатного дела.

Жаловался Ходкевич, напуганный притязаниями польской знати на Литву, что рушится православная вера в его отчизне и трудно ее поддерживать, не имея хороших и многих книг.

Федоров узнал о письме гетмана в Разрядном приказе. Вызвавший печатника дьяк, оглянувшись, посоветовал:

— Съезжай, слышь... Государь-то разрешил кого-нито послать. Все едино: не до книг ныне Ивану Васильевичу... Съезжай от греха!

Дьяк был прав. Защиты от царя Иван Федоров не ждал. И раньше царь отчаянным письмам не внял и теперь внимать вряд ли станет. Да, может, и не доходят письма до царя...

— Собирайся, Петр, упавшим голосом сказал Федоров дня два спустя своему товарищу. — Твоя правда. Надо ехать. Одна, видно, нам награда — изгнание...

Никто не чинил печатникам препятствий, когда выносили они из штанбы шрифты и доски, никто не остановил, никто не отговаривал. Приказным дьякам наплевать было на книги, а остальные печатники и литцы понимали: на Москве Федорову не жизнь...

Федоров выправил бумагу, в коей говорилось, что он вместе с Петром Мстиславцем и сыном Иваном посылается велением государя на службу

литовскому гетману Ходкевичу. Бумага должна была явиться пропуском...

Съезжали из Москвы ранним утром, по холодку. Город спал. Никто и не глянул вслед телегам. Только несколько друзей-мастеров провожали своих товарищей. Шли рядом с Федором и Мстиславцем, опустив головы и не утешая.

На прощание крепко обняли изгнанников:

— Не поминайте лихом, родные...

— Прощайте. С богом...

И долго молча смотрели вслед невеселому обозу.

ЧАСТЬ III

ГЛАВА I



Непонятный, отчаянный, но развеселый люд — мелкие торговцы. У иного всего добра в заплечном коробе, что кусок полотна, два десятка иголок, моток цветных ниток да низка позолоченных колечек, а его несет из Минска в Новгород, из Новгорода — в Москву, из Москвы — в Киев, из Киева — во Львов, из Львова — во Франкфурт, а то, глядишь, идет-идет такой бедолага, вспоенный молоком вологодской или путивльской бабы, да и окажется вдруг не где-нибудь, а в самом Риме или Мадриде.

Кой черт занес его в Рим или Мадрид? Зачем ему понадобились развалины Колизея, Собор святого Петра, красавицы Прадо и мрачные плиты Эскуриала?

Думаете, не знает?

Знает!

Не одна мечта о богатстве гонит его в незнакомые края и земли.

Гонит его неумемное любопытство, желание знать, как живут на земле люди, и глубоко затаенная, никому не выдаваемая, скрытая под личиной балагурства острая тоска по обетованной земле, где нет насилий, лжи, предательств, убийств, войн, поборов...

Который век уже бредет этот мелкий торговец по тропам, дорогам, караванным путям!

И не всякий возвращается в родные края.

Зато те, что вернулись, желанные гости повсюду.

Их узнают сразу, обступают, потчуют, подносят пива, а то и винца,

чтоб развеселились, развязали языки, не скупались на рассказы.

И те не скупятся.

Поощряемые вздохами и ахами простого люда, подогретые хмелем, заводят были-небывальщины, и сам корчмарь, забыв обсчитать пьяного проезжего шляхтича, стоит возле, разинув рот и не мигая.

Ай-яй-яй, какие чудеса бывают на свете! Ай-яй-яй, что творится! Римские папы живут в грехе с собственными дочерьями! Московский царь заживо сдирает шкуру со своих князей! А в Индии есть птица феникс, сама себя сжигает и рождается из пламени заново, еще более прекрасной и молодой! Ай-яй-яй!.. А что такое про Литву и Польшу?

Пан купец прямо из Люблина? Так что же пан купец раньше молчал? Такому гостю цены нет, а он молчит, как, простите, воды в рот набрал... Выплюньте вашу воду, пане, и выпейте лучше моей горилки. А? Что? Хорошая горилка? Еще какая хорошая, пане! Ах, какой гость! Прямо из Люблина! Слышите, люди?! Пан из самого Люблина! И пан все знает! Он же, можно сказать, почти рядом с королем сидел. А? Что? Не так? Убий меня бог, если я вру! Ну, может, не совсем рядом, но в Люблине он таки был!.. Закусите огурчиком, пане! Вы разумеете, какой огурчик? Таких огурчиков король литовским панам-магнатам не подносил, нет? Он их другими потчевал, а? Что, что вы говорите? Паны-магнаты осерчали и уехали из Люблина? Уй-уй! И пан Радивил, и пан Ходкевич, и пан Волович?.. А что же им не понравилось такое, пане? Им таки не понравилось, что король Сигизмунд хочет объединить Литву с Польшей? Я думаю! Как им может это нравиться! Им это, простите, совсем не может нравиться! К примеру, простите, мне бы тоже не понравилось, если бы я владел корчмой, владел, курил вино, курил, и вдруг пришли бы и сказали: «Корчма теперь будет нашей общей. Она останется на месте, только доходом будешь делиться с нами!..» Здравствуйте! Покорнейше благодарю! Я так спал и так во сне видел, чтобы свое кому-то чужому отдавать?.. Ой, извините, я вам помешал, папе!.. Значит, так магнаты и уехали с сейма? И что же теперь? Война? Как, как говорят в Люблине? «Нынче уния с Литвою удивительно стройна: никаких переговоров, вместо них пойдет война»? А таки остроумные паны живут в Люблине, дай им бог здоровья! Так шутят, так шутят, даже слезы на глазах у всего народа навертываются!.. Но я таки вам скажу, панове, что войны не будет. Не будет, и все тут! Нет, у меня нет гадательных книг, ни этого русского «Шестокрыла», ни книги Сибиллы. У меня даже кофейных зерен нет. Где это вы видели, чтобы бедный еврей пил кофе? Ха!.. Воду мы пьем, воду, панове, вот что... Что? А при чем тут талмуд? Не хватало, чтобы в талмуде о папах писалось!

Откуда же я знаю, что не будет войны? Ах, Панове, Панове! Вот у восточных народов есть поверье, будто если долго глядеть в изумруд, то можно увидеть потусторонний мир. Камень они считают окном в рай... А я так скажу, Панове: хочешь заглянуть в будущее, загляни в карман шляхтича... А почему я вспомнил о кармане шляхтича, так я вам скажу, почему вспомнил! Год назад у литовской шляхты в кармане имелись, извините, одни дыры. Это очень невесело — одни дыры. И еще год назад литовская шляхта готова была перегрызть полякам горло. Чтоб я так жил! Но в Кракове сочиняют не только краковяки. Вы понимаете, а? И вот там сочинили универсал, такой не очень большой универсал, всего какой-то лист бумаги, пфе! Но он уравнивал литовскую шляхту в правах с польской. Всего-навсего! Этот универсал дал литовской шляхте то, чего ей никогда не давали и не дали бы литовские магнаты... Так позвольте вас еще раз спросить: за кого будет воевать литовский шляхтич? За пана князя Радивила? За пана князя Ходкевича? За пана подканцлера Воловича? А я вам скажу, за кого. За короля он будет воевать, панове! За свой карман без дыр!.. Еще горилки? Пожалуйста, пане, вот вам горилка, пейте на здоровье!.. Как, как вы говорите? Я забыл о православном народе?.. Как я могу забыть о православном народе, пане, простите, если все окрестные мужики пьют у меня только в долг, и я днем и ночью, днем и ночью должен помнить, кто сколько задолжал? Я так о них помню, как московский князь Иван не помнит! Ай, это, конечно, смех сквозь слезы. И не толкуйте мне про народ! Я сам знаю, как живет мужик и у нас, и в Полесье, и на Волыни... Не дай бог моим детям такой жизни!.. Но скажите, вы видели когда-нибудь, чтобы волк ел репу?.. Не видели? Ну, так вы скорей все-таки увидите волка жрущим репу, чем литовского князя, поднимающего мужиков на короля... А? Что? Я боюсь, что Литва соединится с Русью? А так верно, боюсь, панове! Вы, часом, не слыхали, что вся моя родня жила в Полоцке? Так вот, она в Полоцке жила. И я говорю — жила, потому что ее больше нет. Да, нет, панове. Ни моего девяностолетнего деда, ни моих двухлетних внуков. Московский царь Иван их всех утопил. Вы ж понимаете, это страшные враги царя — двухлетние дети. Ай, не обращайтесь внимания на мои слезы. У старого еврея глаза всегда на мокром месте... Выпейте лучше еще горилки, панове... Да... А меня кличут... Я сейчас... Ну, вот я и вернулся, панове. А зачем я вернулся? Затем, чтобы сказать: я ничего не имею против русских. Вот, пожалуйста, у нас в Заблудове живет один русский. Федоров Иван. Он печатает книги для гетмана Ходкевича... Конечно, у него есть свои недостатки. Он, например, никогда не посидит у меня в корчме... Смеюсь, смеюсь, панове!.. Так я хотел сказать: пусть этот

русский живет себе у нас поживает на доброе здоровье! Такие русские не топят младенцев и не насилуют девиц! Но Федоров таки сам бежал от своего царя! Умнейший человек, мудрец, а должен скитаться на чужбине! Это христианин из христиан, создатель христианских книг!.. Так скажите, что же будет с нехристианами, если Литва объединится с Русью? Что будет со мной?.. Вот я и боюсь, Панове! Прямо признаюсь — боюсь! И надеюсь, что этого не случится...

Да, удивительный народ мелкие торговцы и корчмари. Одни — это добровольные гонцы и вестники народа, другие — его министры иностранных дел и финансов. И обычно они уважают и ценят друг друга. Вот почему свенцянский корчмарь, известный всем любителям креститься кружкой под кличкой «Иоселе — чтоб я так жил!», заподозрил неладное, принимая у себя поздней весной 1569 года человека, сказавшего, что идет из Шадова.

Одет был этот человек бедно, тащил за спиной короб, назвался торговцем, но сел в сторонке от посетителей корчмы и в разговор не вмешивался.

Сначала «Иоселе — чтоб я так жил!» подумал, что новый гость болен. Но гость в ответ на участие и заботу послал «Иоселе — чтоб я так жил!» к чертовой матери, от вина отказался, а когда корчмарь попытался расспросить про ливонские дела, посоветовал убрать прочь свою харю, пока цела.

«Иоселе — чтоб я так жил!» задумался.

Не то чтобы его впервые в жизни выбрали. Нет. Но его впервые в жизни по-пански выбрал трезвый мелкий торговец.

Это что-нибудь да значило! А значить это могло только одно: выдающий себя за торговца гость вовсе не торговец. А если человек не торговец, но выдает себя за торговца, то кто он?

— Э-ге-ге! — сказал себе «Иоселе — чтоб я так жил!». — Это будет интересно пану свенцянскому судье!

И он послал за паном свенцянским судьей.

Пан судья тотчас прибыл в корчму в сопровождении двух дюжих пахолков и приступил к торговцу с расспросами.

Поскольку же гость и пана судью послал туда же, куда незадолго перед этим посылал корчмаря, то пан свенцянский судья велел наглеца схватить.

Торговец, однако, не пожелал быть скрученным, выхватил из-под куртки кинжал и оказал яростное сопротивление.

Только при помощи подъехавших к корчме шляхтичей торговца все же обезоружили и связали.

Тогда он внезапно утих, назвал себя воеводичем Глебовичем, заявил, что везет письма от русского царя Ивана к православным литовским князьям, которых царь уговаривает избрать его великим литовским князем, и попросил себя освободить, дав честное благородное шляхетское слово, что не убежит.

Глебовича развязали. Он предъявил пораженному и гордому своей удачей свениянскому судье письма царя, а «Иоселе — чтоб я так жил!» пообещал вернуться и выпустить всю кровь из жил.

Затем Глебовича увезли к королю в Краков.

Этот случай имел последствия.

Король, поддержанный всеми польскими сенаторами и послами, основываясь на древних правах короны и на сведениях об измене литовских магнатов, издал привилегию, по которой Полесье и Волынь присоединялись к Польше.

Литовские магнаты, пойманные с поличным, вынуждены были публично отречься от царя Ивана.

А «Иоселе — чтоб я так жил!», проведав, что Глебович помилован и поступил на службу королю, спешно продал корчму и переселился во Львов.

Последнее событие, впрочем, в летописях отмечено не было.

Верховный гетман великого княжества Литовского, виленский кастелян Григорий Александрович Ходкевич, вынужденный в начале лета 1569 года вернуться по требованию короля на сейм в Люблине для окончательного решения вопроса о соединении Польши и Литвы, сидел в кабинете своего люблинского дома.

Грузное тело старого гетмана заполняло все глубокое и широкое кожаное кресло. Пухлые, но уже тронутые старческой желтизной руки с впившимися в толстые пальцы драгоценными перстнями лежали на мягких подлокотниках неподвижно и безжизненно. Седая голова опустилась на грудь. Коричневые веки были закрыты. Чернила на письме, начатом Ходкевичем к виленскому воеводе князю Николаю Радзивиллу, давно

высохли... Но гетман не спал.

Просто он пережидал, когда минет приступ резкой головной боли, все чаще и чаще беспокоящей его в последнее тревожное время.

Но вот боль отступила, ослабела. Коричневые веки приподнялись. Пламя свечей, колеблемое проникающим в открытые готические окна ночным воздухом, отразилось в серых выпуклых глазах гетмана. Пухлые пальцы пошевелились. Гетман продолжал сидеть, однако теперь он прислушивался. В соседней зале ходили. Значит, тело его скончавшегося прошлой ночью дяди, трокского кастеляна Иеронима Ходкевича, еще приготавливали к последней церемонии...

Гетман вздохнул. Только вчера, за обедом, покойник, как всегда горячась, долго разговаривал с литовским сенатором Оссолинским о том, какую пагубу принесет знатным литовским родам уния с Польней. Осушив кубок, он воскликнул, что не желал бы дожить до унии... Так и случилось. Той же ночью Иероним Ходкевич предал душу богу.

Жаль старого трокского кастеляна. Но умрут все, умрет и он, гетман Ходкевич, и, может быть, это действительно счастье не дожить то позорного подчинения полякам, до отмены всех привилегий, какими пользовались до сей поры знатные литовские роды, до обнищания, — не дожить, как не дожил Иероним?

Но что делать? Что делать? Уступить Ливонию, отдаться, как того желают холопы, московскому царю? Матерь божья! Спаси и помилуй! Царем можно пугать короля, по превратиться в его подданных немислимо! Царь одержим манией величия, он не терпит могущественных князей и вельмож. Он их просто уничтожает. Это знают все. Оттого-то киевский воевода князь Острожский и заявил третьего дня, что исполнит все, что прикажет король, согласится с любым его решением об унии, лишь бы не попасть под власть Москвы...

Господи, господи! Проклятый сейм! Если бы, как в прошлые годы, удалось вести переговоры с одними польскими сенаторами, с епископами, с воеводами, маршалами, канцлерами, подскарбиями и кастелянами! С ними можно было бы договориться! Сам канцлер королевства Иван Тарло склонялся заключить унию на основании привилегий короля Александра, оставить неприкосновенными литовские должности, печать и титул литовского князя и княжества. Но в нынешние времена даже королевский канцлер бессилен перед крикливыми послами, выносящими все тонкие дела на общее обозрение. Чарновские, Ореховские, Лещинские и прочее шляхетство просто из кожи вон лезут, чтобы лишить Литву даже тени независимости. А после конфуза с письмами царя, взятыми у Глебовича, и

сенаторы ополчились на литовцев. Даже о распрях с собственной шляхтой позабывают, как дело до унии доходит... Плохо! Плохо! Король уже отобрал у Литвы Полесье и Волынь, где имеются поместья и самого гетмана. Завтра отберет и Киев. А всем не желающим присоединиться к Польше грозит лишением должностей и имений...

Что же делать? Что же делать?

Перед глазами гетмана всплыло сухое, остроносое лицо краковского епископа Филиппа Падиевского.

Позавчера епископ с улыбочкой осведомился: какие книги собирается вскоре напечатать Ходкевич о Заблудове?

— Вы же самый ревностный защитник хлопской религии, пан гетман! — сказал епископ. — Надо полагать, у вас обширные планы?

Обидно вспоминать, что растерялся и не нашел остроумного и резкого ответа проклятому католику.

Старость... Да, старость, с которой пришел и страх... А епископ упомянул о друкарне не случайно! Наверное, выставляет гетмана перед королем как непримиримого врага унии и королевства! Конечно! Православие — религия и московского царя. Выступить сейчас против католицизма — значит выступать вместе с хлопами за присоединение к Московии...

Ах, как горек мир, как скорбна земная юдоль!

Гетман тяжело наклонился вперед, придвинул кресло к столу. Взял новое перо, обмакнул в медную чернильницу в виде ларчика, придвинул к себе начатое письмо... Из-под пера побежали строки, полные уныния и отчаяния:

«Ничего отрадного не могу написать вам отсюда. Все наши дела по-прежнему идут хуже и хуже, и уже не вижу никаких средств поправить их...»

Закончив письмо, гетман посыпал страничку песком, подождал, когда песок впитает чернила, осторожно ссыпал его.

Сложил послание, запечатал. Поднялся. Посмотрел в окно, удивился тому, как быстро наступил рассвет. Дунул на свечи. Постоял, вдыхая дымок фитилей. Подумал, что, может быть, теперь, под утро, немного поспит. Надо же беречь силы. Вдобавок утром он обещал свидание князю Курбскому, а князь придет с бесконечными жалобами на несправедливости польских сенаторов... Курбскому, конечно, надо помочь, но он стал утомителен. Очень утомителен! Все негодует, что король и сенаторы его обманули. Обещали дать землю в наследственное пользование, а дали только в пожизненное, да и с тем не считаются... Курбского обманули! А

кого не обманули? Кто не обманут? Все обмануты! И, может быть, больше других он, верховный гетман литовский, наследник славного имени Ходкевичей! И вдобавок он стар. Стар. Ему хочется отдохнуть. Да. Отдохнуть! И пусть его оставят в покое!

Гетман, шаркая, что было признаком раздражения, побрел к своей спальне.

Ткнул в голову спящего у дверей слугу. Тот всполошенно вскочил, кинулся раздевать своего господина.

На закате того самого дня, когда гетман Ходкевич писал письмо князю Николаю Радзивиллу, Иван Федоров, живущий в гетманском местечке Заблудове, поужинав, вышел из хаты.

Пошел он на Виленскую дорогу, где второй вечер высматривал, не покажется ли телега с Петром Тимофеевым, уезжавшим в Вильну и Троки для продажи отпечатанного в Заблудове Учительного евангелия приславшего весточку, что днями вернется.

Июньская жарынь высушила землю, на улицах местечка лежала толстая серая пыль, и даже трава перед хатами и листья яблонь и груш были посыпаны тончайшим серым прахом.

Коров уже пригнали. Баб на улицах не было. Только кое-где сидели на завалинках или на лавочках перед воротами мужики да ребятишки мужицкие бегали, поднимая пыль и визжа.

О чем-то оживленно спорили на углу два пожилых еврея в ермолках, в долгополых кафтанах, седобородые, с вьющимися белыми пейсами.

Мещане и мужики, когда Федоров приближался, вставали и кланялись. Он отвечал поклоном.

Пожилые евреи, прервав разговор, почтительно посторонились, пропуская известного всему Заблудову ученого человека.

Федоров шагал не спеша. После длинного, наполненного трудом дня приятно было идти, выпрямив спину, вдыхая теплые запахи земли, парного молока, соломы и цветущей липы.

На душе было тихо и покойно.

На дороге ни воза, ни путника. Он прошел немного вперед, перескочил через канаву и лег на теплую траву.

Казалось, так недавно с тревогой оглядывал он эти места, приближаясь к Вильне. Петр Тимофеев ожил, жадно смотрел по сторонам,

узнавал знакомые поля, лесочки, деревеньки, улыбался им, как людям. А Иван Федоров держался сторожко. Ему и Заблудово тогда не глянулось. Он беспокоился о том, какой прием встретят оба в Вильне, сомневался в будущем.

Но тревоги оказались зряшными. Слава русских книгопечатников давно опередила их самих.

В доме купцов Мамоничей, куда привез Федорова Петр Тимофеев, москвичей встретили приветливо.

Кузьма и Лев Мамоничи исповедовали православную веру, были грамотеями, книжниками, у них имелись и Апостол и прочие изданные в Москве книги.

Мамоничи, купцы богатые, отлично знали не только торговую Вильну, но и Вильну боярскую.

Кузьме ничего не стоило попасть на прием к гетману Ходкевичу и рассказать о неожиданных гостях из Москвы.

Гетман по достоинству оценил преподнесенный судьбой подарок.

Завести в Литве собственную православную типографию, чтобы бороться с католицизмом — религией ненавистных ему поляков, — и завести без предварительных хлопот и затрат, ведь москвичи привезли с собой матрицы, — это гетману Ходкевичу было по душе.

Ходкевич тотчас принял Федорова и Мстиславца, условился, что они поступят к нему на службу, и взялся выхлопотать у короля, по счастью находившегося тогда в городе, права для Ивана Федорова проживать в Литве и Польше.

Ходкевичу же не составило труда уговорить своего близкого воеводу — надворного хорунжего литовского Василия Рагозу — сообщить Федорову свой герб и дворянство.

Акт адаптации был совершен в Вильне в начале марта 1568 года в присутствии высших литовских чинов и послан иа утверждение королю.

Так Иван Федоров стал полноправным литовским шляхтичем, правда не имеющим земли, но зато получившим право присутствовать на сеймиках и сеймах, быть избранным на великие сеймы и носить на одежде герб Рагоз: на щите — изогнутая полоса наподобие латинского «S» в обратную сторону с венчающим ее наконечником стрелы.

— Мы даруем вам дворянство, ибо в Литве, как нигде, умеют ценить ум и искусство! — напыщенно произнес гетман Ходкевич, поздравляя Федорова. — Отныне вы вольный и свободный шляхтич и вам нечего опасаться: за вас все силы Литвы и дружественной ей польской короны... Служите же верно великой Литве!

— Благодарен и счастлив, — ответил Федоров, кланяясь, как подобало по ритуалу. — Принимаю шляхетское звание как свидетельство великого почтения достойных господ к христианской вере, которой я тщу служить по мере сил своих и служить которой буду впредь, не покладая рук и не щадя живота.

Ответная речь Федорова прозвучала уклончиво, но, во-первых, не все собравшиеся достаточно хорошо понимали по-русски, а во-вторых, против нее ничего нельзя было возразить по существу.

Петру Тимофееву, как мещанину города Мстиславля, определять свое правовое положение в Литве не приходилось: оно и так было определено...

Суевливая, тесная, многолюдная, многоязыкая Вильна не понравилась Федорову. Тихая, зеленоватая Вилия после Москвы-реки казалась скучной. Гордо поднятый на горе над всем городом замок короля Гедимина после Московского Кремля выглядел вовсе не таким грозным, как казалось виленцам, хваставшим перед москвитом его мощностью и неприступностью.

«В Казани, поди, повыше и покрепче стены были!» подумал про себя Федоров, вслух, впрочем, похваливший замок.

Гетман Ходкевич предложил Федорову и Петру Тимофееву обосноваться в его заблудовском поместье.

Федоров принял предложение с радостью. Жить в Вильне, возле двора, среди католиков, ему не хотелось. Для печатания книг вовсе не нужны были шум, придворные происки и хлопоты.

И вот он, городок Заблудов! Привык к нему Федоров и к людям его привык.

Еще нигде не встречал он такого уважения со стороны жителей, как здесь.

Федоров понимал, откуда оно. Недаром он проехал с товарищем всю белорусскую землю, поглядел и на литовских крестьян.

Поляки рвались к здешним пажитям и лесам. Они старались захватить лучшее, закабалить земледельцев. Они мечтали истребить православие, насадить всюду ненавистный народу католицизм.

Как же было заблудовцам не уважать людей, печатавших православные книги, защищавших истинную веру от веры проклятых поработителей?!

— Да, я не жалею, что приехал в Литву! — сказал Федоров Петру Тимофееву. — Потому что мы нужны здесь. Нужны для проповеди христианских истин. Для борьбы с католиками, унижающими и порабащившими христиан.

— Я знал, что ты не пожалеешь, — ответил Петр. Заблудовскую печатню оборудовать, имея опыт Москвы, было несложно. Завезли олово, свинец, сурьму, отлили по захваченным матрицам шрифты, а к той поре гетманские плотники завершили и работу над печатным станком.

Бумага в Вильне имелаь. Ее привозили сюда не только из дальних стран, но и с краковских бумажных фабрик.

17 марта 1569 года Иван Федоров и Петр Тимофеев уже могли сообщить гетману Ходкевичу, что закончили печатью первую заблудовскую книгу — Евангелие учительное. Правда, Федорова огорчило, что гетман не дал ему поработать над текстом, не дал приблизить язык книги к народному. Но гетман был возбужден и доволен. Пухлые руки гладили и гладили белые листы, покрытые четким шрифтом.

— У поляков в Кракове Шарфенберги, немцы, а у нас, литовцев, свои печатники! — сказал Ходкевич. — Нет, не погибла и не погибнет Литва! Больше мы не поедем на сейм в Люблин! Довольно! А понадобится, постоим за свою веру!

И торжественно поднял над головой Евангелие...

Но это было в марте. А теперь июнь. Ходкевич и другие магнаты на сейм поехали, чтобы не доводить дело до войны и отстоять независимость Литвы мирным путем. Надо надеяться, отстоят. Ведь за них вся белорусская, вся литовская, вся волынская и полесская земли! Весь православный люд, не желающий кабалы польских панов!

Вот уже начал Федоров готовить к печати Псалтырь с Часословцем — нужнейшие книги для церкви. Если на Руси бедно с ними, то здесь и рукописные псалтыри не везде сыщешь. А будут Псалтырь с Часословцем, будет и Евангелие, будут за ними и Апостол, и Библия.

Все христианские книги он, Федоров, христианам даст, чтобы выучились жить по-божески, сплотились и дружно, как братья, защищали веру...

Чу! Никак колеса стучат?

Федоров приподнялся на локте. Верно, вдали по дороге тащилась телега.

Петр?

Да, Петр!

Федоров встал с земли, поспешил навстречу. Петр Тимофеев соскочил с телеги. Пожали друг другу руки. Пошли рядом.

Петр рассказывал:

— Книги все проданы. Барыш большой. Кузьма Мамонич как узнал, загорелся. Хочет свою печатню непременно наладить. Меня в тередорщики

звал...

— А ты?

— Как же я тебя оставлю? Да и зачем к Мамоницам идти? Нет! Я так полагаю, Иван: надо нам пока у гетмана работать, а как скопим грошей, свое дело заводить.

— Да, да... А как с бумагой?

— Бумагу скоро доставят... Ты напрасно не слушаешь меня, Иван. Зависеть от сильных мира сего не сладко. Ведь убедился уже.

— То было в Москве! Гетман Ходкевич — добрый христианин.

— Христианин-то он добрый, да время такое...

— Какое?

— Невеселое. Вся Вильна об одном шумит: быть полной унии с Польшей. А будет уния, католики верх возьмут.

— Не верю в унию! А коли угроза нависла, православные князья не отступят, и нам с ними заодно быть следует.

— То верно... А знаешь, Иван, что про Курбского и про слуг его толкуют?... Ведь жалуются на них королю на сейме.

— Кто?

— Да ковальцы и шляхта. Князь Курбский думает, он у себя в ярославских поместьях живет. Ваньку Колымета урядником ковальским посадил, самовольно землю своим раздает, на соседей нападает, с мещан налоги берет. Вон у панов Красненских имение под Туличовым захватил. С пушками, гаковницами напал... А Ванька Колимет над евреями измывается. Вырыл в ковальском замке пруд, напустил туда пиявок, хватает жидов, сажает к пиявкам и, пока родня выкупа за них не принесет, морит...

Они приблизились к своей хате.

За столом и Федоров поделился с Петром новостями.

— Слышь, — сказал он, — приходил давеча отец этого хлопца-то, Гриня. Ну, того, что приглянулся мне резьбой своей... Спрашивал, много ли возьмем, чтобы выучить парня.

— Ты что ответил?

— Ответил, что никакой мне платы не нужно, а станем печатню расширять, и так на выучку возьму.

— Эх, Иван! Не по обычаю поступаешь! Мы не на Руси! Сколь раз повторять! Ученик должен платить мастеру или договор подписать, что отработает за выучку.

— А пошли бы вы со своими обычаями и договорами куда подальше! Из Гриня знатный резчик и печатник выйдет! Не моему Ваньке чета! Ты погляди, погляди, как паренек режет! Это в пятнадцать годов!

— Да закон...

— Грабительский у вас тут закон! Знать его не желаю!

Петр Тимофеев пожал плечами и умолк, замкнулся, а Федоров еще долго не мог успокоиться, ворчал, осуждая порядки цеховых ремесленников.

Так и спать легли, недовольные друг другом.

12 августа 1569 года знаменитый Люблинский сейм, тянувшийся с 10 января, закончился.

Польская знать и шляхта, поддержанная католической церковью и литовскими шляхтичами, добилась своей давней мечты.

Независимое Великое княжество литовское, чьи плодородные и малозаселенные южные земли властно тянули к себе польских землевладельцев, перестало существовать.

Вместо Польши и Литвы возникло единое государство — Речь Посполитая, с единым великим сеймом, одним сенатом и единой монетой.

Польша ликовала. Из уст в уста передавались слова, якобы сказанные королю Сигизмунду-Августу канцлером Иваном Тарло:

— Наконец-то! Это счастливейший день в жизни каждого из нас, ваше величество! Дольше медлить было нельзя. Ведь костел во имя всех святых редко имеет свинцовую крышу!

Король соизволил милостиво улыбнуться. Впрочем, говорили, что сам стареющий Сигизмунд-Август остался не очень доволен сеймом. Сенаторы не сложили с короля долг государству, отказались определить обеспечение его детей и принудили платить кварту, как простого землевладельца.

Сенат мало волновало самочувствие короля. Зато литовская знать воспрянула духом. Скрепя сердце присягая на верность Речи Посполитой, литовские чины рассчитывали теперь, что используют обиду обобранного поляками Сигизмунда-Августа и завоюют первенствующее положение в новом государстве. Эта надежда несколько смягчала горечь капитуляции, позволяла оправдать ее в собственных глазах.

— Покорностью королю мы упрочили свое положение! — сказал друзьям князь Константин Острожский. — Король наш друг. Пусть католики не радуются раньше времени. Придет час, и мы возьмем всю власть в королевстве!

Но не все магнаты Литвы думали так, как князь Острожский. Гетман

Ходкевич, во всяком случае, думал иначе. Он понимал, что игра проиграна, и проиграна окончательно.

Глубокое уныние охватило старика. Он не остался на пиршество и охоту, устраиваемые в честь унии, распорядился закладывать лошадей, и уже 13 августа, на другой день после закрытия сейма, выехал из Люблина в родной Заблудов.

Путь лежал через Полесье. За оконцем колымаги тянулись скудные пажити, нищие деревеньки с общипанными соломенными крышами.

Но вековые дубравы веяли прохладой и под жарким августовским солнцем. Стремительный широкий Неман сверкал рыбьей чешуей серебряных бликов, черепичные крыши фольварков и господских домов ярко алели в густой зелени садов, и старый гетман нет-нет да и поднимал руку, чтобы утереть набежавшую в уголок глаза непрошеную слезу.

Не доезжая Новогрудка, гетман почувствовал себя плохо и распорядился заночевать в попавшейся на пути деревне.

Старый поп суетился, не зная, как принять столь знатного гостя. Но Ходкевич с горькой усмешкой отверг любезности попа.

— Время неги и удовольствий минуло! — сказал он одеревеневшим от почтения хозяевам. К тому же я старый солдат... Постелите мне на сеновале!

Распоряжение гетмана выполнить было трудновато. Старое сено кончилось, новое поп еще не убрал. Однако возражать Ходкевичу не посмели. Кое-как наскребли с десятков копенок по всей деревне, сволокли в поповский сарай, сложили, покрыли коврами, бросили в изголовье шелковые гетманские подушки, а попадья все-таки принесла свежие простыни и покрывало.

Лежа в пахучей темноте, гетман слушал, как жует и вздыхает поповская корова.

Ах, ведь и это была его родная Литва!

Близко к полуночи за стеной сеновала слышались голоса. Гетман прислушался. Говорили мужчины, и говорили с той певучестью, какой всегда отличалась речь полету ков.

Гетман умилился. Он напряг слух.

— А таки продали нас магнаты полякам, Гнат! — молвил сдерживаемый тенорок.

— А таки продали, брат! — отозвался мягкий бас. — Всё продали: и нас и веру христианскую продали.

— Что же теперь буде? Мало свои паны измывались над землянами, теперь католики придут! Сейчас как в аду живем, а тогда и вовсе ноги

протянем!

— Кто протяне, а кто прочь потяне... А то, даст бог, и напомним панам, как наши отцы их батек на Жмуди чествовали дубьем и вилами!

Гетман рывком сел на коврах.

— Гей! Холопы! Сюда!

Сбежались слуги, принесли свет.

— Сыскать богохульников, сыскать бунтарей! — брызжа слюной, кипел Ходкевич. — На кол собачьих детей! Проклятая рвань! Отчизна гибнет, а подлое племя рычит! Вырву, вырву клыки шелудивым псам!

Слуги переполошили всю деревню, приволокли на поповский двор два десятка угрюмых, всклокоченных, ничего не понимающих мужиков.

Однако бунтарей не нашли.

Иван Федоров и Петр Тимофеев растерянно переглянулись. Федоров развел руками.

— Как же это, пан гетман? Закрывать печатню сейчас... Мы и новые доски начали, и бумага куплена...

Они стояли в большом светлом зале заблудовского дома Ходкевичей. Тяжелые бархатные занавеси были отодвинуты. Свободно льющийся в отворенные окна свет сиял в навощенном полу, в полировке резных дубовых панелей, в золоченых рамах картин.

— Это невозможно, пан гетман! — твердо сказал Федоров. Позвольте нам хотя бы допечатать начатые книги.

— Пусть будет так, — склонил голову Ходкевич. — Пусть они станут моим надгробием... Но новых шрифтов не начинайте, досок не режьте. Я тяжело болен. Мне уже не под силу ни новые расходы, ни труды... Я хотел только, чтобы вы знали, что свободны, и могли сами решать, как быть дальше.

Старый дворецкий проводил печатников к выходу, низко поклонился им в спину.

Федоров дал себе волю:

— Предательство совершается, Петр! Гетман не как православный князь, а как мытарь жалкий поступает! Не успели унию заключить, и он уже остарел! Эх! Ему бог поле для подвига уготовил, а он...

— Теперь нам один путь к Мамоничам. Просить надо, чтобы взяли обоих... — выговорил, наконец, Тимофеев.

— Возьмут ли еще!.. Может, теперь и они напугаются? Да и не хочу более кланяться, милости ждать!.. Уже под пятый десяток мне, Петр! Из них без малого тридцать лет печатным книгам отдано, служению вере! Скольким пожертвовал ради просвещения народа, и теперь просить, чтобы купцы сердобольные приютили? Опять из чужих рук глядеть?

— Да иногo-то не остается, Иван!

— Посмотрим! Буду православным архиереям писать. Повсюду письма разошлю. И в Вильну, и во Львов, и в Минск... В монастыри напишу. Пусть помогут.

Иван Федоров поступил, как сказал. Разослал письма по Литве и Польше к православному духовенству. Описал бедственное положение единственной православной печати, взывал к добродетелям высших духовных чинов, просил не дать погибнуть богоугодному начинанию.

Из Вильны ответили скоро. Писали, что денег для печатания книг в епархии нет... Одновременно пришло письмо от Кузьмы Мамонича Петру Тимофееву. Предприимчивый купец настойчиво звал Петра к себе.

«Двое печатников мне не надобны, — откровенно сообщал Кузьма Мамонич. — А ты приезжай. Товарищ же твой пусть поищет денежных людей в других городах. Истинные верующие везде сыщутся. Я мог бы дать Федорову письма в Киев и во Львов, к тамошним купцам, с которыми веду дела...»

Прочитав это письмо, Иван Федоров сказал Петру:

— Ну что ж... Езжай в Вильну. Вижу ведь, не веришь ты, что еще кто-либо отзовется.

— Не верю, Иван, — опустив голову, признался Тимофеев.

И Петр Тимофеев уехал в Вильну. По той самой дороге, по которой недавно возвращался полный надежд и решимости всегда быть с Иваном Федоровым.

Обнялись.

Федоров смотрел, как удаляется телега с Петром Тимофеевым, сгорбившимся под холстиной, которой тот укрылся от начавшегося нудного дождика, и чувствовал, как жжет глаза...

Вот и Петра сломили годы и неудачи.

Вот и опять ты один...

Оставшись в Заблудове, Иван Федоров продолжал печатать начатый вместе с Петром Псалтырь с Часословцем.

С разрешения гетмана Ходкевича взял себе в помощь того самого Гриня, о котором говорил Тимофееву.

Младший сын в большой, едва сводящей концы с концами семье,

светлоголовый Гринь переступал порог печатни с благоговением.

Видя, как отрок жадно слушает его рассказы, как на лету схватывает советы, Федоров радовался. Гринь был не только наделен даром искусно вырезать доски, он отличался и усидчивостью, прилежностью, как раз теми качествами, каких не хватало родному сыну Ивана Федорова.

— Что ж ты, Ваня? — не раз с грустью говорил Федоров сыну. — Неужто так не лежит сердце у тебя к искусству моему? Погляди на Гриня. Старателен, оттого и ладится у него все...

— То не по мне, — отвечал сын. — И не вижу я, чтоб прок тебе от книг был, отец. Одни мучения терпим, живем не как люди.

— Бога побойся! — восклицал Федоров. — Праведный путь никогда легок, не был!

И чем больше отдалялся от Ивана Федорова сын, тем ближе становился ему Гринь.

— Поедешь со мной? — спросил как-то Иван Федоров отрока.

— Поеду! — не задумываясь, ответил Гринь. — А вы возьмете?

Федоров провел рукой по русым волосам отрока.

— Поговорю с родными твоими...

Однако родня Гриня и слышать не хотела об отъезде отрока с Федоровым.

Федоров с трудом вырвал согласие отпустить молодого резчика к нему, когда откроется новая печатня.

Но он видел: отец Гриня согласился на это лишь потому, что не верит в успех Федорова.

Минули осень и зима. 23 марта 1570 года Иван Федоров закончил печатание Псалтыря с Часословцем.

И эта книга была издана им с невиданной красотой и тщательностью. На первом листе выделялся герб Ходкевичей, главы начинались с фигурных заставок, красные строки с изящных прописных букв.

Труд завершен достойно. Пора уезжать, а ехать некуда.

А между тем на иные письма, разосланные во все концы Речи Посполитой, ответа нет, на иные ответы пришли неутешительные.

В каждом письме сдержались одни и те же сожаления о бедственном положении прославленного друкаря, а затем шли сетования на трудные времена, на отсутствие средств, и под конец следовал отказ принять

Федорова...

— Пропадем, пропадем! — испуганно твердил Федорову сын.

И без этих бабьих причитаний было тошно, и Федоров, не выдерживая, кричал на Ванятку, стучал по столу кулаком. Оба тяготились теперь друг другом.

В эти горькие дни Федорова позвал гетман.

Ходкевич, верно, сильно сдал за минувшее время. Он сделался еще более рыхлым, вялым, глаза гетмана слезились.

При одном взгляде на Ходкевича надежда, что гетман передумал и сохранит печатню, — слабая, но все-таки надежда! — оставила Федорова.

Он недоумевал, зачем же позван, и был поражен, услышав предложение Ходкевича записать на его имя одну из волынских деревень.

— Ничего иного сделать для тебя больше не могу, — сказал Ходкевич, — а отпускать тебя без вознаграждения негоже... Славен труд твой, Иван. Годы твои клонятся к закату. Владей же Спасовом, как истый шляхтич.

Гетман поднял глаза. Федоров спохватился, отвесил поклон.

— Благодарю, пан гетман... Но без трудов жить не думал еще... Книги оставить? А кто же печатать их станет?

— Не время сейчас для книг! — уже слегка раздраженно возразил Ходкевич. — И средств ты не имеешь! Будь доволен тем, что сделал.

Федоров пребывал в смятении.

— Много благодарен, пан гетман... Много благодарен... Я ценю вашу доброту Но как же книги? Вера? Дозвольте мне подумать, пан гетман... До завтра...

Ходкевич, скрывая обиду и недовольство неблагодарностью москвитя, равнодушно пожал плечами.

— Как хочешь...

Федоров воротился домой. Стягивая у порога намокшие сапоги, окликнул:

— Ванятка!

— Ну? — нехотя отозвался сын, валявшийся на лавке.

— Слышь, гетман мне сейчас село Спасово давал... На Волыни... Во владение.

Ванятка сразу ожил, поднял всклокоченную голову.

— Правда? А дворов там много? Людей много?

Федоров посмотрел на сына долгим взглядом, с сердцем отшвырнул сапоги.

— Иль обрадовался, что паном стал?

— А что ж? — усмехнулся Ванятка. — Ай худо? Спаси бог гетмана!..

Да велико ли село-то? Когда ехать? Бать!

Федоров молча прошел к столу, молча опустил голову на руки.

— Чего ж молчишь? Ответь! — не унимался сын.

— Ничего я не ведаю... — устало сказал Иван Федоров. — Отстань, сделай милость... Да и согласия я гетману еще не дал.

Сын оторопело уставился на отца. Не сразу слова отыскал нужные:

— Как «не дал»? Гетман же...

— Что гетман? Что гетман?! — взорвался вдруг Федоров. — Бился ли твой гетман, сколько я, жег ли руки на литейном дворе, терпел ли клевету и наветы, как я, чтоб подарки свои швырять?! Расщедрился! Я всей жизни не жалел, отчизну покинул ради проповеди слова печатного, а он мне Спасово?!

— Да ты отказался! — в отчаянии крикнул сын. — Вижу, отказался! Говори уж прямо! Казни!

— Ванька! Молчи!

Хлопнула дверь. Федоров, тяжело дыша, опустился на скамью. Сердце стучало, хлынувшая в голову кровь не отливала, и предметы вокруг казались зыбкими, качались. Онемела левая рука.

Он попытался дойти до кадки с водой. Дошел. Но когда уже начал пить, в груди что-то сжалось, и от резкой боли свет померк...

Кружка, выпав из ослабевших пальцев, с грохотом покатилась по полу.

Вернувшийся за шапкой сын увидел Ивана Федорова лежащим на боку с закрытыми глазами, с прижатой к груди рукой.

В ужасе отступил Ванька к двери. Опрометью бросился к соседям, к попу Нестору.

— Помер! Помер! — бестолково и потерянно твердил Ванька.

Но когда соседи сбежались, Иван Федоров уже пришел в себя. Только бледен был необыкновенно и слаб.

Его уложили в постель.

— Видишь, батя, болен ты, — сказал Ванька, когда они остались одни. — Напрасно и серчал... Надо принять тебе гетманский подарок...

Федоров, глядя в потолок, не ответил. На следующий день он добрел до гетмана Ходкевича, чтобы сказать, что отказывается от села.

Просил только отдать ему матрицы, отлитый шрифт и пятьсот псалтырей.

— Ты пожалеешь о своем решении, — растерянно сказал гетман, не ожидавший отказа.

— Нет, — ответил Федоров. — Прости меня, пан гетман. Но пуще твоего недовольства убоился я гнева Христа моего. Ибо спросит он, зачем

я, лукавый раб, не отдал серебра его, а зарыл талант свой в землю. Мне же ответить нечего будет, коли начну житные семена вместо духовных семян по вселенной рассеивать... Так что прости. Не пропаду. Не оставит меня бог.

И Иван Федоров спустя несколько дней покинул Заблудов, направляясь в новое странствование по чужбине, по городам, где его никто не знал.

Все убогое имущество печатника и книги уместились на двух телегах.

Богатства в Заблудове он не нажил.

Но и веру его отнять здесь не сумели.

Нет, вера его была тверда.

ГЛАВА II



Посланец короля Сигизмунда-Августа шляхтич Вольский уже год как ездил из Литвы в Польшу, а из Польши в Литву, чтобы настичь где-нибудь князя Курбского и вручить тому грамоту короля, требующую прекращения княжеских самоуправств.

Из Кракова Вольский скакал в Ковель, из Ковеля — во Владимир, из Владимира — в Миляновичи, из Миляновичей — в Лиду, из Лиды — в Ошмяны, из Ошмян — снова в Ковель...

Вольский объехал все имения Курбского и все имения его новой жены княгини Марии Юрьевны, урожденной княжны Голшанской; посланца видели и в старостве Кревском, и в селах Упитской волости, и в Звоне Великом Дубровицком, и в Шешелях, и в Кроштах, и в Жирмонах, и в Болотениках, и в Орловкишках, и в Осмиговичах, и в захваченном князем Курбским Туличове.

Нигде застать князя Курбского посланец короля не смог. Слуги Курбского везде грозились наломать Вольскому бока.

Только в городе Остроге, принадлежащем другу Курбского, знаменитому полководцу князю Константину Константиновичу Острожскому, посланец короля чуть не настиг проклятого московита.

Однако Курбского кто-то успел предупредить, и тот ускользнул из Острога всего за какой-нибудь час до приезда Вольского.

Вольский, дав отдохнуть коням людям, опять пустился в погоню.

События в мире шли своим чередом. Продолжалась вялая война в Ливонии. По селам и городам Речи Посполитой прошел страшный мор, В

Кракове католическое духовенство, чтобы разрядить недовольство обнищавшей черни, организовало еврейский погром. В далекой Московии сумасшедший царь Иван, заподозрив измену среди задавленного поборами городского и торгового люда, двинулся во главе опричников по собственной земле, разорил Клин, Торжок, Вышний Волочок, Тверь, Великий Новгород и все окружающие села. Опричники казнили людей без разбору. Говорят, Волхов был красен от крови. По цареву указу сжигались поля, амбары, резался скот. Крестьяне в ужасе разбежались. Царь двигался по опустошаемой земле во главе своего воинства, сидя на боевом коне. Рядом с царем ехал на быке дурак в колпаке с погремушками. Царь кутался в шубу, его бил озноб. Дурак смеялся, высовывал толстый коровий язык и дразнил валившихся на землю людишек:

— Мме-е-е-е!..

Потом царь принялся за Москву. На Троицкой площади, силой согнав туда народ, казнил сто восемьдесят своих бояр и дьяков. Заживо сдирал с них кожу, четвертовал, вешал вверх ногами, обливал то кипятком, то ледяной водой. Главу Посольского приказа дьяка Ивана Михайловича Висковатого подвесил за ноги, а потом всякого разрубил пополам...

Вот с ханом Девлет-Гиреем, правда, царь не сладил. Бежал от него в Вологду. Москву спас от крымчаков воевода Иван Вельский. Говорят, этим он навлек на себя затаенный гнев Ивана...

Так было в Московии. В Швеции же теперь благополучно правил король Иоанн. Прежнего шведского короля Эрика свергли, Иоанн вел переговоры с Польшей о совместных действиях против Москвы.

В Италии по-прежнему один герцог умышлял на другого.

Во Франции пала крепость Ла-Рошель, последний оплот гугенотов, но Сен-Жерменский мир восстановил временное спокойствие, пока 24 августа 1572 года в ночь святого Варфоломея партия Гизов не устроила в Париже дикую резню...

В Нидерландах свирепствовал герцог Альба, и самоотверженные гезы всходили на костры, чтобы из их пепла родился великий гнев Фландрии.

В Англии решался спор с Шотландией, а пока королева Елизавета держала у себя беглую шотландскую королеву Марию Стюарт, даже в изгнании не оставлявшую надежд на новое воцарение и плетущую нити заговоров.

В Испании был казнен по приговору инквизиции сын мрачного короля Филиппа дон Карлос...

А посланец короля Сигизмунда-Августа Вольский все скакал и скакал. Из Польши в Литву. И из Литвы в Польшу.

Так, в пути, и услышал Вольский известие о смерти короля Речи Посполитой, чье поручение выполнял.

Одновременно Вольский узнал и другое: князь Курбский находится в одном дне езды от него, в городке Турейске, где веселится со своими друзьями.

Вольский перекрестился, велел седлать коней и поскакал в Турейск.

Князь Курбский принимал гостей по-царски. Дорогие вина лились рекой. Кушанья были вкусны и изобильны. По ночам над садами княжеского дома взвивались фейерверки, сопровождаемые пушечной пальбой.

Но показная бодрость князя, его беспечные шутки не могли обмануть съехавшихся на празднество Острожских, Ходкевичей, Сангушков, Соколинских, Сапег, Полубенских, Монтолтов, Воловичей и прочих знатных литовцев и поляков.

Все знали, что князь так и не добился от короля права передавать полученные им владения по наследству. Собственно говоря, Курбский и полученным владел по недоразумению, вопреки воле сената. Имений в Литве король вообще не имел права давать иностранцам, польские же имения у князя могли в любой момент отнять. Да и дохода они, хотя Ковельская область была богатейшей, приносить не могли, если бы князь соблюдал права землян, мещан и евреев: все промыслы, вся торговля да и большая часть земли на Ковельщине находились в их, а не в княжеских руках.

Понятно, что Курбский не пожелал смириться с таким положением и владел землей по московским обычаям, присваивая себе все, что считал нужным присвоить.

Оттого в последнее время и были забыты заслуги князя перед Польшей в завоеваниях Полоцка и Великих Лук.

Оттого и пошатнулось при дворе уважение к князю.

Оттого и сам Курбский решил на брак с нынешней своей супругой Марьей Юрьевной.

Мария Юрьевна прожила бурную и веселую жизнь. В первом браке она была за князем Монтолтом, от которого имела двух взрослых сыновей, во втором — за кастеляном луцким Михаилом Козинским, с которым прижила дочь Варвару, ныне княгиню Збаржскую.

Злые языки пошучивали, что Марья Юрьевна пережила двух мужей не случайно. Оба-де стали жертвами ее любовного темперамента и вздорного характера. Семья Голшанских вообще славилась умением заводить дразнилки. Вся Литва хохотала над военными действиями Марьи Юрьевны и ее родной сестры Анны Млынской: грабили друг друга на больших дорогах и втягивали в ссоры своих мужей.

Но Марья Юрьевна была богатая невеста...

Стареющая княгиня без ума влюбилась в князя. При заключении брака она записала на Курбского почти все свои имения. Дочери она не оставила ничего, а взрослым сыновьям оставила только одно село в Литве.

Обескураженные дети возроптали на мать, а князя Курбского грозились убить.

Поэтому, между прочим, вокруг дома в Туренске, где шли торжества по случаю дня рождения Курбского, стояла надежная стража.

Марья Юрьевна на этом празднике сияла. Увядаящая красавица старалась неотлучно находиться около Курбского.

Все празднество было затеяно ради серьезных разговоров с литовскими друзьями о положении, возникшем в связи со смертью Сигизмунда-Августа, Марья же Юрьевна капризно требовала увеселений и старательно мешала мужчинам уединиться.

Сердце Курбского тоскливо сжималось при воспоминании о жене и сыне, покинутых на Руси. Царь казнил обоих, не дав уехать. Да, та, русская, первая, была настоящей женой, а эта...

Воспоминание о казненных усиливало тревогу, вызываемую слухами о том, что литовские паны думают теперь пригласить на королевский престол царя Ивана.

Надо было отговорить друзей от подобной безумной затеи.

Восшествие на престол Ивана или кого-либо из сыновей его ничего доброго князю Курбскому не сулило.

Мешкать не следовало!

А Марья Юрьевна знай себе заливалась хохотом и поводила толстыми плечами!

Наконец Курбский сумел удалиться в дальние покои с князем Острожским, с князем Сангушко, Александром Полубенским, когда-то разбитым им в Ливонии, и бывшим ливонским канцлером Воловичем.

Сидели на широких турецких диванах, пили, говорили о своих охотах, о достоинствах дамасской стали, о паратости борзой суки Романа Сангушко, единственной из всей своры не «сломавшей ног» при последней лисьей травле, спорили о голосах гончих.

Курбский усмехнулся.

— Я удивляюсь, панове, что такие опытные охотники, как вы, хотите дать провести себя больному волку!

Волович поднял коротенькие брови, словно не понимая намека. Сангушко, неопределенно усмехаясь, рассматривал на свет хрустальный кубок с рубиновым вином. Острожский переглянулся с Полубенским и вздохнул.

— Что вы поднимаете брови, пан канцлер? Вы прекрасно знаете, о чем я хочу сказать! Я говорю о желании некоторых моих друзей пригласить на королевский престол выжившего из ума больного распутника Ивана! — почти прокричал Курбский.

— А! — протянул Волович.

— Не горячись, князь Андрей! — миролюбиво промолвил грузный чернобровый Острожский и пригладил седой ежик волос на массивном черепе.

— Король Речи Посполитой — далеко не то же самое, что царь в Москве! — заметил Полубенский. — Разве речь шла об изменении королевского статута?

— Значит, речь о призвании Ивана все же велась? — вспыхнул Курбский.

Князь Острожский шлепнул толстыми ладонями по дивану и захохотал.

— Мне отнюдь не смешно! — обидчиво и запальчиво сказал Курбский.

— Пустое! — проговорил Острожский. — Пустое, князь Андрей! Мало ли какие ведутся нынче разговоры!.. Посуди сам: надежды на наше возвышение при Сигизмунде рухнули. Поляки хотят иметь королем католика. Надо же нам противопоставить их желаниям свое!

— Избирайте на престол кого угодно, но упаси вас бог от Ивана!

— Я слышал, что царю хотели предложить престол на условии отказа от Ливонии, от Смоленска и Полоцка, — равнодушно произнес Волович.

— То есть, пан канцлер, таковы выработанные условия, вы хотите сказать? — съязвил Курбский. — Отлично! А если Иван на них согласится?!

— А ей-богу, никаких условия никто не выработывал! — пожал плечами Волович. — Подтвердите мои слова, панове!.. Даже о сейме не слышно! Но если хотите, князь, знать мое мнение, вот оно: я бы выбрал царя на королевский престол, откажись он от завоеваний.

— Вы не сознаете, что говорите, пан канцлер!

— А ей-богу, сознаю! Иван, слава богу, стар, Литва и Польша, слава

богу, не Московия, и мы не московские бояре! Больше того, князь! Я бы даже считал полезным направить жестокость царя на поляков, на проклятых католиков. Вот бы где он напился крови вдосталь! Кровь собственных холопов ему, наверное, надоела!.. А мы бы тем временем расширили свои земли и свою власть.

— Пан канцлер, вы не знаете Ивана! Он не терпит посягательств на царские права! Он не терпит знатных и умных людей! Вы хотите его руками задавить католиков? Он их задавит. Но вместе со всеми нами!

Князь Острожский нашел нужным вмешаться:

— Полно! Еще никто не звал Ивана на королевский престол. Не лучше ли нам выпить вина, панове? Вино у тебя прекрасное, князь Андрей! Откуда оно?

— С Кипра! — мрачно ответил Курбский. — Вы не хотите говорить, полагая, что я предубежден...

— Дорогой друг! — воскликнул Острожский. — Что бы ни случилось впереди, ты должен знать: мы никогда не дадим тебя в обиду ни одному королю! Правда, панове?

Все согласно закивали, потянулись к Курбскому чокаться.

— Нет чувства прекраснее дружбы, — проникновенно и искренне сказал Роман Сангушко. — Верь нам, Андрей!

— Вам я верю! — нехотя произнес Курбский. — Я не верю царю... — Заверения в дружбе ничуть не успокоили князя, но истинные чувства высказать было неловко.

В эту-то минуту и постучали.

— Какого черта? раздраженно крикнул Курбский, полагая, что опять прислали от Марьи Юрьевны. — Я сказал, чтобы меня не беспокоили!

— Гонец от короля, ваша светлость! — виновато сказал за дверью слуга. — Княгиня приказали предупредить...

— Ах, гонец от короля! — воскликнул Курбский. — Отлично! Я приму его! Ведите гонца в залу к гостям!

Он обратился к друзьям:

— Милости прошу со мной!

В зале одни шушукались, другие смеялись, третьи смотрели исподлобья и молчали.

Шляхтич Вольский в пыльном платье, загорелый, угрюмый, одиноко стоял посреди враждебной толпы княжеских гостей. В левой руке он держал грамоту с королевской печатью: король последний раз предупреждал Курбского о недопустимости самоуправств и требовал немедленно возратить имение Туличов его законным владельцам.

Князь Курбский вошел быстрым шагом, не ответив на поклон гонца. Вольский покраснел, и его загорелое лицо стало почти черным.

— По поручению его милости, великого короля... — громко и враждебно начал он.

— Дай сюда!

Курбский вырвал из рук опешившего посланца королевскую грамоту, ухмыляясь, осмотрел ее печать.

— Посмотрите на этого чудака, панове! — обратился Курбский к гостям. — Полюбуйтесь на него!

Гости захихикали. Вольский сжал зубы, смотрел на князя с ненавистью.

— Читай грамоту! — грубо сказал он. — Тебе пишет король!

Мгновенно наступила тишина.

Курбский побледнел.

Потом неторопливо порвал грамоту.

Сложил обрывки, порвал и их.

Швырнул под ноги Вольскому, растерянно опустившему глаза на рассыпавшиеся клочки бумаги.

— Ты едешь ко мне с мертвыми листьями! — отчетливо и спокойно сказал в полной тишине Курбский. — Твой король мертв... Но хотя бы ты и от живого короля приехал, знай, Туличова я не уступлю и в свои дела никому соваться не позволю... А теперь ступай! Эй, проводить!

К Вольскому подскочили слуги.

— Ты заплатишь за свои слова, князь! — с трудом выговорил Вольский.

— Гнать его в шею! — крикнул Курбский. — Вон, холоп!

ГЛАВА III



От села к селу, от местечка к местечку, от города к городу тащились телеги Ивана Федорова по Речи Посполитой, пораженной чумным мором.

Под погребальный звон колоколов, под унылое пение в костелах, под причитания обезумевших от горя женщин и тягостное молчание мужчин, провожавших покойников, медленно, но упорно вращались колеса.

В мазницах иссякал деготь — им запасались в придорожных корчмах и кузнях. Лопались железные ободья — их меняли. У коней отставали подковы и оставались лежать в пыли кому-то на счастье — коней перековывали.

И копыта снова стучали, колеса снова вращались.

Своего счастья не было.

Была дорога. Только дорога. Одна дорога. Дорога по ограбленной, замученной королевскими, шляхетскими, княжескими поборами земле. Дорога по укрепленным деревенькам, где люди по шесть дней в неделю работали на барщине, а седьмой тоже на барщине за совершенные ими провинности или за долги. Дорога по нищете. По несправедливости. По отчаянию. Дорога среди людей с потухшими глазами, которые даже в смерти от чумы видели выход и избавление от невыносимой жизни.

Была дорога от одних развеянных надежд к другим развеянным надеждам. От порога одной православной епархии к порогу другой епархии, где слышалось одно и то же равнодушное: «Нет».

Наконец вдаль показались синие очертания Карпатских гор. Издалека их синева казалась загадочной и грозной. Поднятые над холмистой

равниной, над дубовыми рощами к самым облакам, они ждали...

— А что, верно мы едем на Львов? — останавливая лошадь, спросил Федоров у мужиков из встречного обоза.

Мужики сняли шапки.

— А то верно же, пане! — ответил один из них. — Так прямичком и езжайте, дай вам бог здоровья... А позвольте спросить и вас, пан купец. Что, не из Винницы или не из Кишинева держите вы путь?

— Были и в Виннице.

— О! И что же слышно в Виннице? Не ждут ли татар? Спокойна ли дорога?

— Дорога-то спокойна, а татар ждут.

— От горе! Треба поспешать... А что это вы везете, панове, не пойму... Не соль, не ткани, не кожи...

— Книги мы везем, брат.

— Как?

— Книги. Писания отцов церкви.

Мужики открыли рты, переглянулись, потом тот, что беседовал первый, опустил на колени в дорожную пыль.

— Ой, простите, панове... Не знаю, как величать... Мы не знали... Такие люди, а мы болтаем своими языками... Благословите нас, пан... пан...

— Не священник я, — сказал Федоров. — Не дано мне благословлять.

— Нет уж, пан, — настаивал мужик. — Писания... Мы понимаем...
Прошу!

— Помогай вам бог! — просто сказал Федоров.

Набежавшие было на солнце облака проплыли. Глубокая тень, затопившая котловину мелководного Пелтева, стремительно откатилась к южным предгорьям, и тогда, словно беззвучно поднявшись с морского дна, на берегах реки возник, сияя в солнечном свете, окруженный каменными стенами, высококрышный, весь в шпилях и редких золотых крестах город.

Телеги медленно спускались по каменистой дороге, среди вековых дубов и буков, меж которых росла чистая, промытая сбегавшими со склонов во время дождей потоками трава.

Поля, окружавшие город, были по-летнему пустыни.

Предместье напоминало десятки раз виденные предместья в других

местах: домишки да избенки с огородами, брехливые лохматые псы, свалки нечистот, голопузые ребятишки...

Но древние стены города были могучи. Ворота окованы медью. Дорога перед ними вымощена.

Городская стража бесцеремонно задрала рогожи, переворошила тюки.

— Книги! — сказал усатый стражник стоявшему наготове писцу. — И рухлядь.

— Зачем прибыли?

— Везем книги на продажу.... Может, поселимся.

— Купцы?

— Мастера. Я друкарь, сын — переплетчик.

— Два злотых!

Федоров возмутился:

— Таких пошлин не существует!

— Плати два злотых! — сказал писарь.

Но Федоров въезжал уже не в первый город.

— Ты с кем говоришь? — прикрикнул он. — Перед тобой шляхтичи стоят, собачий сын! Вот, гляди!

Он ткнул писарю бумагу, удостоверяющую его шляхетство.

— Прошу прощения... — залепетал писарь. — Паны сами молвили, что они мастера...

— Я мастер священных книг!

— Прошу прощения, панове... Прошу прощения... Десять грошей с вас, панове. Всего десять грошей... Прошу вас, панове, въезжайте! Милости просим!

Но когда телеги въехали в узкую улочку и удалились, писарь выругался.

— Шляхтичи! сказал он. — Черт носит таких шляхтичей! Разве то шляхтичи? Холопами они глядят, а не шляхтичами! Тьфу!

Высокие, в два и три этажа каменные дома. Нависающие над узкими улицами так, что заслоняют небо, каменные же балкончики. Крохотные, вымощенные булыжником, похожие на колодезное дно площади. И вдруг после сырых каменных ущелий просторная, залитая солнцем площадь перед костелом, где в нишах застыли скорбные изваяния святых, с припавшими к их холодным, мраморным ступням молельщиками и

молельщицами. Звуки хоралов, рвущиеся из отворенных дверей храма.

А на площади — движение, смесь красок и лиц. Крестьяне в холщовых рубахах и постолах, загорелые, рослые, как дубы их родины. Босоногие, подвязанные веревками монахи. Зажиточные горожанки в чепцах или платках, розовощекие, пышные, зрелые, как августовские яблоки. Евреи в ермолках и лапсердаках, шныряющие вдоль стен, как тени. Знатные дамы, которым слуга прокладывает дорогу: тафта, пена кружев и бледные личики. Бродячие торговцы в пыльных, порой залатанных плащах. А вот еще пара: степенный мужчина в одеянии из темно-синего бархата на белой атласной подкладке, в такой же темно-синей шапке, обложенной мехом горноста, — по одежде — декан богословия, а рядом с ним возбужденный старичок в длинной черной тоге с широким, на черной же тафте, рукавом и в круглой черной шапочке, обшитой серебряным галуном, — профессор философии.

О чем они говорят?

Что так возбудило престарелого профессора?

А что в мыслях вон у того молодца в бараньей высокой шапке?

Вон у той высокой, надменно поджавшей тонкие губы красавицы панны?

Не узнаешь.

Чужой город.

Чужие люди.

Чужие нравы.

Чужая речь.

Речь то польская, то еврейская, то немецкая, то итальянская, то венгерская...

Но нет! Прислушаться — и зажурчит, зазвенит в этом смешанном говоре и родной русский язык. Как ручеек, несущий и свои добрые прохладные струи в потоке других ручейков!

А раз слышна русская речь, значит не страшно!

Значит, и не так уж он чужд, этот город.

Да и почему ему быть чуждым?

Он славянский. Свой.

Только оглушил поначалу пестротой.

Ну да, бог даст, обживемся, осмотримся!

Федоров с сыном миновали центр города и, расспрашивая дорогу у встречных, добрались до прибрежных улочек, где среди небогатых домов, недалеко от базара, сыскали, наконец, дом львовского мещанина Ивана Бильдага.

Бильдага, владевший подо Львовом клочком земли, который сдавал внаймы крестьянам, промышлял торговлей с Валахией и Молдавией.

К нему у Федорова было письмо от Мамоницей. Правда, давнее, год с лишним назад написанное. Но больше податься было некуда...

Федоров постучался на крыльце.

На крыльцо вышел мужик, стриженный под скобу, в полотняной вышитой рубахе, заправленной в зеленые шаровары, в сапогах. Узнав, что гость от Мамоницей, махнул рукой на письмо, обнял Федорова, засуетился, закричал, чтобы отворяли ворота.

В доме у него в красном углу висели русские иконы.

Федоров и Ванятка перекрестились с облегчением.

Гостей принял радушно.

Иван Бильдага знал, что к нему может приехать знаменитый друкарь, создатель первых православных книг, был польщен честью, а еще больше обрадован встречей со своим, с русским.

Покинул он родные белевские места еще мальчишкой, но в памяти хранились и обрывистые берега Оки, и подступивший к воде сосняк, и скрип коростелей в заречных лугах...

Впрочем, вздохам Бильдага отдал только первый день. На следующее же утро он без обиняков спросил Федорова, как думает устроиться приезжий, имеет ли капитал для покупки дома и устройства печатни.

Такая прямота насторожила и покорибила Ивана Федорова.

Он отвечал уклончиво, осторожно.

Впоследствии ему не раз пришлось стыдиться за свою начальную скрытность, за сомнения в Бильдаге.

— Проведи меня к вашему епископу, к Гедеону Балабану, — попросил Федоров. — Одному мне печатню не поднять.

— Будешь просить денег? — спросил Бильдага. Он покачал головой, не скрывая сомнений в разумности такой просьбы.

Но проводить к епископу не отказался.

— Что ж? Пойдем...

Епископ Гедеон Балабан внимательно смотрел на коренастого, широколицего человека с окладистой, тронутой серебром русой бородой. Епископа раздражали и смущали голубые требовательные глаза этого человека, раздражал звук его густого, неуместно громкого голоса.

Епископ давно слышал об Иване Федорове, знал и его печатные книги. Книги были хороши.

Но взять в толк, почему Федоров требует помощи, епископ не мог. Всякое мастерство — дело самого мастера. Хочет печатать книги, пусть печатает. А при чем тут он, Гедеон Балабан?

— Во сколько же обходится печатня? — все же спросил епископ.

— Один станок, владыка, не менее двухсот злотых. Но еще бумага нужна. Хотя бы на триста злотых. Да мастерам для начала заплатить..

Епископ поднял ладони, словно загораживаясь.

— Пятьсот злотых! Пятьсот злотых! Да на пятьсот злотых можно купить триста коров!

Иван Федоров посмотрел на епископа озадаченно. Шутит, что ли? Но Балабан не шутил.

— Пятьсот злотых! — повторил он. — Господи помилуй! Таких денег у нас не имелось и не имеется!.. Таких денег! Таких денег!

Деньги у Балабана имелись. Но епископ славился своей скупостью не в одном только Львове. И вдобавок он искренне не понимал, почему должен помочь мастеру.

— Я ж не для себя прошу! — сказал Федоров. — Для церкви же! Ведь нету книг у люда христианского. Знаю. Сам всю Литву проехал.

Но Балабан почти не слышал. Глядя поверх Федорова, он все еще шевелил губами, беззвучно повторяя сразившую его сумму.

— Святой отец! Насмотрелся я на гонения, каким подвергают истинных христиан. Насмотрелся на страшную жизнь их. Коли не словом божьим, чем еще вдохнуть в них надежду на избавление, на справедливость? Оттого и стою здесь сиротой, оттого и молю — помоги!

Балабан перевел, наконец, взгляд на Федорова и словно изумился, что друкарь еще тут...

— Нет у меня денег! Нет! Нет! — замахал он руками. — Ступай! Ступай! Сам, сам друкарню делай... Сам!.. Нет денег!

Иван Федоров не тронулся с места. Если и здесь ему откажут, хоть руки на себя накладывай. Не в Краков же, в глотку католикам, лезть...

— Святой отец! Выслушай меня! Мне ничего не надо! Только прокормиться! А книги я делаю, каких нигде нету... У меня доски с собой, шрифт... Апостола по десять злотых продавать можно. Четыреста книг

напечатаю, как в Москве, вот тебе четыре тысячи золотых! Три тысячи чистыми выгадаешь!

— Нету, нету у меня денег! — твердил Балабан. — И о выгоде грешной слушать не хочу... Сколько будешь печатать-то? Месяц?

— На одном станке, владыка, меньше чем за год не управиться...

— Вот, вот! Видишь!.. Да и денег таких нет! Нет! Откуда им взяться у меня? Нет! Ступай!

Федоров уже не находил слов.

Отчетливо подумалось: деньги, вырученные за продажу псалтырей, на исходе. С ними начинать дело нельзя. Скоро он окажется без средств. Тогда останется только продать коней и инструменты, доски и шрифт.

Отчаяние бросило Федорова на колени.

— Владыка! Во имя господа бога молю! Снизойди к речам моим! Погибнет дело богоугодное!

Балабан поднялся со стольца, отступил, крестя Федорова.

— Бог с тобой! Ты пошто так? Зачем? Зачем? Не надо!.. На все воля творца... Не захочет, не допустит... Да... Ладно, скажем... Не допустит... Да...

Он боязливо позвал:

— Игнатий!

Вошел угрюмый дьякон.

— Вот ступай, тебя Игнатий проводит, проводит... Да... Иди с богом. Нету у меня таких денег, нету!.. Иди!

Угрюмый Игнатий тронул Федорова за плечо.

— Слышал, что ль?

Федоров медленно поднялся с коленей, стараясь не показывать увлажнившиеся глаза. Глухо пробормотал:

— Прости, владыка...

Дьякон топал следом за ним до выхода на улицу. Тяжело. Неуступчиво...

Иван Бильдага в следующие дни водил Федорова от одного православного священника к другому, от одного богатого православного купца к другому богатому купцу.

И с каждым днем Федоров приходил все в большее отчаяние. У священников, прознавших об отказе епископа, денег не находилось. Купцов книги удивляли, но никто не хотел давать денег даром.

Иной раз Иван Федоров, измученный скитаниями и напрасными просьбами в других городах, не мог выдержать унижающих разговоров.

На глазах его выступали слезы. Он молил о помощи. Но все было

напрасно. Ни духовенство, ни богатые горожане ему не помогли.

Вернувшись после одного из посещений купцов в дом Ивана Бильдаги, Иван Федоров сел во дворе на колоду для рубки дров и, закрыв лицо ладонями, долго молчал.

Сын угрюмо сидел рядом.

— Все людишки подлы! — бубнил он. — Зря ты, отец, отказался от Спасова... Увидел теперь, ради кого живота не щадишь?.. Да кому ты нужен? Кому твои книги нужны?

Иван Бильдага сокрушенно вздыхал, не зная, чем помочь.

Федоров словно очнулся.

— Врешь! — сказал он. — Не могла искра божия в людях погаснуть!.. Не верю!.. Я пойду!

— Да куда еще? — с раздражением и досадой воскликнул сын. — Уже все пороги обил! Смеются вслед!

— Молчи! Я к людям пойду! К христианам! На паперти встану! Буду у вдовиц и сирот на проповедь слова божьего просить! Пусть станет стыдно богатым и знатым за скардность их!

Утром, заметив, что отец чистит кафтан, сапоги, тщательно расчесывает голову и бороду, Ванька осторожно осведомился:

— Далеко ли ныне-то?

— Или ты не слышал? — повысив голос, ответил Иван Федоров. — В церкви. На паперти.

Бильдага и тот растерялся.

— В церкви?

— Куда ж мне еще?

Федоров вынул тщательно завернутый в бумагу и полотно московский Апостол, несколько евангелий, заблудовскую Псалтырь, завернул в новую чистую тряпицу.

— погоди, Иван, — попросил Бильдага. — Ладно ли получится?

— Или я на разбой собрался?

— Вестимо, не на разбой, да... Как священники-то глянут?..

— Пусты и жалки священники ваши, коли печатанию святых книг не хотят помочь. Пусть говорят, что хотят. Я к людям с чистой душой иду. Ради их же блага... Благослови меня, господи, нужные слова найти!

Иван Федоров вышел из дому и направился к ближней православной

церкви Успенья богородицы.

Дождавшись конца обедни, он вышел на паперть, снял шапку, перекрестился и воззвал к вытекающей из церкви толпе прихожан:

— Православные!

Люди задерживались, оборачивались на коренастого человека в синем кафтане, поднявшего над головой тяжелую книгу в кожаном переплете. Те, что еще не вышли из храма, заинтересованные тем, что творится, напирали на идущих впереди. Народ пошел быстрее. Растекался по церковной ограде. Гудели. Не понимали, какая новость ждет...

— Православные христиане! — возвысил голос Иван Федоров. — Вот пришел я к вам, московский друкарь, Федоров Иван. Гонениями царских слуг, презревших заповеди божии, принужден был покинуть родину и скитаться в чужих краях. Прошел Литву и Польшу, плача кровью над мучениями своих братьев во Христе. Видел, каким гонениям подвергается истинная греческая вера наша. Вижу и то, что сами христиане забывают или не знают слово божье. Богатые утесняют меньших братьев, чинят им обиды всякие, неправды великие, меньшие же умышляют всяческое зло, и оттого страдает люд! Нету божьего единения в нем!.. Чтобы уменьшить страдания сии, замыслил, как повелел мне господь бог наш, печатать книги священные, без коих не будет на земле правды! Но вотще искал сочувствия у неких духовных особ и богатством вознесенных. Видно, затмил им блеск золота слезы сиротские, горе вдовье, нужды несчастных... Не нашел я помощи у избранных и вот притек ныне к вам... Братья! Если не вы, кто еще поможет теперь созданию книг истинных? Если не вы, что с божьей правдой станется?!. Порадейте миром! Дайте кто сколько может на возведение друкарни православной! Пусть и мало даяние, но множеством малых великое совершим вкупе с вами!.. Вот книги, мной созданные! Смотрите! Кои в Москве, кои в Литве печатал... Здесь же новые, коли ваша воля будет, на радость единоверцам и на печаль врагам создам. Сил не пощажу! Трудов не пожалею!.. Не сомневайтесь в словах моих! Не пожалейте лепты на богоугодное дело! Вам же я верным слугой буду!

Книги переходили из рук в руки. Прихожане взволнованно переговаривались, шумели.

Поп Успенской церкви вместе с дьяконом давно уже стояли рядом с Федоровым, не зная, как поступить.

— Пусть поп скажет, верно ли друкарь толкует! — слышались голоса.

— Говори, батя!

Поп оглянулся, развел руками.

— Книги сии подлинные... — с запинкой произнес он. — Но дорого печатню ладить, братья... Оттого...

— Слышали! Подлинные книги!

— Попам на все божеское денег жаль! Утробу набивать любят, а книги, ишь, ему дороги!

— В книгах-то вся правда, как есть! Толстопузым не с руки правду до всех доводить! Прячут!

— Братья! У католиков, у лютеран — у всех книги печатные, дешевые. Только для наших попов они дороги, вишь!

Поп посунулся к Федорову.

— Что наделал?! Смуту сеешь!

Федоров возразил:

— Глас народа — глас божий! Или забыл писание, отче? Обратись к пастве! Скажи, что похвально желание людей свои книги иметь! Да сам и собирай деньги, кои подадут.

У попа хватило разума принять совет. Воздел руки.

— Братья! Внемлите! Коли таково желание ваше, изберите из своей среды достойных, а мне доверите — и я, грешный, помочь готов... Соберем даяния ваши на учреждение печатни...

Иван Федоров, выпрямись, слушал выкрики, перебегал взглядом по улыбающимся, веселым лицам, в груди что-то теснило, мешало дышать, мешало сказать хотя бы слово, и он лишь сильнее и сильнее сжимал в руке старую шапку...

К другим церквям с ним пошли доброхоты из толпы. И везде, у каждом церкви, прихожане, услышав о печатных книгах, о том, что вся надежда на них одних, выбирали людей для сбора денег и клали в подставленные руки и чашки кто сколько мог.

Редко звякала серебряная монета. Еще реже золотая. Зато щедро, хоть и глухо, стучала бедняцкая медь. По грошу и полгроша клали люди, отрывал у себя иногда последнее. Но церковей было много, прихожан сотни, и гроши складывались в злотые, злотые — в десятки злотых, а десятки — в сотни...

Епископ Гедеон Балабан на четвертый день сбора подаяний призвал Ивана Федорова.

Он принялся упрекать печатника в самочинном сборе денег.

Иван Федоров оборвал жадного епископа:

— Где сие возбраняется? И не на свою потребу, на общее благо собираю... Я думал, ты не выговаривать звал, а свою лепту внести хочешь.

Гедеон умолк. Он даже дал пять злотых, Но Федоров понял: добра ему

от Гедеона не ждать.

Было собрано почти семьсот золотых. С этой суммой можно было приступить к работе. Теперь надо было найти поставщиков бумаги, найти помещение для жилья и типографии и сыскать подручных. Окрыленный успехом, Иван Федоров бурно взялся за дело.

Неожиданно он сделал открытие: город больше не был ему чужим. На незнакомых улицах известному в лицо большинству православных жителей печатнику внезапно улыбались, кланялись, пожимали руку.

Иные жители звали в дома, были рады угостить, побеседовать.

— Боже! — шептал Федоров перед сном, истово кладя поклоны перед иконами. — Благодарю тя, боже, за милости твои...

Но радость его была преждевременна.

ГЛАВА IV



Наступал 1573 год. Речь Посполитую раздирали споры. Литовские магнаты все же решились пригласить на королевский престол царя Ивана. Впрочем, за избрание царь должен был заплатить Ливонией, Полоцком и некоторыми другими пограничными городами. Иван колебался. Польские же магнаты прочили в короли французского принца Генриха Валуа. Франция была далеко, ссор с ней не существовало, французской короны Генрих при жизни короля Карла получить не мог, а личность его не оставляла желать ничего лучшего: принц любил женщин и собак, к государственным же делам имел стойкое отвращение.

В бурные годы междуцарствия католическая церковь пошла на мир с протестантами, с лютеранами, кальвинистами, антитринитариями, со всеми, кого клеймила именем «диссидентов».

Она могла позволить себе эту роскошь: шляхта уже была сыта реформами, а если где-нибудь еще и пыталась выступить против засилья официальной религии, то крестьянство и городские низы ее не поддерживали. Им шляхетская борьба за землю ничего не сулила.

Теперь пристальный взор католических кардиналов и епископов устремился на православную паству.

Присоединенные к Речи Посполитой южные и восточные области Литвы, населенные в основном православным людом, объединялись в борьбе против новых насильников вокруг греческой церкви.

Отстаивая религию предков, измученные народы Белоруссии и Украины отстаивали само право на существование.

Столетие спустя этой борьбе суждено было вылиться в открытые могучие движения крестьянского и мелкого городского люда.

А сейчас эта борьба только начиналась, но наиболее дальновидные из католических политиков — иезуиты — уже беспокоились, замечая первые искры будущего пожара.

И там, где они могли эти искры потушить, — тушили.

Хмурый декабрьский день. Над застывшей Вислой, над вмерзшими в лед прибрежными сваями, над застывшими улицами и площадями — низкое, словно графитом натертое небо. В стылом безветрии на Краков падают одинокие колючие снежинки.

Королевский замок Вавеле, стоящий на высоком холме, кажется погруженным в сумерки.

Впрочем, и впрямь уже смеркается. Что поделаешь? Декабрь!

Кардинал Станислав Гозий медленно отворачивается от высокого стрельчатого окна. Медленно пересекает покои, опускается в кресло перед камином, протягивает к огню руки.

— Кстати, — спрашивает он у своего собеседника, тучного старца, непрерывно перебирающего крупные гранатовые четки, — кстати, кто такой Иероним Виттенберг?

Старец — католический епископ королевского города Львова, — не переставая перебирать четки, вопросительно взглядывает на кардинала.

— Виттенберг? Право, ваше высокопреосвященство, вы задаете трудный вопрос... Впрочем, простите... Виттенберг?.. Не имеете ли вы в виду львовского аптекаря Виттенберга?

— Я имею в виду именно его... Что вы знаете о Виттенберге?

Епископ медлит.

— Он не католик, ваше высокопреосвященство. Он лютеранин. Я до сих пор мало им интересовался.

— Напрасно... А знакомо ли вам имя Мартина Сенника?

— О да, ваше высокопреосвященство. Какая жалость, что столь известный трудами врач не исповедует истинной веры... Но Сенник — житель Кракова, ваше высокопреосвященство.

— К сожалению, да.

Молчание. В камине с треском рушится полено. Кардинал неторопливо подгребает выскочившие из-за решетки угольки.

— Святая церковь, говорит кардинал, — святая церковь не знает дел малых и больших. Все дела для нее равно значимы, если служат укреплению на земле власти его святейшества папы.

Молчание. Собеседники осеняют себя крестным знамением.

— Аптекарь Иероним Виттенберг, близко знакомый с врачом Мартином Сенником, в свой недавний приезд в Краков прибыл не один, — продолжает кардинал. — Он прибыл с московским друкарем Федоровым. И при посредстве Сенника этот друкарь получил у нашего фабриканта Лаврентия бумагу для печатания православных книг. Вдобавок получил ее в кредит... Вы знаете об этом?

— К сожалению, впервые слышу, ваше высокопреосвященство... Но что можно сделать? Ведь Лаврентий, кажется, схизматик.

— Это не имеет значения. Следовало перекупить бумагу. Он предпочел бы наличные деньги... Впрочем, поздно. Я тоже узнал о случившемся очень поздно...

Ровно горит огонь. Под сизой золой — прозрачный накал.

— Мне чрезвычайно горестно, — произносит епископ, — чрезвычайно горестно, что во Львове появилась схизматическая печатня, в то время как наши книги в городе не печатаются...

— Об этом надо подумать, — отвечает кардинал. — Я приглашу к себе типографщика Николая Шарфенберга. Если потребуется, святая церковь поможет ему открыть типографию и во Львове... Но сейчас речь о другом. Деятельность Федорова опасна, ваше святейшество. Его книги могут принести неисчислимое зло.

— Я понимаю, ваше высокопреосвященство...

— Схизму надо искоренить! Душами людей должны безраздельно владеть мы, римская церковь! Иначе не одной Польше — всему существующему порядку вещей грозит гибель...

— Но следует ли озлоблять население?

— Озлоблять?.. О нет! Население здесь ни при чем!.. Но вам следовало бы позаботиться о пресечении дружбы Федорова с нужными ему людьми... Найдите способы.

— Понимаю, ваше высокопреосвященство.

— Да, кстати... В каком цехе записан Федоров?

— Полагаю, что он в единственном лице представляет собою цех друкарей.

— Но ведь создание печатни предполагает не только труд печатника, но и труд литейщиков, столяров, возможно, граверов?

— Гравировать, кажется, печатники могут сами, ваше

высокопреосвященство.

— А делать станки?

— Полагаю, что нет.

Кардинал Станислав Гозий, один из самых ярких иезуитов не только Польши, ворошит кочергой в камине, и там взвивается веселый вихрь золотистых искорок.

— А скажите, ваше святейшество, вы интересовались причинами появления Федорова во Львове?

— Кажется, он прекратил работу у гетмана Ходкевича...

— Нет, нет!.. Вы знаете, почему он покинул Московию?

— Гнев великого князя?

— Скорее духовенства... Вы, конечно, не читали московский Апостол. Напрасно. Весьма любопытная книга... Она рассчитана на чернь.

— Я впервые слышу, ваше высокопреосвященство...

— Да, любопытная книга! Знатные люди на Руси считают Федорова еретиком... Неплохо было бы, чтобы схизматики во Львове узнали об этом. Понимаете? Он для схизматиков еретик, и вдобавок ему предстоит работать в цехе...

Епископ пропускает между пальцами гранатовое зерно четок.

— Я всегда вдохновляюсь, очастливленный беседой с вами, — говорит епископ. Какое счастье, что вы с нами, ваше высокопреосвященство!

Кардинал Гозий не ошибался. Иван Федоров, подчиняясь существующим обычаям, вынужден был записаться в цеховую общину как печатник. Иначе бы он не имел права создавать книги. Прежде чем записаться в цех, Федоров должен был не только показать свои книги, но и продемонстрировать свое искусство гравера. В конце концов при помощи православных старшин он был признан мастером и получил разрешение от городского совета печатать книги.

Сын Федорова вступил в цех переплетчиков.

— Чудно, ей-богу! — сказал Федоров. Выходит, мы в разных цехах теперь с сыном и вроде как чужие!

— Таков закон! — возразил Иван Бильдага. — Да и сыну твоему не хуже, по-моему... Вот уже сейчас работу дают.

Впрочем, сетовать было и некогда. Все с помощью того же Бильдаги он заказал винт для станочного пресса, металлический тимпан, приобрел свинец к олову и в сарае снятого дома отлил взамен попортившихся и утерянных букв новые.

Приятель Бильдаги Мартин Голубникович, занимающийся, помимо

прочих дел, торговлей книгами, взялся свести Федорова с людьми, которые могли бы оказать помощь в приобретении бумаги.

Федоров познакомился с аптекарем Виттенбергом, чрезвычайно живым и любопытным человеком, а через него с краковским врачом Мартином Сенником, автором многих медицинских сочинений, последователем Гиппократ, знатоком философии Аристотеля, имеющим связи в самых различных кругах общества.

Воспитанный в Италии, Мартин Сенник отличался широтой взглядов, и его, протестанта, ничуть не коробила дружба с православным христианином, в рисунках и гравюрах которого Сенник открыл недюжинный талант.

Сенник взял на себя труд убедить и убедил бумажного фабриканта Лаврентия дать Федорову в кредит нужное количество бумаги.

Лаврентий согласился на это, так как условия кредита были чрезвычайно выгодны. К 1574 году Федоров обязался выплатить ему шестьсот злотых. Продавая Лаврентий бумагу за наличный расчет, он не получил бы более четырехсот злотых. Впрочем, Федорова сделка вполне устраивала. По его подсчетам, после продажи задуманного выпуском Апостола он, раздав долги и выплатив Лаврентию сумму кредита, должен был получить не менее двух тысяч злотых чистой прибыли.

Тогда можно было бы работать, ни от кого не завися!

Не привыкнув сидеть без дела, обладая навыком в ремеслах и любя работу, Федоров почти все, что можно было, делал сам.

Закупив столярный инструмент, сторговав отличные дубовые бруски, он, не ожидая, пока принесут металлические части, принялся мастерить станок.

Неторопливо, дорожа материалом, понимая, как много выгадывает, не наняв лишнего человека, Федоров пилил, строгал, ошкуривал бруски.

Из-за зимних холодов работать приходилось в доме.

Однажды, размечая доски, он услышал стук. Не снимая передника, не стряхивая стружек, он крикнул:

— Входи!

Порог переступили пятеро. Двух Федоров знал: столяр Иоанн Кавка и водопроводный мастер Григорий. Трое других ему были незнакомы. Иоанн Кавка назвал их: столярный мастер Фома Сикст, часовых дел мастер Генрих Пфлаум и мастер шорных дел Стась Виленский.

По встревоженному виду Кавки и усиленному подмаргиванию долговязого Григория Федоров сообразил: гости пришли неспроста и не к добру.

Между тем кривой Фома, обратясь к спутникам, заявил:

— Улики налицо! Все слишком очевидно!

— Ты погоди! — нахмурился Федоров. — Словами-то не кидайся. Пошто пожаловали?

Фома, ухмыляясь, смотрел в сторону. Генрих Пфлаум нахмурился. Григорий кашлянул. А Стась Виленский, потрогав усы, объяснил:

— Пан друкарь! Старшинам цеха поступила на вас жалоба. Вас обвиняют в нарушении цеховых законов. Мы пришли, чтобы проверить справедливость обвинения... Будьте любезны сказать, что это за доски?

— А почему я вам объяснять должен? Или я не волен делать, что хочу?

Генрих Пфлаум, с пыхтением нагибавшийся за рубанком, повертел его в руках, поставил на место и сказал в пространство:

— Очевидно, русскому мастеру неизвестны законы. Я бы хотел, чтобы их объяснили его единовверцы...

Федоров посмотрел на Кавку и на Григория.

Кавка сокрушенно развел руками.

— Видишь, какое дело... — начал он. — Столярничать-то тебе нельзя.

— Как это «нельзя»? С чего вдруг?

— Да, вишь, такой порядок... Ты печатник — ну, значит, печатай. А столярные там или другие работы делать сам ты не можешь.

— Еще как могу! Лучше ваших столяров сделаю! — Да ведь ты не к столярному цеху приписан!

— Ну так что?

Фома Сикст нашел нужным прервать объяснение:

— Я считаю факт нарушения цеховых законов установленным.

— По неведению мастера! — вступился Кавка.

Прошу учесть, что по-неведению!

— Не имеет значения! — возразил Сикст.

— Как не имеет? — воспротивился Григорий. — Имеет!

Стась, шорник, глядел то на одного спорщика, то на другого. Генрих Пфлаум поддержал Кавку и Григория:

— Неведение мастера облегчает вину.

Полное лицо Сикста пошло пятнами.

— Не присваивайте себе прав цеховых старшин! Наше дело — установить нарушение. А оно установлено. Никто не посмеет отрицать, что друкарь сам делал столярные работы!

— Погоди, погоди! — прервал Сикста Иван Федоров. — Не кричи. Дайте в толк взять, что вам нужно.

Ему объяснили, каждый мастер имеет право заводить только тот

инструмент, который нужен именно ему; каждый мастер может делать только те операции, какие определены уставом цеха. Валяльщики шерсти, к примеру, могут только валять шерсть. Красить ее могут только красильщики.

— Даже работы следует производить в определенном порядке, — важно заявил Генрих Пфлаум. — Пожалуйста. Седельники сначала полируют седла, а потом красят. Но не иначе. Нет! Порядок есть порядок!

— Так я не суконщик и не седельник, слава тебе господи! — сказал Федоров. — По-вашему рассуждать, так один должен литеры лить, другой матрицы ладить, третий станок мастерить, а четвертый только на рычаг нажимать?

— Именно так! — без тени усмешки подтвердил Сикст, и остальные мастера согласно кивнули. — К сожалению, книгопечатание — новое дело. Очевидно, старшинам предстоит навести справки, как поступают в прочих городах.

— Ну, я привык по-своему работать! — заявил Федоров. — Узнавайте не узнавайте, а мешать я себе не позволю.

Через час к нему прибежал Иван Бильдага.

— Очень плохо! Очень плохо! — твердил Бильдага. — Не надо было признаваться, что ты готовил части для станка! Ты знаешь, что тебе грозит? В лучшем случае — штраф злотых в двести! А станешь спорить — из цеха исключат, книг не дадут печатать!

Федоров понял, что дело действительно плохо.

— Догадываюсь, откуда ветер дует, — сказал Бильдага. — Почуяли, что дело выгодное, хотят заставить тебя на них работать.

— Как это?

— Да так! Одни цехи всегда старшие, другие младшие... Столяры и задумали, видно, тебя к себе приписать. Ну, тогда худо! Они начнут и материал закупать, и цены устанавливать, и прибыли.

— Уж тогда литейщикам больше с руки со мной знаться!

— Не знаю. А столяры, вишь, хлопочут.

— Что ж делать?

Они отправились к аптекарю. Виттенберг принял беду Федорова к сердцу, он тотчас дал дельный совет: просить держать собственного столяра.

Федоров не преминул воспользоваться советом Виттенберга. Однако столярный цех резко воспротивился желанию печатника.

Тогда опять же по совету Виттенберга Иван Федоров внес дело на рассмотрение городского совета.

— Городской совет и старшины цехов всегда на ножах, — объяснил Виттенберг. — Цехи не любят советников. Пытаются наложить лапу на их права и доходы, а советники восстают против исключительной самостоятельности цехов. Увидишь, городской совет решит дело в твою пользу.

Аптекарь оказался прав. 26 января 1573 года городской совет города Львова постановил, что друкарь-москвитянин Иван Федоров, нуждающийся в различного рода столярных работах, хоть и не имеет права держать собственного столяра, но может нанять такового у какого-либо мастера.

Столярный цех выразил протест против такого решения.

Тогда городской совет по просьбе Федорова обратился в Краков, к тамошним типографам Матвеем Зибенанхеру и Николаю Пренцине с просьбой разъяснить, как надлежит поступить в подобном случае.

Уже 31 января пришел ответ. Из Кракова сообщили, что типографы у себя столяров не держат, но согласно обычаю нанимают их на нужное время.

На основании полученного ответа городской совет подтвердил свое первоначальное решение.

Не тут-то было! Столярный цех заявил, что решению не подчинится и мастеров Федорову не даст.

— Ничего не понимаю! — пожимал плечами Виттенберг. — Поговорите со столярами, исповедующими вашу веру. Может быть, они что-нибудь объяснят.

Но Иоанн Кавка, виновато улыбаясь, сказал, что сам ничего не понимает. Старшины цеха как один постановили не давать Федорову столяров.

— И ты не дашь?

— Как же я пойду против цеха? Меня выгонят, лишат работы...

Иван Бильдага, заручившись согласием Федорова, пытался действовать при помощи подарков. Подарков у него не приняли, а Фома Сикст начал угрожать скандалом.

Вдобавок поползли слухи о том, что Ивана Федорова изгнали из Москвы как еретика.

— Что ты ни говори, а без врагов истинной веры тут не обошлось! — волновался Федоров. — Нет, тут кто-то воду мутит! Сорвать печатание хочет! Ладно! И мы не лыком шиты!

С удвоенной энергией завершая работу над станком, Федоров для начала вновь обратился в городской совет. На этот раз он просил дать ему

возможность пригласить столяра со стороны.

Он успел собрать станок и приступил к печатанию Апостола, когда 7 декабря 1573 года городской совет разобрал просьбу. Было решено, что Федоров может пригласить столяра со стороны, но обязан записать того к какому-либо мастеру, и уже от мастера нанять сроком на полгода.

— Благодарю господ советников! сказал Федоров, выслушав решение.
— Я так и поступлю.

— Цех не согласится и на это! — заявил Фома Сикст.

— В таком случае городской совет обратится к королю! — закричал на Фому председатель совета. — Мы научим вас уважать постановления!

— Цех тоже обратится к королю! — отпарировал Сикст.

Федоров слушал перебранку с отсутствующим видом. Пока совет и цех станут жаловаться друг на друга, он вне опасности. А печатание идет днем и ночью...

Старшины столярного цеха еще раз пытались сунуться в дом к Ивану Федорову. Но теперь печатник был начеку и просто-напросто не пустил их на порог.

Не щадя сил, работал Федоров эту зиму. Даже в Москве он так не трудился и не уставал. Но решалась судьба типографии, решалась судьба православных печатных книг, и станок стучал по восемнадцать-двадцать часов в сутки.

Понимая, что помощи одного сына недостаточно, Федоров, пользуясь правом шляхетства, нанял себе слугу — безземельного Львовского мещанина Василия Мосятинского.

Он взял Мосятинского к себе в дом на все готовое, обязался кормить и одевать его, платя сверх того по пять золотых в месяц, на условии, что тот станет выполнять все поручения Федорова.

Существо крайне унылое, полусонное, оживлявшееся только за едой и при виде денег, Василии Мосятинский все же сходил за батырщика и за сушильщика.

Ценой невероятных усилий, нечеловеческого напряжения Ивану Федорову удалось к 15 февраля 1574 года завершить печатание Апостола с московских матриц.

Книгу он закончил обширным послесловием, в котором рассказал о своем вынужденном отъезде из Москвы.

Федоров писал, что должен скитаться по чужим странам из-за невежд, умышлявших на него ереси, и отводил обвинение в том, что бежал от православного государя — надежды славян.

Это было лучшей отповедью тем, кто продолжал распространять слухи об еретичестве Федорова.

— Ну, теперь торговать поезжай, — сказал Федорову Иван Бильдага.
— С прибылью будешь!

— Прежде о должке подумать надо, — пошутил Федоров.

— О каком должке? Кому?..

Федоров достал из сундучка кипу исписанных листов. Бильдага по слогам прочитал:

— Грам-ма-ти-кия... Чего это?

— Тот самый должок мой. Начало письменного и книжного учения. По Ивану Дамаскину составил. Пока не напечатаю, негоже и о прибылях думать... Эх, Иван, что толку в книгах, коли народ грамоты не знает? А народ ее хочет знать. Или забыл, как деньги для меня давали? Ну, а я никогда не забывал, для кого сил не щажу. Ведь истины тогда только восторжествуют, когда каждый пахарь, каждый мастеровой познают глубину их. А для того надлежит обучить народ грамоте. Сие начало начал.

— Да когда же ты успел сочинить все?

— Успел вот. Гляди. Вот таблицы букв, вот слогов... Спряжения на каждую букву... Примеры залога страдательного, примеры, как слова значения меняют, когда ударение изменишь... А вот слова с титлами... За ними молитва азбучная... Завершаю же все молитвами и изречениями царя Соломона да посланиями апостола Павла о пользе обучения и воспитания... Ладно ли долг возвращаю, скажи?

Бильдага благоговейно смотрел на букварь.

— Мудр и благочестив ты, Иван, — сказал он. — Воистину труд твой — подвиг...

Букварь Федорова вышел объемистым, в восемьдесят страниц. На последних листах первопечатник опять обратился к читателям.

«Возлюбленный и чтимый христианский русский народ греческого закона, — писал Федоров. — Не от себя написал это немногое, но от учения божественных апостолов и богоносных отцов и от грамматики преподобного отца Иоанна Дамаскина, сократив до малого, сложил для скорого обучения детей. И если труды мои окажутся достойными вашей милости, примите их с любовью. А я охотно готов потрудиться и над другими угодными вам книгами, если даст бог по вашим святым молитвам. Аминь».

Федоров умалял свои заслуги. Но истинному христианину подобало смирение, а указание на Иоанна Дамаскина должно было помочь избежать возможных нападков на самовольное обращение с текстами...

Букварь удался. Было совершено большое, полезное дело.

Новые книги, как две капли воды походившие на московские, были сложены частью у Федорова, частью у Виттенберга, частью в обширных подвалах дома Ивана Бильдаги.

Одну книгу Федоров преподнес епископу Гедеону Балабану, несколько отдал в православные Львовские церкви.

Священники приняли дар несколько растерянно, епископ поблагодарил весьма сухо.

Известие, что московский друкать закончил работу над первой книгой, сразу облетело весь Львов.

Федорова стали замечать богатые купцы и мещане, дотоле не замечавшие его.

Однако Федорову вновь нужны были деньги.

Доверив продажу части книг тому же Виттенбергу, задумал сам объехать ближние города, а потом податься с Иваном Бильдагой в Молдавию и Валахию, где, по утверждению Бильдаги, он мог бы взять за книги хорошую цену в монастырях, а заодно поискать книги черногорца Макария.

У самого Бильдаги денег было в обрез.

— Попробуй поговорить со своим соседом Сенькой-седельником, — сказал Бильдага. — На самых знатных панов работает. У него деньги водятся.

Федоров сомневался в успехе, но Сенька-седельник, державший двух подмастерьев, осмотрев запас книг, полистав Апостол, спросил лишь:

— Сколько надо?

Федоров заранее прикинул, что понадобится, чтобы сразу уплатить и Лаврентию, шестьсот злотых. На всякий случай он попросил семьсот.

— Пиши расписку, — просто сказал Сенька. — Дело божеское. Дам. Но вернуть сразу по возвращении.

Так и договорились.

Федоров отослал четыреста злотых Лаврентию, а сам с Иваном Бильдагой отправился в путь.

Был он утомлен, но радовался, что книги его придут к христианам.

И они в самом деле пошли и в Польшу, и в Литву, и в Москву.

Но одна не двинулась дальше Кракова.

Дальше дворца кардинала Гозия.

Кардинал, рассмотрев Апостол, присланный краковским епископом, своими руками сжег книгу.

А потом долго задумчиво смотрел в растворенное окно.

Слишком долго для человека, просто любующегося закатом солнца за Вислой.

ГЛАВА V



В обеденной зале родового замка князей Острожских за длинным, покрытым камчатною скатертью столом, кроме хозяина, в этот день находились еще три человека: гостящий у Константина Константиновича Острожского князь Андрей Курбский, ректор основанной в Остроге православной духовной академии ученый грек Кирилл Лукарис и священник замковой церкви Иов.

День был знойный, но с полдня ветер тянул со Стыри, и выходящие в сад окна были отворены.

Речь шла о неприятнейшем событии, последствия которого было трудно предвидеть: о бегстве недавно избранного на королевский престол принца Генриха Анжуйского. Узнав о внезапной смерти брата, короля Карла IX, Генрих тайком покинул Краков и ускакал в свою разлюбленную Францию.

— Его слабая голова не выдержит короны Франции! — раздраженно говорил хозяин дома. — Король Карл умер вовремя. Ему еще пришлось бы покаяться, вспоминая о ночи святого Варфоломея. Затишье во Франции — затишье перед бурей. Брак Маргариты с этим беарнием сыном Жанны д'Альбре, ничего не гарантирует. Королева Наварры воспитала сына ненавистником католиков. С той же легкостью, с какой Генрих Наваррский подчинился и перешел в католичество, он вернется в лоно протестантизма. А беглый дурак не сумеет предотвратить этого. Он же мягок, как воск!

Католики втравят его в войну, и войну он проиграет. Я полагаю, что мы скоро услышим о его гибели

Лукарис, утирая запачканную соусом бороду, спокойно заметил:

— Это означает лишь, что король меньше нагрешит.

Курбский слабо улыбнулся.

— Грехи принца были столь же жалки, как он сам, святой отец.

— Это бесспорно! подхватил, смеясь, Острожский. — Эти грехи можно было бы простить, останься Генрих в Польше.

— Я молю бога, чтобы королем Польши стал православный государь!
— серьезно возразил Лукарис.

— Московский царь? спросил Курбский. — Все уже убедились в намерениях Ивана!

— Можно было бы избрать одного из его сыновей.

— Увы! вздохнул Острожский. — Он не соглашается отпустить ни старшего, ни младшего, пока мы не признаем его завоеваний.

— Вы рассказывали святому отцу, как принял Иван нашего посла Михаила Гарабурду?

Лукарис вопросительно поднял густые черные брови. Острожский поморщился

— Очевидно, Иван был пьян...

— Он выжил из ума, — резко сказал Курбский. — Михаил Гарабурда, святой отец, вместе с другими послами шел по двору в Александровой слободе, где затворился Иван, когда вдруг услышал крик: «Эй, послы! Послы!» Гарабурда поднял голову, и что же? Это кричал царь. Он стоял в одном из окон дворца, кривлялся, грозил послам скипетром и поносил их, угрожая отрубить головы, если не заключат мира... И это глава христиан!

— В царях вседержитель поражает и слуг и народ! — возразил Лукарис. — Русь погрязла в язычестве, князь, вот и кара.

Поп Иов обеспокоенно вертелся на скамье.

— Полно об Иване! — примирительно сказал Острожский. Меня беспокоит иное. Меня беспокоит намерение Яна Замойского призвать на королевский престол Стефана Батория. Канцлер мечется по всей Польше, уговаривая магнатов.

— А чем примечателен Стефан Баторий, князь?

— Молодостью и энергией, святой отец. Ему всего двадцать один год. И он честолобив и властен, этот седмиградский воевода.

— И, конечно, католик?

— Католик, и при этом ревностный.

— Печально...

— Прежде чем Замойский уговорит поляков, мы сами изберем короля!
— заметил Курбский.

Лукарис покосился в его сторону.

— Князь Андрей и в политике стремителен, как в бою! — засмеялся Острожский. — А знаете, кого он хочет видеть на королевском престоле, святой отец? Императора Максимилиана!

— И ты со мной согласен, — усмехнулся Курбский. — Разве не так?

— Совершенно согласен! Максимилиан веротерпим, у него достаточно дел в Германии, а кроме того, имперские кнехты не помешают в защите Ливонии.

Подняв глаза от тарелки, Острожский сказал Лукарису:

— Слышали о новом злодействе?

— Что такое?

— Графиня Заболоцкая опять повелела заклеить железом семь новорожденных младенцев, крещенных по православному обряду.

— Блудница вавилонская, тварь! — неожиданно рявкнул поп Иов. — Сам зрел сию змею нынешней зимой. Удержал меня господь. Убить бы ее мало!

— За все взыщется с нее богом, — опустил глаза Лукарис.

— Католикам мало пыток ада. Земных не должны миновать! — стукнул ножом по столу Острожский. — Каюсь, грешный, слишком щажу их... Одна надежда, продлит господь дни мои — отмщу за христианскую кровь!

Со стола убрали жаркое, принесли взвар, фрукты, бутылки с замороженным квасом и вином.

— Осмелюсь напомнить, князь, — сказал Лукарис, отметая крошки, — у вас недавно возникло богоугодное желание начать печатание святых книг.

— Помню! — еще не остыв от вспышки, ответил Острожский. — Я уже посылал во Львов.

— Во Львов? К Ивану Федорову? — спросил Курбский. — Хочешь звать его на службу, князь?

— Хочу.

— Что же друкать? Согласен? Или разбогател на Апостоле и сам мыслит печатать?

— Не разбогател. Говорят, он не выручил ожидаемых денег.

Лукарис покачал головой.

— Судьба Федорова достойна сожаления. Книги его великолепны. Точны и красивы. Будет грешно оставить единственного православного печатника без поддержки... Он не бывал у вас, князь?

Курбский ответил отрицательным жестом.

— Но вы знали его в Москве? Ведь вы тоже сверяли московский Апостол?

— В Москве я был занят походами, святой отец, — ответил Курбский. — Мне приносили листы от митрополита, митрополиту я их и отсылал... Впрочем, я видел делателей книг. Их там с десятков имелось. Наверное, видел и Федорова.

Лукарис, только что хотевший выразить удивление по поводу того, что Федоров до сих пор не обратился в трудную минуту к соотечественнику, воздержался от вопроса. Но заметил:

— Простой делатель книг не смог бы издавать книги с подобным тщанием и строгостью. Его тексты соответствуют греческим.

— Пустое! — сказал Курбский. — Федоров пользуется вывезенными из Москвы листами. А в Заблудове книги выверял гетман Ходкевич. Не сомневаюсь в этом.

— Так или иначе, мастер он хороший, — положил конец спору Острожский. — Но до меня дошли слухи, что Федоров ведет дела с протестантами и католиками. Говорят, будто врач Сенник из Кракова убеждает друкаря печатать латинские книги.

— Сей слух может исходить от врагов веры! — предупредил Лукарис.

— Да, конечно. Но с Сенником дела Федоров уже вел. Доставал через него бумагу.

— К стыду Львовского священства, оно ничем не помогало Федорову! — возразил Лукарис. — Будет непростительно, князь, если и сейчас, когда друкарь испытывает, по вашим словам, трудности, ему не протянут руку братства и поддержки. Наш долг, князь, не дать иноверцам смутить Федорова.

— Следует подумать, следует подумать, — согласился Острожский.

И тут опять подал голос поп Иов:

— Ты все ищешь справцу для Дерманского монастыря, князь. Вот и возьми друкаря. Пусть хозяйство ведет да книги печатает.

Острожский озадаченно поглядел на Иова. Поп иногда удивлял его трезвостью суждений, тем более неожиданной, что вообще большим умом не отличался.

— Справцею? А пожалуй, и верно! — воскликнул Острожский, подумав, что детям и слабым разумом бог порою подсказывает хорошие мысли. — И верно!

Вскоре слуга князя Острожского Петр Ринфлейн, употребляемый для особо важных поручений, навел в Львове Ивана Федорова.

Ринфлейн передал Ивану Федорову приглашение князя в город Острог, не скрыв, что его прочат в управители Дерманского монастыря.

— Князь Константин Константинович наслышан о твоём бедственном положении, — сказал посланец. — Радел по вере, он и вознамерился помочь тебе. Также задумал князь печатать в Остроге книги.

— Не так уж я бедствую, — возразил Федоров. — Но за приглашение благодарю. Скажи князю, приеду...

Федоров скрыл от Ринфлейна правду. Поездка в Молдавию и Валахию ожидаемых доходов не принесла. Всех книг он не продал. Пришлось прибегнуть к помощи посредников. Посредники книги взяли, но деньги присылали помалу и не часто, причем Федоров подозревал, что они используют получаемый капитал для оборота. Однако на тревожные письма все посредники, как один, отвечали, что цена десять злотых на Апостол велика, что они вынуждены получать эту сумму с покупателей частями, оттого и задерживают выплату уговоренных сумм. От книг же, отосланных на Русь, дохода ждать ранее чем через год вообще не приходилось.

Фабрикант Лаврентий тоже находился в стесненных обстоятельствах, не мог дать бумаги в долг.

Мартин Сенник, правда, предлагал ему заняться печатанием латинских светских книг и поборол первоначальное смущение Федорова, дав ему прочитать Эразма Роттердамского, «Зеркало» Николая Рея и «Напиток любви» Себастьяна Кленовича. Федоров убедился, что, печатая эти книги, ничем не изменит вере. И Эразм, которым восторгался Сенник, и Рей, и Кленович с одинаковой ядовитостью высмеивали католическую церковь, погрязшую в стяжательстве, распутстве и чревоугодии. А Рей и Кленович вдобавок не щадили и польскую шляхту, печалились о крестьянах.

Федорова поразило «Зеркало». Проклиная войны, защищая обездоленных, Николай Рей писал о шляхетской справедливости: «Ведь ее зовут паутиною, которую овод пробьет, а бедная муха, влетя в нее, запутавшись, не дождавшись никакого утешения, пропадает и, плача, идет домой...»

Такие книги Федоров напечатал бы. Но у Сенника не было капитала, он лишь думал списаться с немецкими князьями и купцами, заинтересовать их, а пока еще спишетесь!..

Приглашение князя Острожского пришлось кстати.

Федоров поехал в Острог.

С князем было условлено, что Федоров станет следить за хозяйством монастыря, радеть об его доходах, князь же тем временем начнет записать

нужные для печатания материалы.

Ректор Острожской академии Лукарис советовал напечатать Библию. Князь одобрил совет. Он обещал не скупиться, и новая книга должна была превзойти роскошью изданные Федоровым Апостолы.

Перед отъездом в Дерманский монастырь Федоров получил две вести: одну из Вильны, от Петра Тимофеева, вторую из Заблудова, от своего ученика Гриня.

Петр Тимофеев сообщал что готовит издание Евангелия, желал Федорову долгих лет, восхищался новым Апостолом.

Гринь спрашивал, не забыл ли о нем Федоров, надо ли ему ждать известии о нем.

Федоров был взволнован и растроган. Он долго расспрашивал купца, привезшего весточки о том, как живет Петру, не болеет ли. Огорчился, узнав, что Мамоничи обращаются с мастером, как со слугою, а тот все терпит.

Он наказал купцу обнять Петра Тимофеева, а Гриню сказать, что скоро позовет его к себе.

Непременно позовет!

ГЛАВА VI



Минул год, другой... Пользуясь воцарившимся в Польше междуцарствием, русские войска успешно воевали отошедшие к Литве ливонские города и крепости.

Снова пал Пернов, сдались Гельмет, Эрмес, Руев, Курпель, Гапсаль... События заставили польских магнатов и шляхту поторопиться. Партия Яна Замойского одержала победу. В 1576 году она договорилась с литовцами, и ее ставленник Стефан Баторий короновался в Кракове, подтвердив прежние привилегии магнатов и обещав отвоевать у Московии все ливонские и белорусские города. Везде говорили о скором походе на Русь.

Иван Федоров взволнованно слушал толки.

Он все еще сидел в Дерманском монастыре, все еще ждал, когда сможет начать работать над Библией, но терпение печатника иссякало.

Правда, поздней осенью и зимой он был предоставлен самому себе, мог читать и резать заставки к будущей книге, иногда отлучаться во Львов и в Краков, навещать друзей, но с весны до поздней осени, пока не убрали урожай, было не до книг и не до заставок.

Земли монастыря граничили с землями того самого села Спасова, которое когда-то предлагал Ивану Федорову во владение гетман Ходкевич. Только теперь печатник оценил полностью «щедрость» своего первого литовского покровителя. Спасовцы и жители монастырской деревни Кунино жили в непрерывной вражде, начало которой уходило в глубь времен. Теперь уже нельзя было разобрать, на чьей стороне правда. Спасовцы считали своими земли кунинцев, кунинцы своими — земли

спасовцев. Каждую весну кто-нибудь запахивал чужие поля, а обиженный по осени норовил первым собрать с этих земель урожай.

Тогда обе стороны кидали боевой клич и, вооруженные чем попало, сходились в кровопролитной схватке.

Дело усугублялось тем, что среди спасовцев большинство составляли католики.

«Славное бы у меня было житье в Спасове!» — не раз думал Иван Федоров, от которого князь Острожский требовал не щадить соседей.

Сам Федоров норовил уклоняться от «походов», но знал, что творится во время битв и даже во время летних «перемирий». Дерманский боярин Наум Гарабурда, атаман Белашевский, служебники самого Федорова Миколай и атаман Иван Шишка часто хвастали своими подвигами.

Да и в суде, куда трижды вызывали Федорова по жалобе спасовцев, он вдоволь наслушался о штыковых ранах, выбитых зубах и глазах, об оторванных пальцах, изувеченных руках и ногах, об угнанном скоте, об отнятых деньгах, даже о сорванных с мужицких плеч кожухах и разорванных бабьих плахтах.

На первом суде в августе 1575 года Иван Федоров узнал, что его служебникам мало было драки за урожай. Напали на Спасово, сожгли два дома, а у беднейших мужиков Ермака и Сидора отняли двадцать грошей, две косы и жалкую клячу.

Федоров признал вину кунинцев и обещал возместить ущерб.

Князь Острожский обрушился на своего справцу. Он корил Федорова за мягкосердечие, рассказывал о прежних злодеяниях соседей и запретил отдавать захваченное.

— Сам в драки не ездишь, и не надо! — с сердцем сказал князь. Но людям не мешай. Они мою волю творят. Проклятое католическое гнездо выжгу и пепел развею.

И верно, в 1576 году по приказу князя дерманцы трижды грабили Спасово, зверски избивая и калеча жителей.

Но если приказывал князь, то на суд все же вызывали Федорова, в бесчинствах обвиняли Федорова, и отрицать на суде явную вину, опустив глаза, приходилось Федорову же.

В конце концов он не выдержал. Объявил князю, что больше в справцах ходить не может. Если хочет князь, пусть берет его в Острог для печатания книг, а нет — он воротится во Львов.

Острожский и сам видел, что печатник для роли управителя монастыря не годится.

Он освободил Федорова от обязанностей справцы и взял в свой замок.

Это было глубокой осенью 1576 года.

Тогда же Иван Федоров послал в далекий Заблудов с первой же оказией письмо Гриню. Он звал его для работы над будущей книгой. К письму были приложены деньги на дорогу.

Врач Мартин Сенник недоумевал и волновался. Зимой он писал в Дерманский монастырь своему талантливому другу Ивану Федорову о том, что получил предложение от ряда немецких купцов, ведущих торговлю книгами, договориться с известным и непревзойденным московским друкером об издании сочинений Эразма Роттердамского. Через незнакомого посыльного Федоров ответил, что согласен взяться за этот труд и постарается к майской ярмарке в Кракове прибыть к Сеннику на встречу с будущими компаньонами. Согласился Федоров и поделить расходы по приглашению гостей и закупить у немцев на пятьсот злотых бумаги.

Сенник списался с купцами, и те 8 мая приехали в Краков. Федорова не было. Не поступали и деньги от него. Меж тем из вторых рук Мартин Сенник слышал, что Федоров еще перед пасхой отослал во Львов, в руки своих знакомых Власа Замочника и Сеньки-седельника какую-то сумму денег якобы для пересылки в Краков.

Решив, что кто-то хочет присвоить деньги, Мартин Сенник, который был вынужден один принимать немцев и вдобавок не хотел, чтобы расстроилось хорошее начинание, 14 мая спешно написал во Львов Власу Замочнику о дошедших до него слухах.

Мартин Сенник просил незамедлительно переправить ему в Краков шестьсот злотых.

Получив это письмо, Влас Замочник вытаращил глаза. Он и слыхом не слыхал ни о каких немцах, ни о каком Эразме, ни о каких шестистах злотых.

Влас кинулся к Ивану Бильдаге, от Бильдаги — к соседям Федорова. Сенька-седельник подтвердил, что Федоров давал ему пятьдесят злотых для пересылки в Краков, но не Сеннику, а бумажнику Лаврентию. Это была последняя часть друкерского долга. Сенька деньги не переслал еще, опасаясь появившихся в округе татар, но перешлет тотчас же.

— Да провались они, твои пятьдесят злотых! — вскипел потный Влас. Тут о шестистах речь идет! Не получал ты их?

— Ей-богу, не получал!

— И я не получал! Чего же он с меня требует?

— Ты друкарю напиши, — посоветовал Сенька. Но Влас был слишком возбужден.

— Нечего мне писать! — бушевал он. — Я не вор! Я в городской совет пойду, в суд!

Он и в самом деле заявил о письме Сенника в городском совете, а затем вызвал его во Львовский суд.

7 июня львовский городской суд слушал стороны.

Обескураженный тем, что он же предстает в качестве обвиняемого, Мартин Сенник ссылаясь на приход посыльного от Федорова, на слова поверенного Геллембергов, некоего Власа Герника о том, что Федоров пересылал деньги в Краков.

Влас Герник заявил, что о деньгах он слышал, по ничего Сеннику не сообщал и вообще дел с ним не имел.

Влас Замочник утверждал, что не знал Сенника вообще. То же самое сказал Сенька-седельник.

Документов у Мартина Сенника не имелось. Он прибег к последнему средству: потребовал, чтобы суд вызвал Ивана Федорова.

Заседание было прервано. Слушание дела отложили на педелью. Федорова вызвали во Львов.

— Что? Связался с чертями, а теперь сам не рад? — набросился на Федорова Сенька-седельник, едва печатник переступил его порог. — И нас срамишь!

— Да постой! Растолкуй, что тут творится!

— Тебе лучше знать! Это ты нечестивые книги ладил печатать со своим лекарем! Не зря тебя еретиком зовут! Нас уж не только в суд — к епископу таскали!

— Какие книги? Зачем к епископу?

— Условился ты с Сенником каких-то немцев печатать? Звали купцов немецких? Чего глаза таращишь?

Федорову было не до того, чтобы обращать внимание на грубости Сеньки. Он встревожился не на шутку.

— Никого я печатать не уславливался и никого не звал... Это Сенник наговаривает?

— Он... А ты не врешь? Как перед богом!

— Ах, собака краковская! Значит, он тебя замарать удумал!
— Да зачем ему?!
— Уж не бойся! Если марает, неспроста марает! Не без выгоды для себя! Ах, собака краковская!

Федор поднялся с лавки.

— Сенник в городе?

Собеседник насторожился:

— К чему спрашиваешь?

— Пойду к нему. Спрошу, чего хочет.

— Коли так, я в суде заявлю, что вы виделись, — предупредил Сенька.
— Тебе, коли ты чист, вовсе не след к Мартину ходить. Смотри. Хуже сделаешь.

Они вместе отправились к Бильдаге. Бильдага поддержал Сеньку:

— Видеться с Мартином до суда негоже. Плохое подумать могут. Себе навредишь.

Оставшись наедине с Федоровым, Бильдага напрямик спросил:

— Были у тебя разговоры с Сенником насчет немецких книг?

— Были, — признался Федоров. — Но давно. И ни о чем не договаривались мы.

— Ну, вот что, — сказал Бильдага. Бог с ним, с Сенником. Ничего ему не будет. На худой конец сделанными на купцов расходами поплатится. А ты, Иван, послушай моего совета, отрицай начисто, что хотел немецкие книги делать... Погоди!.. Во-первых, суд прицепиться к этим словам может, и чего доброго деньги с тебя взыщут, какие Мартин просит. А во-вторых, епископ Балабан привяжется. Не любит он тебя. Епископ-то, пожалуй, пострашнее суда! И так за тобой слава еретика...

Только тут Федоров сообразил, какой поворот хотят придать случившейся нелепости. Его, православного печатника, могут опять обвинить в ереси.

Федоров побледнел.

— Дай водицы! — тихо попросил он Бильдагу. — Ишь, опять душит...
Старею, знать...

Всю ночь перед судом он думал, зачем Мартин Сенник подал в суд, почему не обратился сначала к нему, не находил ответа и под конец и впрямь начал думать, что краковский врач преследует какую-то неведомую, пагубную для него, Федорова, цель.

На суд Иван Федоров пришел настороженный. Сухой поклон Сенника встревожил его еще больше. Сенник же, заметив неуверенность Федорова, возмущенный, что печатник, приехавший накануне, не счел нужным зайти

к нему, заподозрил неладное.

В тот день рассматривалось всего несколько дел, и почти все бесспорные. Народу же в помещении городского совета набилось немало. Среди любопытных Федоров увидел своего приходского попа викария Георгия, монахов и служебников епископа Балабана и вспомнил предостережение Бильдаги.

Назначенные в заседание советники и цеховые старшины заняли свои места.

Суд начался.

Стараясь придать лицу скучающее, равнодушное выражение, а голосу подобающую бесстрастность, секретарь вскоре вызвал Сенника, Власа Замочника, Власа Герника и Ивана Федорова.

От напряжения, потребовавшегося для принятия бесстрастного вида, угреватый нос секретаря даже побелел.

Секретарь вызывал сочувствие. Как цеховой мастер, он желал торжества Власу Замочнику и в то же время неудачи Федорову, слухи об огромных доходах которого вызывали недовольство и зависть. Вдобавок секретарь был лютеранином, как и Мартин Сенник...

Показания Власа Герника и Власа Замочника внимания не привлекли. Оба повторили то, что говорили неделей раньше.

Но когда дошла очередь до Федорова, по залу пробежал шумок, тут же сменившийся бездонной тишиной.

После обычных вопросов об имени и роде занятий суд перешел к существу дела.

— Знаком ли свидетель с врачом Мартином Сенником?

— Да, знаком.

— Какого рода это знакомство? Не связано ли оно с печатанием книг?

— Да, это деловое знакомство.

— Какие отношения были у свидетеля с Сенником?

— Обычные. Врач Сенник помог получить бумагу в кредит.

— Чем может свидетель объяснить такое расположение к нему малознакомого человека, жителя другого города?

Федоров почуял подвох. Пожал плечами.

— Спросите у самого Сенника... Я искал бумагу, Сенник помог достать ее в кредит. Условия кредита были для бумажного фабриканта выгодны.

— А не переписывался ли свидетель с Сенником, не сносился ли с ним по другим делам?

— Не переписывался, но видаться виделся.

— Зачем?

— Книгами менялся.

— Прекрасно. А не намеревались ли Сенник и Федоров заняться совместным печатанием книг?

Федоров невольно краем глаза посмотрел на Сенника. Тот сидел, покусывая губу, нервно мигая.

— Почтеннейшие! — сказал Федоров. — Я хоть и москвитянин, а хорошо знаю законы цехов. Как я мог пойти на учреждение компании? Это же запрещено!

Секретарь суда удовлетворенно кивнул и тут же, спохватившись, свирепо глянул на свидетеля.

— Поставим вопрос иначе. Не говорил ли свидетель с Сенником об издании книг на латинском языке? — гнул свое председатель.

Федоров молчал. Он не видел, но всем существом чувствовал, как вытянулись шеи зрителей в черных рясах.

Мартин Сенник не выдержал:

— Говорили неоднократно!

В зале возник шелест. Председатель постучал по столу дубовым молотком.

— Отвечайте!

Не глядя на Сенника, Федоров громко сказал:

— Нет, не говорили.

— Это ложь! — крикнул Сенник. — Я требую присяги!

Судьи посоветались. Иван Федоров стоял грузный, задыхающийся, странно равнодушный ко всему происходившему. Его заставили солгать. Ничего страшнее быть уже не могло.

И когда ему подсунули Библию, чтоб положить на нее руку, он подумал лишь, что Библия ветха, и подтвердил под присягой и то, что не говорил с Сенником об издании латинских книг, и то, что не присылал к нему из Острога посланцев, и то, что никогда не слыхал о немецких купцах, и то, что не передавал никому шестисот злотых.

— Этот человек подл! Пусть его покарает бог! — встав и подняв руку, воскликнул Сенник.

Зал гудел.

Федоров воротился на свое место, как слепой шаря руками. Иван Бильдага и сын подхватили Федорова, вывели на улицу, кое-как довели до дому.

Печатнику полегчало только к вечеру.

Ванька, склонившись над отцом, заметил на выцветавших глазах его

мутную влагу.

— Сходи к Мартину! — прошептал Федоров. — Попроси прийти... Я все объясню.

— Поздно, батя...

— Сходи!

Ванька вернулся очень скоро.

— Дверь передо мной захлопнул, — сказал он. — Ишь, тварь ехидная! Ругался на всю улицу!

Спустя несколько дней кардиналу Гозию доложили, что врач Мартин Сенник вернулся в Краков, не получив удовлетворения и окончательно порвав с московским друкарем.

Выслушав это известие, кардинал подошел к окну и долго смотрел на Вислу.

ГЛАВА VII



Прячась за тяжелой занавеской, княгиня Марья Юрьевна смотрела, куда пойдет муж. Если направо, к конюшням и псарне, тогда...

Курбский, наказав что-то слуге, свернул к конюшням.

Марья Юрьевна отпрянула от окна, проскользнула в коридор, ведущий к кабинету князя. Тяжело дыша, оглянулась. Никого. Нажала медную, в виде львиной лапы ручку дверей. Двери заскрипели. Марья Юрьевна протиснулась в приотворившиеся створки, закрыла их за собой. Глаза лихорадочно обежали покой. Остановились на заваленном книгами столе. Сами, неизвестно для чего, пробежали названия книг: Аристотель, «Органон», «Поэтика», Ориген, «О началах», проповеди Иоанна Златоуста...

— Чернокнижник проклятый! Чернокнижник проклятый! — сдавленно шептала Марья Юрьевна, трясущимися руками уже шаря по ящикам.

И вдруг умолкла. Пальцы натолкнулись на знакомую резьбу.

Марья Юрьевна вытащила вместительный кипарисовый ковчежец. Своим ключиком быстро открыла его. Стала рыться в фамильных драгоценностях. На самом дне увидела пачку бумаг. Схватила, засунула за ворот платья, захлопнула ковчежец, сунула на место, задвинула ящик.

Оглянулась. В мгновение очутилась у двери. Прислушалась. И тем же путем, опрометью, не чуя ног, в свою спальню.

— Раина! Раина! Где гонец от Яна?

— Ждет в корчме, ясновельможная пани.

— Бери эти бумаги, беги к нему, чтобы никто не видел. Отдай...

А князь Курбский, ничего не подозревая, осматривает коней, играет с гончими щенками, поит отваром цитварного семени борзых.

Возня с собаками — любимейший отдых князя, устающего от переводов с греческого и латыни.

Курбский давно бежит развлечений и пиров. Обиженный на Стефана Батория, вслед за Сигизмундом-Августом не подтвердившего прав князя на наследственное владение Ковельщиной, обиженный на литовских друзей, не заступившихся так, как могли бы заступиться перед королем, Курбским затворился в любимом местечке Миляновичи и пытается найти утешение в ученых занятиях.

Но недаром его зовут угрюмым московитом.

Милее противоречивых умопостроений Аристотеля становятся ему безнадежные и скорбные слова Экклезиаста о тщете всего мирского.

Князь все читает и пишет. Так проходит месяц, другой... Но однажды он выдвигает ящик стола, достает заветный ковчежец кипарисового дерева, открывает его — и...

Марья Юрьевна, едва завидев на пороге своей спальни взбешенного князя, мертвенно бледнеет и взвизгивает.

Сунувшаяся в дверь служанка Раина вылетает в коридор, выкинутая еще не утратившей силы рукой Курбского.

— Записи... Завещание... Все украдено! — кричит князь.

Марья Юрьевна прижимается к стене с такой силой, словно хочет уйти в нее. По ее взгляду Курбский догадывается, кто вор.

Сбежавшиеся на вопли слуги не смеют приблизиться к опочивальне, откуда доносятся звуки ударов и истошный женский крик.

Дверь распахивается. Слуги разбегаются. Лишь Раина, от ужаса не способная двинуться с места, видит князя Курбского. Князь встrepан. Волосы прилипли ко лбу. Он шатается. Никого не замечает. Уходит прочь...

Раина неуверенно заглядывает в спальню и отшатывается.

На ковре, в изорванной сорочке, валяется дебелое тело княгини. Оно покрыто синяками. В это время князь Курбский окаменело сидит перед столом, забыв задвинуть злополучный ящик.

Остановившимся взглядом смотрит князь в окно, на листву растущих под окнами тополей. Он оглушен и понимает сейчас только одно: его ограбили. У него отняли всё. Всё. Всё. Он смешон и жалок...

Перед князем лежит раскрытая рукопись — еще одна ирония судьбы! Она раскрыта на странице, где Аристотель пишет, что все, происходящее в

природе, составляет последовательную цепь причин и следствий...

Заперев жену в Ковельском замке, жестокими побоями князь Курбский добился того, что Марья Юрьевна начала просить сына вернуть похищенные документы.

Но Ян Монтолт уже подал жалобу королю. Начались следствия. Запуганная княгиня в присутствии мужа на вопросы наряженных вести следствие посланцев короля отвечала уклончиво. Однако через игумена Ковельского монастыря Вербского правда о поступках князя просочилась наружу и дошла до Кракова.

В 1578 году Курбскому пришлось приехать во Львов, чтобы предстать перед королевским судом.

Суд постановил, что супруги Курбские должны развестись, причем князь обязан возратить Марье Юрьевне дубровицкие имения, а та освободить супруга от уплаты семнадцати тысяч грошей, данных в веновый выкуп.

Курбский с возвратом имений медлил. На него посыпались новые жалобы. Среди них и жалоба княгининой служанки Раины на изнасилование.

Князь поспешил вернуть имения, даже уступил жене тысячу двести грошей, лишь бы получить запись, что Марья Юрьевна претензий к нему больше не имеет.

Запись он получил. Раина взяла жалобу обратно, заявив суду, что произошло недоразумение...

Но было поздно.

Имя покорителя Казани, Сибири и Ливонии, затасканное по судейским канцеляриям в Речи Посполитой, произносили теперь с усмешечкой и брезгливостью.

В эту пору князь Курбский, получив у запуганного владимирского епископа Феодосия духовный развод, для которого по церковным законам не было ровным счетом никаких оснований, приехал в Острог.

Раздраженный, покинутый многими прежними друзьями, князь искал внимания и сочувствия.

Где еще, как не у старого друга — Константина Константиновича Острожского, — мог найти их князь?

Уже полгода Иван Федоров работал над созданием новых шрифтов.

Князю Острожскому и греку Лукарису легко было пожелать, чтобы он напечатал Библию. Но как ее напечатать?! Федоров прикинул: если пользоваться прежними шрифтами, какими напечатаны Апостол и заблудовские книги, Библия получится толщиной в аршин и весом в полтора пуда. Кому потребна такая книга? Куда она? Надобен был шрифт куда более мелкий, и, рассчитав, насколько он должен быть мелок, Федоров поначалу даже обеспокоился. Удастся ли такой вырезать? А если удастся, хорош ли будет шрифт в чтении? Ясен ли? Четок ли?

Советоваться было не с кем. Можно было только поделиться сомнениями с приехавшим Гринем. Но и того не следовало устрашать с первых дней тяжестью работы. Пусть вперед поучится резьбе по металлу, вызнает искусство создания красок, попривыкнет, прикипит душой к делу, а уж тогда ему и самая тяжесть труда в радость будет. Тогда и делиться сомнениями с ним пора приспееет.

Федоров отдал Гриня в учебу львовскому мастеру Лавриню Пилиповичу, знатоку резьбы и умельцу составлять краски.

По обычаю с Гринем он составил и договор, скрепленный печатью городского совета. Федоров обязался платить за обучение Гриня, а тот обещал по окончании срока учебы работать на Федорова не меньше трех лет.

Отправив Гриня во Львов, Федоров безвыходно засел в отведенной ему избе. Трапезовал с княжескими слугами, иногда бывал зван и к столу князя, но чаще эти приглашения отклонял: от князя быстро не уйдешь, сиди да беседуй, а время-то идет...

Первые пунсоны не удались. Сделанные при их помощи матрицы давали шрифт неясный, будто слипшийся. Видимо, портились при пробивании стали. Наверное, прежний состав металла для пунсонов и матриц следовало изменить.

Федоров проштудировал книгу Георга Агриколы «Де ре метталлика», но там отыскал только общие положения и советы.

Приходилось искать составы сталей самому. Отложив резцы, Иван Федоров занялся возведением сталеплавильной печи. Потребовался огнеупорный кирпич, потребовались хром и марганец.

Князь Острожский недоверчиво выслушивал требования печатника, заставлял растолковывать, зачем нужно то, почему нельзя обойтись без другого.

Чувствовалось, что непредвиденные и весьма внушительные расходы князя не воодушевляют.

Впрочем, в деньгах князь не отказывал, не мешал и ездить во Львов и

Краков для закупки металлов.

Только жаловался на дым от печи, повелел перенести ее за стены замка на берег Стыри. Напрасно Федоров доказывал, что перекладка печи отнимет множество дней. Острожский настоял на своем. Это затянуло работу на добрых полгода.

Снова, как в пору молодости, жил Иван Федоров напряженной и невыносимой для другого жизнью: дни и ночи сливались в один непрерывный поток забот, преодолений непреодолимого, познания непознанного, заблуждений, отказов от выношенных мыслей ради новых мыслей и свершений.

И он добился своего. Сделав пунсоны из новой стали и пробив ими матрицы, он к концу 1578 года отлил первые пробные буквы, годные для печатания Библии.

Теперь предстояло вырезать все пунсоны. А так как в Библии, помимо славянского, предполагалось использовать греческий текст, то пунсоны тоже надо было делать для двух шрифтов.

Не давая себе передышки, Федоров приступил к работе.

За вырезкой пунсонов и застали первопечатника князь Острожский и князь Курбский, которому хозяин дома захотел показать, как готовятся шрифты.

— Вот пожалуй, князь! — сказал Острожский, распахивая дверь в избу Федорова.

Иван Федоров поднял усталые глаза на вошедших. Он работал у окна, на ярком солнечном свете, и не мог сразу разглядеть, с кем говорит Константин Константинович.

Наконец разглядел: вместе с Острожским порог переступил высокий сутуловатый муж с длинной седой бородой, с запавшими глазами.

Еще красиво было лицо этого человека, чем-то странно памятное. Какие-то давние, навсегда ушедшие волнения пробуждало. Но эти же волнения подсказывали: не такими должны быть черты его. Нет. Не такими. Горделивой уверенности и силы не хватало...

— Кречет! — прозвучал в ушах забытый голос Ларьки.

И тотчас возникли перед очами Тверская улица в перемешанном копытами снеге, разбойный свист, молодцы в алых шапках, всадники на гнедых конях, сжавшие тонкие губы, ни на кого не глядящие...

— Князь Андрей... — сказал Федоров. — Господи!

Невольная жалость прозвучала в его голосе.

Курбский вздрогнул, покоробленный. Все же гордость и мужество заставили князя улыбнуться.

— А, вот ты каков, дьяче! — промолвил он. — Слышал, слышал о тебе... Ну что? Не пропал на чужбине?

— Слава богу, жив, тружусь.

— Гляжу, от московского аспида последние людишки разбежались! — повернулся Курбский к Острожскому. — Некого скоро и казнить будет.

Федоров переложил на столешнице пунсоны.

— Я от царя обид не видел. Неверные слуги, не государь меня отъехать принудили.

Курбский нахмурился, но тут же совладал с собой.

— Иван и его холопы стоят друг друга.

Он коснулся руки Острожского.

— Где же твои шрифты, друже?

— Покажи свою работу, — сказал Острожский Ивану Федорову. — Греческие буквы покажи.

— Изволь, князь.

Федоров разложил по столу вырезанные пунсоны. Острожский брал их, передавал Курбскому.

— Изрядно! — должен был похвалить Курбский. — Этими и печатаешь?

— Нет, княже... Печатаю вот какими.

Горстка свинцовых литер рассыпалась рядом с пунсонами.

— Хитро! Изрядно! — повторил Курбский. — У кого выучился?

— У кого же здесь выучишься, князь? Чай, знаешь, как здешние мастера секреты берегут... Уж я сам. Своим умом дохожу.

— Полно, не бахвалься. В Москве ты у немцев дело перенял, да и тут, поди, книг начитался нужных.

— Думай, князь, как хочешь. Бахвалиться я смолоду не учен. А к тому сказать — не ведаю, чем наши русские мастера и в чем плоше иноземных когда были...

Курбский небрежно ссыпал литеры с ладони на стол.

— Всегда и во всем, — сказал он. — Но если ты сам всего достиг, хвалю.

Он опять обратился к Острожскому:

— Говорят, в Париже сделаны мельчайшие буквицы. Ты не видел парижских книг, князь?

Но Острожский немного обиделся на равнодушие приятеля:

— В Париже столь мелких не делают! Мой шрифт мельче, Андрей.

— Вряд ли... Надо написать, чтобы прислали оттуда книг. Посмотреть.

— Зря будешь писать! — возразил Острожский. — Что ж? Идем?

Острожский и Курбский ушли.
Федоров постоял, вздохнул, собрал шрифт, ссыпал в ящичек.
Покачал головой.
Опустился на скамью.
Взял в руки пунсон с начатой «гаммой».
Вгляделся.
Не отрывая от буквы взгляда, нашарил на столе резец.
Надо было снять излишек металла с левого завитка буквы.

Воротясь в излюбленные им Миляновичи, Курбский не находил покоя. Вдобавок начали мучить старые раны и болезни. А с болезнями пришли мысли о близости кончины. Навязчивые, неотступные... Загадочная бездна, ожидающая за порогом бытия, ужасала Курбского. От нее нельзя было бежать, с ней нельзя было сразиться!

Не писаниями же и переводами мог князь спастись от исчезновения!

Но единственный сын, наследник имени, был давно зарыт в русской земле, вместе с матерью расплатившись за побег отца в Литву.

Сын... Если бы у него был сын!

Теперь Курбский понял великого московского князя Василия, незадолго до смерти женившегося на молоденькой Елене Глинской, матери царя Ивана: не распутством был движим князь Василий! Жаждой продления бытия своего в потомстве!

— Зверь дикий и тот не лишен в детях радости! Ползучий гад и тот нежит чад своих! — шептал Курбский в ночной час перед иконами. — Пошто же, господи, унизил меня ниже зверя и гада? Пошто наказуешь раба своего сверх сил его? Пошто?

Мерцала лампада в золотой чашечке.

Звенела тишина.

Не было ответа князю...

В Миляновичи ранней весной 1579 года прискакал королевский гонец. Стефан Баторий звал князя Курбского готовиться к походу на Русь. К июню Курбский должен был прибыть во главе своих бояр, слуг, казаков и рейтар в главный королевский лагерь на Березину.

Боязнь, что он может не вернуться из похода, поторопила Курбского. Он решил жениться в третий раз, чтобы оставить наследника своему имени, своим замыслам и своим именам.

Возраст и болезни не останавливали князя. Не остановило и то, что при жизни Марьи Юрьевны по церковным законам жениться он не имел права. Не остановило и смущение родственников девицы, избранной им в невесты.

Дети у князя еще могли появиться. Законы Курбский признавать не желал. А братья невесты были у князя в неоплатном долгу...

В апреле волынский город Владимир стал свидетелем пышной свадьбы князя с девицей Александрой Семашковной, шестнадцатилетней дочерью многодетного и небогатого старосты Кременецкого.

Заплаканная бесприданница во время свершения обряда еле держалась на ногах. Даже щедрое вено, заплаченное Курбским, не утешало ее.

Но Курбского не смущали слезы невесты.

Он отвез жену в Миляновичи и, прожив с нею в имении весь май, уехал в войско.

ГЛАВА VIII



Установленный в одной из башен острожского замка печатный станок стучал всю вторую половину 1579 и всю первую половину 1580 года.

Иван Федоров, отлив новые шрифты и издав Новый Завет, теперь печатал Библию.

Новая книга превосходила размером ранее изданные.

В ней было более шестисот листов.

Количество выпускаемых книг тоже было неслыханным — более полутора тысяч штук.

Для украшения книги мастер вырезал новые черные заставки, фигурные буквицы, новые «узелки» — завершающие каждую главу орнаментальные гравюры.

Печаталась книга шестью различными шрифтами.

Для оглавления, для черных строк на заглавном листе пошел московский первопечатный полуустав. Им же набирался приданным Библии месящеслов.

Для второй и третьей строк заглавного листа Федоров взял крупный уставный шрифт.

Для основного текста — мелкий славянский шрифт и такой же греческий.

Вдвое меньшим шрифтом он набрал и напечатал стихи, окружающие герб князя Острожского, выносы на полях библейского текста, выходные

сведения о книге.

Иван Федоров почти нигде не употребил киновари. В самой Библии ею были отмечены только оглавления книг Бытия, Псалтыри, Евангелия от Матфея и Деяний Апостольских да первые три строки на заглавном листе и цветки внизу его.

Федоров сделал это сознательно.

В набранной двумя столбцами, украшенной строгими черными заставками книге избыток киновари мог помешать. Пестрота рассеивала бы читателя, не давала бы ему настроиться на нужный лад, полностью отдаться проникновению в текст.

В конце книги Федоров печатал свое послесловие. Скромно и коротко рассказывал мастер о своей жизни, об изгнании, о вынужденном скитании по чужбине, о радости, которую испытывает он, сумев опять послужить людям.

Федоров чувствовал приближение конца своих дней. Но писал о близкой кончине без тревоги и горечи: «Успокоение и воскресение из мертвых чую...»

Нет, напрягая силы и сознавая, что Острожская библия может стать его последней работой, мастер не страшился этого.

Он знал: с того самого дня, как впервые помыслил о печатных книгах, и доньше ни разу не колебался он, ни разу не усумнился в своей правоте, ни разу не изменил избранному пути.

Но отдыха хотелось... Отдыха ему уже хотелось...

В августе 1580 года Федоров закончил печатание Библии.

Он мог бы радоваться.

Но его ждал новый удар.

Работая в Остроге, Иван Федоров непрерывно справлялся об успехах Гриня и получал от Лаврентия Пилиповича самые лучшие отзывы.

Ученик Лаврентия отличался любознательностью, усидчивостью, легко схватывал и запоминал новое. Кроме того, у Гриня оказались чудесная рука и точный глаз. Он уже сам резал пунсоны, и присланные Федорову образцы лучше всяких слов рассказали печатнику, что он не ошибся...

— Слава богу! Слава богу! — шептал Федоров, рассматривая пунсоны. — Не пропадет дело мое...

Иван Федоров давно оставил всякую надежду на родного сына. На уме у того были торговлишка да огороды...

Гринь, один Гринь мог и должен был наследовать Федорову.

И вдруг Федоров узнал, что любимый ученик бежал. Бежал в Вильну,

сманенный купцами Мамоничами, оставшимися без печатни, так как умер Петр Тимофеев.

Не терпелось Гриню начать самостоятельную работу. Не хотелось ходить в подмастерьях. Поманила свобода, поманило обещанное богатство.

— Глупец! Глупец! — с досадой твердил Федоров. — Кому поверил? Забыл, как Петра Мамоничи держали! А сам в худшие тенета попадет! Мамоничи своего не упустят! Они сообразят, что теперь Гриня в кабалу можно взять, коль он со мной договор нарушил... Глупец!

Одно горько было: никто не встанет взамен тебя у станка...

Уезжая из Острога, Иван Федоров счел себя вправе забрать тысячу библий. Тем более что вложил в печатание книг деньги, для чего еще в 1579 году, во время отъезда князя Острожского, заложил свою львовскую типографию. Не ждать же было, когда воротится князь! Не останавливать работу!

Но Острожский рассудил иначе. Ему вовсе не нужны были ни станок, ни шрифты, оставленные Федоровым в замке.

Владелец двадцати пяти городов, десяти местечек, шестисот семидесяти селений, обладатель годового дохода в один миллион двести тысяч злотых князь Острожский счел себя ограбленным.

Он послал вслед за Федоровым того же самого Петра Ринфлейна, которому когда-то поручал приглашать печатника, с тем чтобы наложить арест на все движимое имущество Федорова, то есть на книги.

И арест был наложен.

Постаревший, надорвавший на работе здоровье, испортивший зрение при изготовлении мельчайших шрифтов создатель первых русских и украинских книг остался без средств.

Заложный станок ему не возвращали.

Лаврентий бумаги в кредит не отпускал.

И хотя имя Ивана Федорова стало известно уже всему миру от Лондона до Москвы, от Парижа до Константинополя, хотя книги его вызывали всеобщее восхищение, сам он влачил жалкое существование, перехватывая в долг, чтобы обернуться с торговлей собственными изданиями, приобретенными у зажиточных горожан.

Только при помощи все того же Ивана Бильдаги, припрятавшего книги не только в своих подвалах, где их арестовали, Федорову удалось за два года сколотить небольшую сумму денег, но начинать с ней новое дело нечего было и думать.

Наступала старость. С тоской думал Федоров, что уже ничего не создаст.

В это время к нему вернулся Гринь.

Под Москвой, в Александровой слободе, медленно умирал царь Иван Васильевич. Умирал от излишеств, от дурных болезней, от измучивших кошмаров, от гибели надежд.

Умирал, пережив семь преждевременно скончавшихся жен, убив в припадке маниакальной злобы старшего сына, вздумавшего заступиться за беременную супругу, разорив собственный народ и потеряв все ливонские завоевания.

Никакие хитрости не помогли: ни заигрывания с римским папой, ни обещания перейти в католическую веру, ни затягивание переговоров.

Хотя войска Стефана Батория так и не взяли Псков, удержавшийся благодаря небывалому героизму защитников города, хотя польское войско и исчерпало все свои силы, но и русская сторона была истощена.

Мир, заключенный с поляками в Запольском Яме в 1582 году, отдал Речи Посполитой все русские завоевания в Ливонии.

Выход к морю был потерян. Не приходилось мечтать и об освобождении Украины. Время давно упустили.

Двадцатичетырехлетняя война была бездарно и безнадежно проиграна.

И царь умирал, забавляясь время от времени тем, что травил медведями беглых мужиков и неугодных слуг.

Шел от Ивана дурной запах гниения. Даже лекарства медика Бомелия, неотступно находившегося при царе, не помогали.

Впрочем, в минуты просветления царь требовал, чтобы ему приносили книги. Но читал мало. Больше сидел запершись, никого к себе не пуская, и выправлял летописи. Менял в них даты событий, подделывал записи, нарочно запутывал смысл написанного, чтобы оправдать неоправданные казни и гонения.

И когда удавалось напутать, потирал трясущиеся руки, рассыпался идиотским смешком, гладил самого себя по лысому черепу и хвалил:

— Умница, Ваня! Умница!

Вдруг вскакивал, подбегал на цыпочках к двери, прикивал ухом к замочной скважине и, дрожа, выпучив студенистые глаза, подстерегал злодеев. Он-то знал, что злодеи всюду: и за дверью, и под столом, и в его любимом колпаке... Только такой осторожностью он, умница Ваня, и ненавистного князя Курбского пережил! Ладушки, пережил! Умница,

пережил! Не дал ему за иконы спрятаться, выгнал оттуда посохом, вот Андрюшка у себя в Миляновичах и испустил дух!

Князь Курбский действительно умер. Больной, рассорившийся с польской знатью, он скончался в мае 1583 года. Перед смертью гордый князь окончательно изменил себе. Он униженно каялся перед королем в прегрешениях, умолял простить, не лишать сына Дмитрия имений... Впрочем, запоздалое раскаяние пользы не принесло. Курбский давно уже не был нужен. И его сын Дмитрий так и не получил просимого.

Умерли или погибли и бежавшие с Курбским в Литву другие изменники.

Ивана Колымета убил пьяный шляхтич Дмитрий Булыга.

Андрея Барановского заперли в сарае и сожгли в прах вместе со всей семьей измученные поборами крестьяне.

Якова Невзорова и Постника Туровицкого убили в драке из-за земли слуги князя Андрея Вишневецкого.

Василия Калиновского, свирепого управителя Миляновичей, прикончили мещане Берестечка...

Жизнь предъявляла свой строгий счет всем.

А к Ивану Федорову словно воротились молодая напористость и сила.

На удивление близким, он не знал, что такое усталость.

Гринь — его надежда, его зоркие глаза, его прежняя твердая рука — был прощен. Федоров заключил с учеником мировую. Гринь обязывался не резать букв для себя и не устраивать собственной мастерской, а Федоров обещал, что разрешит ученику, если тот не нарушит договора, позволить открыть собственную печатню.

Иван Федоров сразу же заказал ученику два шрифта за двести злотых — небывалую по тому времени плату.

А пока Гринь работал, Федоров брал в долг направо и налево. На долгие сроки и на короткие. Нашел нового бумажного фабриканта, уплатил тому вперед сто злотых за бумагу. Возобновил хлопоты о снятии ареста с книг. А когда стало невыносимо трудно с деньгами, решился на отчаянный шаг — поехал в Краков к королю Стефану Баторию, искавшему пушечных мастеров, и взялся отлить королю медную пушку.

Искусство Федорова как литейщика ни у кого сомнений не вызывало.

Король распорядился дать Федорову денег.

Все эти деньги до последней копейки Иван Федоров вложил в новый печатный станок и шрифты.

— Не боишься ты, учитель? — спросил Гринь.

— Все в руке божьей! — ответил Федоров. Работай. Не сомневайся.

Придется пострадать — пострадаю. Греха за собой не чую. Ибо не пушками, а книгами, добрым разумом спасти людей надлежит от бед!

К декабрю 1883 года долг Федорова вырос до тысячи пятисот злотых.

Он задолжал королю, соседям, мастерам-кожевникам, мастерам-седельникам, столярам... Всем, у кого только мог взять в долг.

— Расплачусь! — успокаивал он Гриня. — Только бы издать книги..

Но издать книги он не успел.

Трудная, тяжкая жизнь его оборвалась, когда никто этого не ожидал, в разгаре кипучих трудов.

5 декабря 1883 года, наблюдая за работами в типографии, Иван Федоров побледнел, схватился за грудь, неуверенно встал со скамьи и, пошатнувшись, безмолвно рухнул на пол...

Он погребен на кладбище Онуфриевской церкви в городе Львове.

Он жив в каждой букве наших книг.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Книга завершена. Но я хочу продолжить разговор с читателем.

Не из опасения остаться непонятым: думается, основная идея повествования достаточно ясна.

Я должен предупредить читателя, что, несмотря на новейшие открытия, пролившие свет на львовский период деятельности Ивана Федорова, несмотря на появление исследований Г. И. Коляды, показывающих «еретичность» Федорова — создателя Апостола, многое в биографии первопечатника до сих пор остается загадкой.

Нельзя с уверенностью сказать, где и когда родился Федоров, из какого сословия происходил, с кем из современников-москвичей был близок и т. п.

Это вынуждало при работе над книгой прибегать к тем или иным гипотезам, выдвинутым советскими учеными, а в случаях, когда наука оставляла вопрос открытым, делать предположения, которые, не искажая общей картины, помогали строить сюжет и развивать фабулу.

В книге высказывается предположение о происхождении Ивана Федорова из сословия новгородских писцов.

Правда, мы знаем, что Федоров был дьяконом церкви Николы Гостунского в Московском Кремле. Но известно также, что митрополит Макарий окружал себя образованными новгородцами, и я считал возможным допустить, что первопечатник был известен Макарию еще по прежней епархии. Это позволяло объяснить расположение митрополита к простому дьякону из причта церкви Николы Гостунского.

Предположением является и версия о гибели жены Федорова во время пожара 1547 года. Принято считать, что жена первопечатника скончалась или в начале пятидесятых годов, или позднее — уже после выхода в свет Апостола. Никаких точных свидетельств этому нет. Сторонники той версии, что Иван Федоров овдовел после выхода в свет Апостола, опираются на сведения, сообщенные самим Федоровым в послесловии к этой книге. Действительно, Федоров называет себя в послесловии к Апостолу дьяконом, а овдовевшие священники не могли состоять в белом духовенстве. Это очень серьезное свидетельство, но я все-таки решил остановиться на версии о гибели жены Федорова во время знаменательного по своим последствиям московского пожара.

Я исходил из мысли, что Федоров, издавая Апостол, мог назваться дьяконом и будучи уже вдовым, чтобы упоминанием о сане подчеркнуть

принадлежность печатников к «книжникам». Показывая же гибель Ирины в 1547 году, я получал возможность рассказать о московском «смятении».

Более важен вопрос с отъездом Ивана Федорова в Литву. Исследования советских ученых не оставляют сомнений в том, что выход Апостола должен был навлечь на Федорова со стороны ортодоксального духовенства обвинения в еретичестве. Федоров и сам в послесловии ко львовскому изданию Апостола говорит, что подвергся гонениям со стороны неких «невежд». Казалось бы, следует сделать вывод о бегстве Федорова из Москвы. Но академик М. Н. Тихомиров убедительно доказал, что о бегстве не могло быть и речи. Он же указал, что гетман Ходкевич неоднократно просил в эти годы Ивана IV прислать людей, сведущих в печатном деле.

Поэтому весьма возможно, что Федорову предложили поехать в Литву и он дал согласие, видя в отъезде к Ходкевичу выход из трудного положения. Так это и изображено в книге.

Далее. Хотя нет документов, подтверждающие недоброжелательный интерес к православному печатнику со стороны католической церкви, отсутствие такого интереса допустить нельзя. Поэтому на страницах книги появляется кардинал Гозий, а загадочная ссора Федорова с Мартином Сенником объясняется происками иезуитов.

В книге дается авторское толкование причин, побудивших Федорова написать свои знаменитые послесловия к зарубежным изданиям: желание Ивана Федорова опровергнуть вредные для него и для печатного дела слухи прорастает в этих послесловиях очень отчетливо.

Хотелось бы остановиться еще на одном. В книге не говорится о причинах разрыва Ивана Федорова с Острожским. Мы не имеем никаких бесспорных сведений об этих причинах. Но если вспомнить, что уже в отпечатанной Федоровым Библии почему-то был изъят и заменен новым один из листов, если вспомнить, как подходил Федоров к работе над рукописными текстами, можно, по-моему, предположить, что разрыв между Федоровым и Острожским произошел, выражаясь современным языком, на идеологической почве.

Насколько правильно такое предположение, может показать исследование Острожской библии, подобное исследованию Апостола, проведенное Г. И. Колядой.

Среди героев повествования есть вымышленные лица: автор анонимных посланий на запад Ганс Краббе, купцы Твердохлебовы, Марфа, Ларька, писец Акиндин и ряд других персонажей. Создавая их образы, я думал не столько о том, чтобы разнообразить сюжет, сколько о том, чтобы рассказать о событиях того времени, оттенить в образе самого Федорова

его целеустремленность и человечность.

Форма повести не позволила всесторонне обрисовать некоторых современников Федорова. Например, в книге очень мало сказано о крупнейших идеологах времени: попе Сильвестре, троицком игумене Артемии, о боярском сыне Матвее Башкине, о других интересных представителях тогдашней общественной мысли, чья связь с Иваном Федоровым, к сожалению, пока не доказана.

Я старался, естественно, быть предельно точным там, где имел дело с неоспоримыми, подтвержденными документами фактами.

Это в равной степени относится и к рассказу о Федорове и к рассказу о других исторических личностях: об Иване IV, князе Андрее Курбском, Максиме Греке, митрополите Макарии, гетмане Ходкевиче, князе Острожском и т. д.

При описании современной Федорову книгопечатной техники, его деятельности как публициста, смелого редактора священных текстов и создателя оригинального способа печати я старался возможно полнее и добросовестнее отразить взгляды советских историков книги, филологов и искусствоведов.

Неоценимую помощь оказали при этом замечания члена-корреспондента Академии наук СССР, заслуженного деятеля искусств РСФСР, доктора А. А. Сидорова, ознакомившегося с первым вариантом рукописи.

Пользуясь случаем, приношу ему и рецензентам книги С. Чевкину и А. Рогову глубокую благодарность.

ХРОНОЛОГИЯ

- Около 1520 года* — Родился Иван Федоров.
- 1547* — Миссия Шлитта, отправленного Иваном IV в немецкие земли для набора различных мастеров и художников.
- 1550* — Судебник и Уставные грамоты Ивана IV.
- 1551* — Стоглавый собор, решавший, в частности, вопрос о церковных книгах.
- 1552* — Взятие русскими войсками Казани и присоединение Казанского царства.
- 1553* — Сбор книг для казанской епархии.
- 1553–1556* — Предположительные годы выхода первых московских печатных изданий, так называемых анонимных.
- 1563* — Открытие в Москве первой печатни, штанбы, и начало работы (с 19 апреля) над Апостолом.
- 1564, март* — Выход первой московской печатной книги — Апостола, созданного Иваном Федоровым и Петром Тимофеевым.
- 1565* — Выход Часовника Ивана Федорова.
- Около 1566 года* — Выход Евангелия Ивана Федорова.
- Около 1567 года* — Вынужденный отъезд Ивана Федорова и Петра Тимофеева к гетману Ходкевичу.
- 1569* — Выход в Заблудове Евангелия учительного, напечатанного Федоровым и Тимофеевым.
- 1570* — Выход в Заблудове Псалтыри с Часословцем.
- Около 1573 года* — Переезд Федорова во Львов.
- 1574* — Второе, львовское, издание Апостола и Грамматики Ивана Федорова.
- 1575* — Переезд Федорова в город Острог и вступление его в должность справцы Дерманского монастыря.
- 1581* — Выход Острожской библии.
- 1583* — Смерть Ивана Федорова.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Энгельс Ф., Бруно Бауер и раннее христианство.

Ленин В. И., Развитие капитализма в России.

Русская история. Под редакцией М. Н. Покровского.

Карамзин Н., История государства Российского.

Ключевский Н., Русская история.

Соловьев С., Русская история.

Иван Федоров — первопечатник. Сборник. М. — Л., Изд-во Академии наук СССР, 1935.

У истоков русского книгопечатания. (Исследования и материалы.) К 375-летию со дня смерти Ивана Федорова, 1583–1958. Под редакцией М. Н. Тихомирова и др. М., Изд-во Академии наук СССР, 1959.

Тихомиров Н. М., Первый печатник. М., «Посредник», 1934.

Сидоров А. А., Древнерусская книжная гравюра. М., Изд-во Академии наук СССР, 1951.

Зернова А. С., Начало книгопечатания в Москве и на Украине. М., 1947.

Сидоров А. А., Новооткрытое издание Ивана Федорова. «Полиграфическое производство», 1955, № 1.

Коляда Г. И., Начало русского книгопечатания и Иван Федоров. «Ученые записки Сталинабадского гос. пед. ин-та», Сталинабад, 1954.

Коляда Г. И. «Грамматика» Ивана Федорова. «Вестник мировой культуры», М., 1959, № 3.

Протасова Т. Н., Первые издания московской печати в собрании ГИРза. М. 1955.

Исаевич Я. Д., Издательская деятельность Львовского братства в XVI XVIII исках. Книга. Исследования и материалы VII М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962.

Орлов Б. П., К вопросу о времени возникновения и именовании типографии Ивана Федорова. Книга. Исследования и материалы VI. М., Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1962.

Коялович М. О., Люблинская уния, или последнее соединение Литовского княжества с Польским королевством на Люблинском сейме в 1569 году. Спб., ред. газеты «Русский инвалид», 1863.

Документы, объясняющие взаимные отношения польской шляхты к королю, друг другу и другим сословиям. (Отт. из «Вестника Западной

России», 1870.)

Люблинский сейм 1569 года. Дневник Люблинского сейма 1569 года. Соединение Великого княжества литовского с королевством польским. Спб., 1869.

Кржеминская Л., Передовая польская публицистика XVI века как исторический источник для изучения социальных отношений. Л., 1952.

Малышевский И. И., Новые данные для биографии Ивана Федорова, русского первопечатника. (С прил. актов из Луцких городских книг.) Киев, тип. В. Завадского. 1893.

Полянский Ф. Я., Очерки соц. экономической политики цехов в городах Западной Европы XIII–XV веков. М., Изд-во Академии наук СССР, 1952.

Пташицкий С. Л., Иван Федоров. Издания Острожской библии в связи с новыми данными о последних годах его жизни. Спб., т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903.

Острог, город Волынской губернии, и его древние владетельные князья Острожские. «Друг народа», 1870, № 11 и 14.

Иллюстрации



Страница из древней рукописной книги (так называемое Евангелие Берево).



Рисунок из древней рукописной книги (так называемое Евангелие Берево).



Страница из древней рукописной книги (так называемое Евангелие Берево).



СВЯТЫЙ ВЪ ЧЕЛОВѢКЪ

главыко емѣждо евѣлію . нъ
бранымъ етымъ , н прѣзиди
кѣмъ . н цѣ ептеврѣн . н ма
дѣн , а дѣн нмапъ чмѣвъ ,
ѣт . а нощь , вѣ . н ачѣтокъ нѣ
вдѣтѣу . н пѣмѣ прѣбнаго
оцѣншего сімѣнѣ столпника .
ѣнновдѣтѣ ѣмѣ гл , гѣ . н сѣмѣ
ѣмѣ гл , мѣ . сѣтѣмѣ нѣка ма
манѣ . н прѣбнаго оцѣншего
іѣпника . ѣн ѣтѣ гл , н .
сѣтѣ сѣнѣно мѣнѣ анѣма .

а

б

г

Страница из Анонимного Евангелия — московской первопечатной книги.

Ндоумгь прркгь .	главгь , Г .	ма
чбвкѹмгь прркгь .	главгь , Г .	мв
Софонїа прркгь .	главгь , Г .	мг
Ѣггем прркгь .	главгь , в .	ма
Захарїа прркгь .	главгь , дї .	ме
Цуалахїа прркгь .	главгь , д .	мѡ
Прѡвые маккавенскїе .	главгь , сї .	мз
Вторые маккавенскїе .	главгь , еї .	мп
Третїе маккавенскїе .		ма
	главгь , з .	

ОГЛАВЛЕНІЕ КНИГ НОВАГО

ЗАВѢТА .

прїнде бо истинна гь нашгь Іс Хс
снгь слово бжїе , начинает євліе .

Євліетгь ма	гла км .	за рсї .	н
Євліетгь ма	гла сї .	за оа .	на
Євліетгь лѹ	гла кѡ .	за рї .	нв
Євліетгь іо	гла ка .	за аз .	нг
дѡа апавекѡ	гла кп .	за на .	на

Образцы шрифтов, употребленных в оглавлении Острожской библии.



Гравюра из Апостола 1564 года, изображающая апостола Луку.



ДѢЯНИЯ СВЯТЫЯ СЪСВЯТЫХЪ АПОСТОЛЮ

ПЕРВОЕ ОУЧЕ СЛОВО СОТВОРИХЪ ОВѢСѢХЪ,
СЪ ДЕОФИЛОМЪ. ОНЪ ЖЕ НАЧАЛЪ ТЪ ІСЪ, ТВО
РИТИ ЖЕ И ОУЧИТИ. ДОНЕГО ЖЕ ДНЕ,
ЗАПОВѢДАВЪ АПОЛОМЪ ДХОМЪ СЪТЪ,
ИХЪ ЖЕ ИЗБРА ВОЗНЕСЕ СЯ. ПРЕНИМНЖЕ
И ПОСЛАВНЕСЕ БѢ ЖИВА ПОСТРАДАНИИ
СВОЕМЪ. ВО МНОЗЕХЪ ИСТИННЫХЪ ЗНАМЕ
НИИХЪ. ДНИ МИ ЧЕТЫРНАДЕСЯТЬ МИ ЯВЛ
ЯСЯ ИМЪ И ГЛА ИЖЕ ОЦРЪВИИ БЖИИ. СНИ
МНЖЕ ИНАДЫ, ПОБЕЛѢБАШЕ ИМЪ ШИРОКАЯ
МА НЕШЛОУЧАТНЕСЯ. НО ЖДАТИ ОБѢТОВАНИИ
ШУЕЕ, ЕЖЕ СЛЫШАЕТЕ ШМЕНЕ. ИАКО ІУАНИИ
ОУБО КРЪТИЛЪ ЕСТЬ ВОДОЮ ВЫЖЕ ИМАТЕ КРЕ
СТИТНЕСЯ ДХОМЪ СЪТЫМЪ, НЕПОМНОЗѢХЪ
ИХЪ ДНЕ. ОНИ ЖЕ ОУБО СШЕШЕСЯ, ВОПРАШАХЪ

34
4

КОЕ ТЪ ДНО И ПЕЛНИСЪ ДНО ПЛАХИ. И ПЛОВОЗНЕСИТЕ
СНИ

Первая страница Апостола 1564 года.

ВНОВѢН ТВАРН ПОВСЕМОУ ОБИБЛАТИСЯ . И ПРА
ЗДНО ПРОЧЕЕ БЫТИ ОБРѢЗАНІИ . ХВАЛИТЖЕ
ИХЪ НОСЛДЖЕНІИ КЪ СТЫМЪ , И ПОВЕЛѢВАЕТЪ
ИМЪ НАИПАЧЕ ОУМНОЖИТИЕ . ОУКАРА АЖЕ
ВАНЦЕ ХВАЛЦИХСА , И СУИТАЕТЪ ВСА ЕЛИСА
ПОСТРАДА ХАРАДИ . И ВНАДѢНІАЖЕ СКАЗУЕТЪ
ИЖЕ ВНАДѢ , НЕЖЕ БРАИ И ДОТРЕТІАГО МБОН
ВЪХИЩЕНІЕ . ТАЖЕ ЗАВѢЩАВАЕТЪ НЕСОГРѢ
ШАТИ , И СОГРѢШАЮЩИМЪ КАЛТИСЯ . И НИ
ЦЕ СЪБЛАГОДАРЕНІЕМЪ СКОУАВАЕТЪ ПОСЛАНИЕ .

ИНОЕ СКАЗАНІЕ .

ВСЕ СЛОВО ЕСТЬ В ПОСЛАНИИ СЕМЪ О СЕБѢ И О КИРИ
И ДАНИѢХЪ , И О ЛЖИХЪ АПОСТОЛѢХЪ . И ИЩЕ
ВНИИ ПРХОДНТЪ ВЪ ИЖЕ ОБЛАДАТИ БЖИИ .

И ОДОБРИМЪ ЖИТЕЛЬСЧВѢ , ПОДОБРИИ
СОБѢСНИ . И ПОДБИЖЪ ДУХОВНИ .

И НЕ СРЕБРОЛБИИ . И ПОДАТЕЛМЕН
ДОБРОДѢТЕЛИ . И ОЛЖКА

БСТВѢ И ГОРДОСТИ

ЛЖИ АПОСТО

ЛВЪ

•

• ПОДОБИЕ ВОСТАЮЩИХЪ РАСТУЩИХЪ СЕМЕНЪ •

○ ИЗМЕНЕНИИ СЛАВЪ
ИМЕНЪ •

ГЛАГОЛЮЩЕ . А ТЕРНЫХЪ . ВНИХЪЖЕ . ЕИ . ИСРА
ЕЛИХЪ . ВИДИТЕЖЕ ВОСХЪ . ИСА . И ПИСТОЛИИ
И СРНИ ДЬСКИА •



И СКАЗАНИЕ ЕЖЕ КИРИИ ДО ПЕРВАГО ПОСЛАНИЯ .
И ПОСЫЛАЕТЪ ШИФЕСА АСИНСКАГО . ВНИДЬВЪ
ОУЖЕ ИХЪ ИМНОУЧУНЪ . И ВОСПОМИНАЕТЪ ИМЪ
ПОСЛАНИЕМЪ СМЪ . ИЗВѢТЪЖЕ ПОСЛАНИИ СЕМ
ЕСТЬ . КИРИИ ДАНЕ ШАНБОПРѢНІА ВО ДНІИ .
РАЗДѢЛАХУСА РАЗЪМЫ . И БѢША ПРОУЛА
ВНИХЪ РАСКОЛЫ . НЕБЩИМЪ РАСКОЛОМЪ ,
ПРЕДНРАХУ ПОИМШАГО МАЧУХУ СВОЮ . И НИИЖЕ
ХОТЯХУ ОСТАВЛЯТИ ЖЕНУ СВОЮ , ИЗВѢТЪ
ВОЗДЕРЖАНИА . И БЦЫИЖЕ ВТРЕБНИЦНХЪ И
ДОЛЫСНХЪ И ДАХУ . И КО НЕ ПОВИНИМЪ СЪ
ЩИМЪ И ДОЛОЖЕРТВЕННЫМЪ . И НИИЖЕ ИНЫХЪ
ОУБО ОУНИЧУНЯХУ АГЛНЦНХЪ РАЗЛИЧНЫМИ

Одна из концовок Апостола 1564 года.



КЪ ФІЛІМОНУ ПИСАНІЕ СЪГЛАГО АПОЛА

НАБЕЛЪ ИЗНИСЪ ІС ХЪ . И ТИ МОДЕИ
БРАТЪ ФІЛІМОНЪ ВОЗЛЕБЛЕННИ МЪ
НЕПОСПѢШНИСЪ НАШЕ МЪ . И АП ДИИ
СЕСТРѢ ВОЗЛЕБЛЕННѢИ . И АРХИППЪ
СЪЩЕ МЪ ВОИИДЪ НАШЕ МЪ , И ДОМА
ШНѢИ ТВОЕИ ЦРКВИ . БЛГОДАТЬ
БАЛУ И МИРЪ . ѠБЕГА ѠЦА И ГАМАШЕГО ІСА ХА .
БЛГОДАРИ БГАМЪЕГО ВСЕГДА ПАМАТЬ ТВОРА ВЪ
МЛГВАХЪ МОИХЪ . СЛЫШАВЪ ЛЮБОВЬ ТВОЮ
И ВЪРЪ ИЖЕ ИМАШИ КОГДЪ НАШЕ МЪ ІС ХЪ И СО
ВСѢМЪ СЪГЫМЪ . ІАКО ДЛОБЦЕНІЕ ТВОЕА
ВЪРЪ ДѢИСТВОВАНО БЪДЕТЬ , ВРАДЪМЪ ВСЕ
ЛЪ БЛГЪ ИЖЕ ОХЪ ІСЪ . РАДОСТЬ БО ИМАМЪ
МНОГЪ НОУТѢШЕНІЕ , О ЛЮБИ ТВОЕИ . ІАКО
ОУТРОБЫ СЪТЪХЪ ПОЧНША ТВОЮ БРАТЪ . СЕГО
РАДИ ИМНОГО ДЕРЗНОВЕНІЕ ИМАМЪ ОХЪ , ПОВЕ
ЛЪВАТИ ТЕБѢ ЕЖЕ ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮБВЕ РАДИ ,

МЦА НОЕМБРІА . КЪ . НАПАМАТЬ СЪГЛАГО АПОЛА
ФІЛІМОНА

Заставка, красная строка и буква из Апостола.



СКІЗІІНЗВѢТНІХЕПІСАІІ

Зачаї

вѣлю пѣхн . антифонъ . а . ѿломъ . зѣ
Госклікните гбн вѣа землѣ . м лѣтвами
бѣа спес спен насъ . т аже ндрѣгал страна
тоже с тн п онтеже нменн его дадите
славо хвалѣ его м лѣтвами бѣа спес спен
насъ с тн р цѣте бгови коль страшна
дѣла твоѣ м лѣтвами бѣа спес спен насъ .
с тн в сѣа землѣ дапоклониттисѣ нпо
ѣтъ тебѣ м лѣтвами бѣа спес спен насъ .
с ла нннѣ . м лѣтвами бѣа спес спен насъ .
антифонъ . в . ѿломъ . зѣ . б же оущѣ
дринн нблгословнны , нпросѣтн лицѣ
твоѣ наны с пенны снѣ бжн воскресъ нз
мртвы поющн тн алладїѣ . г т оже ндрѣ
гал страна . с тн а познаемъ на землн
пѣтъ твоѣ . нбо вѣхъ нзъцѣхъ спесннѣ
твоѣ с пенны снѣ бжн воскресъ нз мртвы .

Заставка, красная строка, выделенные киноварью слова и буквы в тексте Апостола.

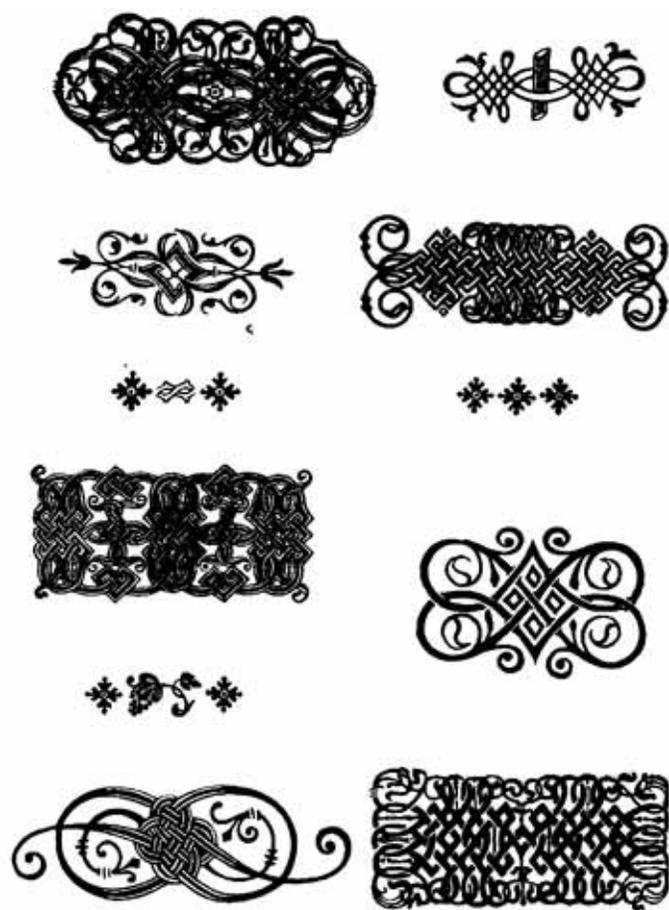


ИКОНОСТАСІЯ КРЕБСЛА НЕ

Иако въ бѣнѣхъ ісѣхъ рабѣ , обѣма на
 деете колѣнома нже вразѣлнн ра
 доватне .а . великѣ радость и лѣнѣте бра
 тѣе моѣ , егда вонсѣшениѣ впадеете
 разлѣна . вѣдѣще іако нескѣшеніе вѣ
 шелвѣры , содѣловаетъ терпѣніе .
 терпѣніе же дѣло совершено имать , іако да
 бѣдетесовершенн ибсѣлнн , и ничѣмъ же ли
 шени . ащеже кѣто ѡбѣаъ лишенъ есть пре
 мростн , дапроситъ ѡданцага бѣ вѣмъ
 вѣдѣнн непоношѣннѣ и да спѣва емѣ . да
 проситъ же вѣроу ничѣгоже седмнѣса . се
 мнѣнбоса оуподобенсѣ волненію морскѣмѣ
 вѣтры возмѣтаемѣ и развѣлѣемѣ . да не
 мнитъ члѣкъ ѡнъ іакопріиметъчѣго ѡбѣ
 мѣжъ двоедѣшенъ неоустроенъ вобѣхъ

34
н

Заставка, красная строка, инициал и выносные знаки в Апостоле.



Заставки и концовки из Острожской библии.



Первая страница Острожской библии.



Заставка из Острожской библии.



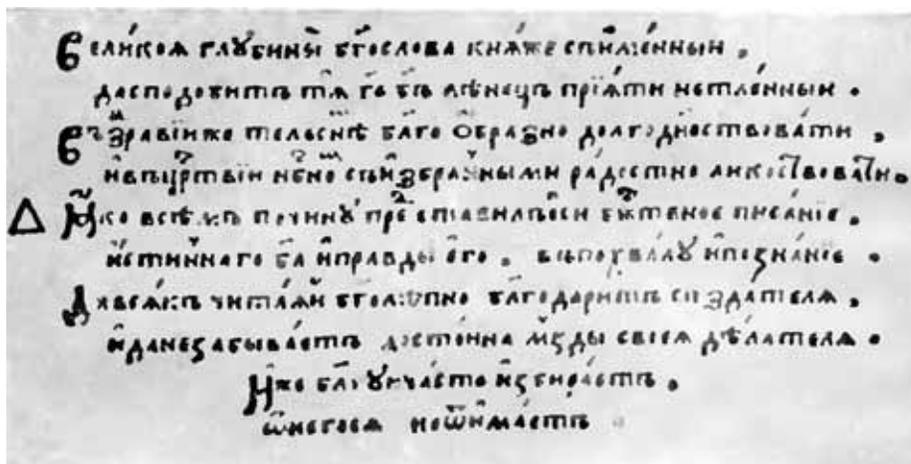
Греческий и славянский шрифты основного текста Острожской библии.



Заставка и инициал из Острожской библии.



Заставка и инициал из Острожской библии.



Вирши, посвященные князю Острожскому. Острожская библия.



Послесловие Острожской библии и типографский знак — герб Ивана Федорова.

notes

Примечания

1

В древней Руси счет лет велся согласно библейской легенде от сотворения мира. Чтобы перевести древнее летосчисление на новое, от так называемого рождения Христова, необходимо вычесть из даты старого счисления 5508, если дата приходится на время с 1 января до 1 сентября, или 5509, если она падает на остаток года, с 1 сентября по 1 января.

Свод церковных законоположений, к которым присоединялись различные законы Византии и русские статьи.